

ОПЕКТ  
СОМОВ



*Rymarof  
Beleg*

Купалов вечер // Дніпро, Киев, 1991

ISBN: 5-308-00951-1

FB2: "fb2design", 13 August 2012, version 2.0

UUID: 0E8D1741-1BC7-4CDD-8B97-EFF313A22500

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Орест Михайлович Сомов

## Купалов вечер (сборник)

В книгу избранных произведений русского писателя, критика, журналиста Ореста Сомова (1793–1833) вошли повести и рассказы, многие из которых неизвестны массовому читателю, давно стали библиографической редкостью. Тематика их чрезвычайно разнообразна, характеры колоритны, фантастика в них часто переплетается с изображением реального быта. Большой интерес представляют произведения, в которых отразились быт украинского народа, черты его национального характера, творчество, верования.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

# Содержание

Были и небылицы . . . . .	0005
Гайдамак. Малороссийская быль . . . . .	0005
Гайдамак. Главы из малороссийской повести . . . . .	0036
Купалов вечер . . . . .	0141
Бродящий огонь . . . . .	0146
Киевские ведьмы . . . . .	0149
Недобрый глаз . . . . .	0175
Русалка . . . . .	0186
Юродивый . . . . .	0202
Сказки о кладах . . . . .	0243
Оборотень . . . . .	0366
Кикимора . . . . .	0390
Сказка о медведе Костоломе и об Иване, купецком сыне . . . . .	0412
Сказка о Никите Вдовиниче . . . . .	0419
Сказание о храбром витязе Укроме-табунщике . . . . .	0448
В поле съезжаются, родом не считаются . . . . .	0452
Алкид в колыбели . . . . .	0456
Рассказы путешественников . . . . .	0458
Приказ с того света . . . . .	0458
Вывеска . . . . .	0496
Станный поединок . . . . .	0564
Эпиграф вместо заглавия . . . . .	0589

# Орест Михайлович Сомов

## Купалов вечер

# Были и небылицы

## Гайдамак. Малороссийская быль

### Глава I

*Так, вічної пам'яті, бувало  
У нас в Гетьманщині колись  
Котляревський*

Была осень; частые дожди растворили малороссийский чернозем; глубокая и вязкая грязь превращала в топкие болота улицы и проселочные дороги. В это время в Королевце собиралась Воздвиженская ярманка. По грязным улицам небольшого и худо обстроенного поветового городка тянулись длинные обозы; чумаки с батогом на плече шли медленным шагом подле волов своих, которые с терпеливою покорностью тянули ярмом тяжелые возы. Русские извозчики без пощады погоняли усталых лошадей, суетились около телег, навьюченных московскими товарами, кричали и ссорились. В ятках на площади толпились веселые казаки в красных и синих жупанах и те беззаботные головы, кои, уставши чумако-

вать, пришли к ярманке на родину попить и погулять; одни громко рассуждали о старой гетманщине, другие толковали про дальние свои чумакованья на Дон за рыбою и в Крым за солью. Крик торговок и крамарей, жиды с цимбалами и скрыпками; цыгане со своими песнями, плясками и звонкими ворганами, слепцы-бандуристы с протяжными их напевами — везде шум и движение, везде или отголоски непритворной радости, или звуки поддельного веселья. Огромные груды арбузов, дынь, яблок и других плодов, коими небо благословило Малороссию и Украину, лежа рядами на подстилках по обе стороны площади, манили взор и вкус и свидетельствовали о плодородии края.

Посреди площади собралась толпа народа. Молодой чумака в синем жупане тонкого сукна, в казачьей шапке с красным верхом, лихо заломанной на голове, с алым шелковым платком на шее, распущенным по груди длинными концами, и в красных сафьянных чеботах шел, приплясывая и припевая, вел за собою музыкантов и ватагу весельчаков и сыпал деньгами в народ. Чтобы показать свое

удальство и богатство, он то расталкивал ногою плоды у торговков, то бил нарочно стеклянную посуду в ятках — и платил за все вдесятеро. Все: купцы, жидаы, цыгане, бандуристы и нищие обступили его; каждый или предлагал свои услуги, или без всяких услуг просил чего-нибудь, и каждый получал или награду, или подаяние. Большой круг составиля около молодца: всяк ему дивился и хвалил его; женщины в этом случае были не последние. «Какой завзятый чумак! какой лихой парень! какой статный и пригожий мужчина! какой богатый и тороватый!» — раздавалось отовсюду.

Поодаль человек среднего роста, в простой чумацкой свите с видлогою стоял, опершись на батог, и, насвистывая в пальцы, внимательно смотрел на молодого безумца. Вид этого человека с первого взгляда не обращал на себя внимания, но, всмотревшись пристальнее, не скоро можно было отвести от него глаза. Он стоял без шапки, которую сронил в толпе. Длинный оселедец спускался с бритой его головы и закручивался около уха. Смуглое лицо, правильные черты, орлиный нос, наги-

бавшийся над черными усами, и быстрые, пронизательные глаза обличали в нем ум, сметливость и хитрость, а широкие плечи и грудь, крепкие, жилистые руки и богатырское сложение тела ясно говорили о необыкновенной его силе. В движениях и поступках его, даже в самом спокойном положении, видны были решительность и смелость. Ему казалось от роду не более сорока лет, но или сильные страсти, или заботы поборождали уже чело его морщинами. Он выжидал, пока роскошный молодой чумак, обходивший в это время круг, с ним поравняется. «Здорово, Лесько», — сказал он гуляке, когда наконец тот подошел к нему. «Ба! это ты, Кирьяк? давно, от самой Умани, я с тобою не видался. Здорово, приятель, здорово!» — «Ну, как поживаешь?» — «Как видишь: бью в свою голову, пью да гуляю». — «А волы?» «Всех распродал! Отец отпустил со мною тридцать пар-остался налицо вот этот батог». — «Хорошо же ты отцу припрочиваешь на старость!» — «А, что будет, то будет! Живу, пока звенит в кармане, а перестанет звенеть — тогда или под красную шапку, или в удалую шайку». — «Дело взду-



мал! то есть: и в том и а другом случае ты будешь спиною отвечать за голову...» Это истолкование рассмешило стеснившуюся вкрут них толпу, и молодой чумаки, не находя лучшего ответа, сам рассмеялся.

«А ты, Кирьяк Максимович, — сказал он после короткого молчания своему знакомцу, — каково чумакуешь? человек ты осторожный и даром копейки не роняешь; я видел тебя в Умани на пятидесяти парах, и ты привез туда бог весть сколько московских товаров! С тобою были лихие купчики: также любили потешиться, как и я грешный!» — «Я и теперь с ними приехал; да переморил своих бедных волов по этой слякоти и даю им отдых. Добрый человек и скотов милует, говорит святое писание». — «Знаю, что ты человек письменный; где же теперь пристал?» — «Я оставил свой табор по Путивльской дороге, над Эсманью, а сам пришел сюда принанять молодцов; мои почти все разбрелись». — «Если тебе надобно лихого погонщика, так возьми меня; батог мой исправен... Гей, цоб!» прикрикнул он, ловко помахивая ременным батогом своим. «Я добрых людей не чураюсь, —

отвечал Кирьяк, — хочешь, так сейчас к делу; зайдём ко мне на постоянный двор, а там и к табору». — «Спасибо, что так стоворчив, Кирьяк Максимович! спасибо, что ты не таков, как те седые чубы, которые бранят нас, молодых парней, за шалости и не верят, если раз замотаемся... Прощайте, приятели! вот вам на расставанье». — Тут Лесько метнул в народ последнюю горсть мелкой монеты; все бросились подбирать — и когда оглянулись, то уж обоих чумаков как не бывало.

## Глава II

*То пан Хмельницький добре учинив,  
Польщу засмутив,  
Волощину побідив,  
Гетьманьщину взвеселив.  
Старинная малороссийская песня*

В конце городка стоял маленький полуразвалившийся домишка; в нем приставали приезжавшие на ярманку евреи, которые почти всегда под ветхою кровлею прячут от любопытных и завистливых глаз накопленные ими богатства и часто всякими неправдами добытые драгоценности. Еврей Абрам, заперши двери засовом и наглухо закрыв ставнями

окна, отбивал доньшки у маленьких бочонков, вынимал из них дорогие жемчуги, перстни, серьги и другие золотые вещи, осыпанные блестящими камнями, и раскладывал их по ящикам, готовя к ярманке на продажу. Он беспрестанно прислушивался, озирался и при малейшем шуме снаружи бледнел, как Каин.

Вдруг кто-то дважды стукнул в дверь. Абрам вздрогнул, но вспомня, что это условный знак товарища, накинул про всякий случай толстое полотно на стол, на котором отбирал вещи, и отнял дверной засов.

— Горе и страх сынам Иуды! — вскрикнул, всплеснув руками, вошедший жид, между тем как товарищ его снова запирает дверь, — горе и страх! я видел его...

— Кого? — торопливо спросил Абрам.

— Его, гайдамака, Гаркушу! — отвечал Гершко печальным голосом. — Ты его знаешь, он не посмотрит на город и людство; налетит на нас, как Сеннахерим, заберет и свое, и наше.

— Я говорил тебе: не водись с этим проклятым моавитом! Долго ли до беды.

— Знал ли я, ждал ли я, когда он на Волыни отдавал мне для продажи пограбленные им вещи, что через три луны увижу его здесь в Малороссии? Ах! эти большие серебряные стопы, эти богатые золотые цепи, эти яркие дорогие перстни пана Манивельского! сгубят они нас!

— Опомнись! разве ты не еврей? Бог отнял у нас силу и смелость, а мы поневоле взялись за хитрость и пронырство. Придумаем, как бы спастись от когтей сего месопотамского коршуна. Но где и как ты его встретил?

— Я бродил в толпе этих назареев и высматривал, не удастся ли чего повыгоднее купить или продать. Вкруг одного погибшего сына стеною стеснился народ, и всякий подбирал серебро, расточаемое безумцем. Я также думал пробраться к нему, хотя ползком... Взглянул и вижу в толпе услужника Велялова. Тогда я притаился за народом, и когда он увел с собою молодого чумака, я шел за ним издали; припав за забором, сторожил его выход из постоянного двора и видел, по какой дороге они вдвоем отправились.

— Послушай: нам надобно обсудить, как

бы и свое спасти, и чужого не выпустить из рук. Благодаря нашим братьям, которые повсюду рассеялись и везде ведут торги, если чего не посмеем выказать здесь, то Польша и немецкая земля велики: там будет простор и нажитому, и добытому.

— Правда, правда! только как теперь избавиться от гайдамака?

— Знаешь ли ты здешнего поветового судью?

— Пана Ладовича? как не знать; добрый пан, честный пан! В нем только три худа: что не слишком жалует евреев, что ему ничего не продашь, а его ничем не подкупишь.

— Зато у него и своим не лучше наших, когда у них руки или совесть не чисты. Слушай же: ступай ты к нему, расскажи про гайдамака все, что знаешь, укажи дорогу, по которой он пустился, — и после спокойно переплавляй в слитки золото и серебро и сбывай алмазы и яхонты пана Манивельского.

— Рабби Рувим! ты умный человек, Абрам. Так к делу, не теряя времени. Сейчас иду к поветовому судье.

— Не позабудь только взять серебряных

ключей: не для него, он ничего не возьмет, а для челяди, которая всегда и везде жадна, как наши праотцы в пустыне.

Гершко пошел скорым еврейским шагом к дому поветового судьи, согнув шею, заложив обе руки в карманы и бросая вокруг себя недоверчивые, испытующие взгляды.

На крыльце судейского дома встретил его молодой цыган, живший у пана Ладовича для услуг, а больше для забавы. Он был одет казачком; на шее у него висел на широкой ленте торбан, на котором он обязан был играть перед гостями и веселить их своею пляскою и пеньем. Не по летам был он высок и статен; живое и выразительное лицо его, на которое падали черные самородные кудри, могло бы назваться прекрасным, если б излишняя смуглость не затмевала его пригожества; под широкими сросшимися бровями прыгали быстрые, огненные глаза; во всех его движениях заметны были ловкость, проворство и лукавство.

— Здравствуй, Жале, — сказал ему Гершко, подойдя к крыльцу.

— Здравствуй, свиное ушко! — отвечал цы-

ганенок.

— Как поживаешь, Жале? — продолжал льстивый еврей.

— Хорошо, твоими молитвами: скачу, пою и щиплю твою братью жидков, когда попадутся. Ты какво поживаешь? все ли по-прежнему обманываешь простаков и копишь золото?

— По-прежнему, — отвечал жид с притворным простосердечием и как бы не вслушавшись. — Пожалуйста, Жале, доложи обо мне пану поветовому судье...

— Ему не до тебя, у него теперь гости.

— Крайне важное дело, не терпящее отсрочки...

— Верно, векселя, которым минули сроки, или покупщик, не заплативший денег?

— Что тебе до этого; твоё дело доложить.

— Так потерпи ж, пока пану будет время. Постой здесь: вы привыкли стоять без шапок на дворе во всякую погоду, а теперь ещё не зима.

Сколько жид ни упрашивал, но цыганенок только вертелся вокруг его, дразнил, подергивал его за длинные рыжие пейсики и за полы

платья и делал ему разные проказы.

— Душа моя, Жале! перестань и пойдя до-  
кладывать; я не даром прошу тебя..

Тут еврей со вздохом вынул из-под полы  
небольшой изношенный кошелек и начал  
дрожащею рукою вытаскивать одну по одной  
мелкие серебряные монеты, как будто боясь  
обсчитаться. Но резвый цыган не дал ему кон-  
чить: подбежал, подставил руку и, вытряхнув  
в нее все деньги из кошелька, пустился от жи-  
да во всю прыть.

— Стой! я закричу гвальт, наделаю шуму,  
стану стучаться в двери! пан судья не даст ме-  
ня в обиду.

— А если я доложу ему о тебе, будут ли эти  
деньги мои?

— Твои, твои! только скорее.

Цыганенок опрометью бросился на крыль-  
цо, вошел в комнаты и через несколько ми-  
нут вышел сказать жиду, что судья его ожида-  
ет.

— Что тебе надобно, еврей? — сказал пан  
Ладович, когда жид кончил низкие, почти  
земные свои поклоны.

— Ваша ясновельможность! я инею вам до-



нести о важной тайне, — отвечал жид, оглядываясь на стоящего тут цыганенка.

— Так ступай за мною, — сказал судья, ввел его в небольшую боковую комнату и притворил дверь.

Цыганенок, по свойственному летам и породе его любопытству, а может быть по каким-либо догадкам, приставил к двери внимательное ухо, навывшее слышать издалека, и не отходил прочь, пока не кончился разговор. Тогда он на цыпочках отошел и стал на прежнее место.

Судья пошел к гостям своим, а жид отправился домой, отвесив снова несколько поклонов. Цыганенок выбежал за ним на улицу.

— Послушай, Гершко! ты купил меня своим подарком, и я хочу тебе отплатить по-приятельски. Там, над Эсманью, остановились обозом знакомые мне купцы; они дешево продают разные шелковые товары и другие вещи: видно, провезли их по-твоему — без пошлины. Я давно уже хотел удружить доброму человеку: благо, что ты мне первый попался.

— Спасибо, спасибо за приятель! А как их отыскать?

— Не мудрено: они стали над яром вправо от большой дороги, под леском. Только поспеши, чтоб они всего не распродали; они для того и в город не въезжают, что хотят сбыть с рук все лишнее.

— Сегодня же, хоть и поздно, отправлюсь туда... Прощай!

Жид пошел скорыми шагами, а цыганенок лукаво покачал вслед ему головою, посмотрел во все стороны, прокрался в боковой переулок и подал знак свистом.

На свист его выказался из-за забора высокий и сухой цыган свирепого вида. «Зачем зовешь меня?» — сказал он отрывистым голосом.

— Понура! не тратя ни минуты, — на коня и скачи в табор гайдамаков; скажи там, что жид Гершко донес поветовому судье о Гаркуше и дал его приметы; что сейчас пошлетя за ним погоня; скажи, что я спровадил Гершка к ним в табор за товарами; пусть сладят с ним, как знают. Оттуда опрометью ступай по следам Гаркуши и дай ему острогу...

— Славно! ты добрый малый, не выдаешь своих. Мы недаром тебя продали пану Ладо-

вичу...

— Тс! слышится шум... Прокрадься отсюда, хоть на четвереньках — и давай бог ноги! — С этими словами молодой цыган исчез.

Он вошел в светлицу, или гостиную комнату, судьи как такое лицо в доме, которому за его дар увеселять многое было позволено и которое позволяло себе еще больше.

В гостиной было тогда очень шумно. Гайдамак и его дерзкое появление сделались предметом общего разговора.

Судья, подсудок, подкоморий и возный, уже разославшие гонцов по разным дорогам для задержания Гаркуши, — теперь, отошедши в сторону, совещались о мерах, которые должно было принять для безопасности города и повета от набега бесстрашной шайки удальцов. Прочие гости все толковали разное, и все об одном.

— Давно не было вести о гайдамаке, — говорил отставной сотник Ченович, — слух о нем было призамолк, с тех пор как он за Лубнами ограбил богатого и скупого пана Нехворощу и наделил одного бедного казака...

— Извините, — перервал речь его войско-

вой писарь Потяга, — давно ли все жужжали, что Гаркуша на Украине обобрал до нитки тучную ростовщицу Цвинтаревичку и вдобавок сделал ей сильное поучение нагайками за то, что она прогнала из дому простака своего мужа?

— Это жужжало только у вас в ушах, господин войсковой писарь, — отвечал ему Ченович, — носился слух, что гайдамак после ушел за Киев...

Спор загорелся; колкости с обеих сторон посыпались градом, и, как водится в больших собраниях, одни поджигали спорщиков, другие принимали их сторону, все шумели. Но миролюбивый хозяин, предвидя неприятный конец спора, заклил бурю: он ввел в гостиную слепца-бандуриста, давно уже в передней ожидавшего, когда его позовут, и вежливо пригласил гостей своих послушать веселых дедовских песен и стародавних былей.

Безыскусственная игра на многострунной бандуре и звучный, полный, хотя необработанный голос слепого певца, попеременно унывные и веселые напевы малороссийских песен нравились неизбалованному слуху зем-

ляков его, страстных к музыке, одаренных верным ухом и впивающих с чистым воздухом родины способность и склонность к пению. Вдруг вещей слепец переменял строй: пальцы его медленно и торжественно перебежали по звонким струнам бандуры; и он молчал еще, но внимание всех было приготовлено; жадный слух ловил уже в знакомых звуках близкие сердцу напевы и предугадывал смысл самой песни.

Несколько минут он молча прелюдировал; наконец запел, или лучше, заговорил по музыке следующие слова:

*З низу Дніпра тихий вітер віє,  
повіває;  
Військо козацьке в похід виступає;  
Тільки бог святий знає,  
Що Хмельницький думає, гадає.  
О тім не знали ні сотники,  
Ні атамани куріннії, ні поковники,  
Тільки бог святий знає,  
Що Хмельницький думає, гадає!*

Певец повествовал о быстром набеге гетмана Хмельницкого на союзную Польше Молдавию, о страхе и жалобах ее господаря Васи-

лия Липулы, о робком бегстве ляхов из Сочавы и заключил песнь свою обращением к славе Гетманщины:

*В той час була честь, слава,  
Військова справа!  
Сама себе на сміх не давала,  
Неприятеля під ноги топтала*

Громкие знаки одобрения и восторга раздались по светлице. Между ними прорывались и вздохи на память старой Гетманщине, временам Хмельницкого, временам истинно героическим, когда развившаяся жизнь народа была в полном соку своем, когда закаленные в боях и взрослые на ратном поле казаки бодро и весело бились с многочисленными и разноплеменными врагами, и всех их победили; когда Малороссия почувствовала сладость свободы и самобытности народной и сбросила с себя иго вероломного утеснителя, обещавшего ей равенство прав, но тяжким опытом доказавшего, что горе покоренным!

### **Глава III**

*Усі звізді потьмарило,  
Половину ясності місяця заступило;*

*З чорної хмари  
Буині вітри вставали  
Старинная малороссийская песня*

Дул сильний холодний ветер; дождливіе  
Доблака разносились по небосклону; луна  
то выплывала из-за туч, то пряталась за мрач-  
ными их грядками. В это время жид Гершко  
шел одинок по дороге; он часто останавли-  
вался, вслушивался в вой ветра и шелест жел-  
тых осенних листьев, падавших на землю и  
крутившихся вихрем по дороге; робея при ма-  
лейшем шорохе, он готов был затаиться в глу-  
ши. Но так сильна в еврее страсть к прибыт-  
ку, что он пошел бы на явную опасность, если  
бы знал, что, избегнув ее, получит барыш. Из  
бережливости или по благоразумию Гершко  
надел самое ветхое платье и по тому же бла-  
горазумию взял с собою денег очень немного,  
в надежде, что, сторговавшись с купцами за  
товар и дав им задаток, уговорит их принять  
остальную плату в условленном месте.

В таборе его ждали. Шайка кочевала при  
дуброве, в месте пустынном, над глубоким,  
крутым оврагом, примыкавшим к самому бе-  
регу Эсмани. Гайдамаки, отогнав волов на

пастибище, сделали из возов своих род стана или каре и обвешали их непроницаемыми для взора полстями, чтобы любопытному прохожему не видно было, что делается внутри табора. Чтоб еще более отклонить подозрения, часть гайдамаков была одета чумаками, другая русскими купцами, у которых будто бы первые нанялись везти товары на ярманку. Сторожевые стояли повсюду: по дороге, над оврагом, по берегу Эсмани и по опушке леса. Внутри табора гайдамаки поделились на кружки: одни старались в вине затопить воспоминание грозившей им и атаману их опасности, другие, самые беззаботные, курили табак и играли в кости и карты; но самые заботливые рассуждали, как избыть беды и спасти атамана. Кони их были уже готовы в ближнем лесу; табором они не дорожили: тем, что было навьючено на конях, могли бы они скупить все чумацкие обозы в Малороссии.

— Вот вам честный еврей, который спрашивал у меня русских купцов над Эсманью, — сказал гайдамак, стороживший на большой дороге, ведя за собою Гершка, кото-



рый кланялся, сложа руки на грудь и бросая недоверчивые взгляды. Как рой шмелей, гайдамаки сыпнули к нему со всех сторон.

— Узнаешь ли меня, земляк? — сказал ему выкрест Лемет, — я хочу на тебе доказать благодарность свою тебе и всему бердичевскому еврейскому обществу. По милости вашей — я крестился, и по вашей же милости, бедный Лейба теперь в честной компании.

— Святые праотцы! — вскричал несчастный Гершко, предвидя участь, его ожидавшую, и разгадав, в какие сети завлек его коварный цыганенок.

— Не до праотцев, а до нашего отца атамана! — закричали ему многие голоса. — Сказывай, злодей, что с ним сделалось?

— Что хотите, честные господа! хоть замучьте меня — не знаю.

— Запираться не время: мы сами не меньше тебя знаем, что ты продал Гаркушу поветовому начальству, что за ним разосланы поиски. Если ты не знаешь, где он теперь, — то для тебя ж хуже.

— Как бог свят, не знаю.

— Ну, делать нечего, товарищи, — сказал

гайдамак Несувид, занимавший должность атамана в его отсутствие, — прироваривайте, какую казнь положить ему за измену.

— Прежде всего, — подхватил Лемет, — поджарить его, как тарань, на тихом огне и допросить, где он упрятал дорогие вещи, данные ему атаманом на продажу.

— Досуг толковать о такой безделице, когда дело идет о жизни Гаркуши! видно, ты и теперь еще такой же жид: у тебя все для золота... Товарищи! к голосам.

— Повесить его на осине: на ней и брат его Иуда повесился, — сказал один гайдамак.

— Отдайте его мне, — перебил цыган Паливода, — я расплющу его молотом на наковальне глаже, чем он расплющивал медные кружки для фальшивых червонцев.

Злобный смех раздался во всей шайке; бедный Гершко был ни жив, ни мертв: холодный пот проступал по всему его телу; все члены были в судорожной лихорадке.

— Не лучше ли, — подал свой голос гайдамак Товпега, — кончить с ним без затей: Эсмань близко, жернов у нас есть... Пустим его греться по месяцу.

Предложение принято, жернов прикачен и крепкою веревкою привязан к шее несчастного жида; его потащили к берегу и покатали за ним жернов. Тогда, вдруг вышед из бесчувствия и видя, что ни просьбы, ни слезы не помогут и не смягчат злодеев, закричал он жалким, пронзительным голосом, раздиравшим душу и возвещавшим последнее, отчаянное усилие существа, расстающегося с жизнью.

Ветер разносил вопли еврея. Луна вышла из-за облак и в полном сиянии катилась по темно-синей тверди. В это время старец Питирим, инок П\*\*\*ского монастыря, ходивший навещать больного в одном отдаленном хуторе, возвращался береговою тропинкою в смиренную свою обитель. Голос погибающего человека проник ему в сердце, и он поспешил на помощь, забыв свою старость и слабосилие, забыв, что сам может сделаться жертвою христианского сострадания. Он увидел свирепые лица и зверскую радость гайдамаков, увидел жалкого иноверца — и ревность к добру придала ему крылья.

— Стой! — закричали разбойники, — руку на нож!

Но старец Питирим не робко подошел к ним, и гайдамаки, из невольного уважения к его сану и летам, остановились. Тогда инок начал свое увещание, представил им всю важность преступления и гнев небесный, постигающий убийц.

— Безумцы! — заключил он речь свою. — Кто дал вам право разрушать превосходнейший дар божества — жизнь человеческую? Кто дал вам право быть судьями чужих поступков, когда карающий меч правосудия висит уже над преступными вашими головами, и муки ада, стократ лютейшие всех терзаний телесных, ждут вас после бесчестной смерти от руки палача?..

Гайдамаки, в которых вдохновенное красноречие старца минутно пробудило совесть, поникли головами, не смели поднять на него глаз и, спустя руки, стояли в нерешимости. Бедный Гершко, чувствуя, что его не держат, упал к ногам монаха, обнимал его колена, стирал лицом пыль с его ног и заклинал спасти ему жизнь.

— Я сделаюсь христианином, — говорил он с плачем, — отдам на ваш монастырь все...

все, что имею, очень немного; несколько серебряных монет...

Инок, не могши победить внутреннего презрения к человеку, в котором корыстные склонности пересиливали даже мысль о самохранении, невольно отвратил от него лицо свое.

— Честный отец! иди своею дорогой, — сказал тогда суровый Несувид. — Мы знаем, на что решились — знаем, к чему осуждаемся на том и на этом свете. Но если б одним волосом сего негодяя могли искупить свою жизнь или души, то и тогда б не миновать ему петли и песчаного дна эсманского... Товарищи! дружнее за работу.

Монах вздрогнул от слов закоснелого злодея. Между тем одни из гайдамаков принялись раскачивать жида, другие жернов, чтоб лучше и дале бросить их от берега. Отчаянный вой несчастливца перерывался быстротою и силою качки. Монах стоял, как в онемении, возведя глаза и воздев руки к небу. Крик бедной жертвы мщениа терзал его душу; и вдруг крик умолк — вода расплеснулась и скрыла свою добычу.

## Глава IV

*На конях їхали чинненко,  
З люльок тютюн тягли смачненко.  
А хто на конику куняв  
Котляревский*

Утро было ясно и свежо. Рассыльные казаки и понятые ехали по Глуховской дороге от Путивля и везли в середине человека, у которого руки и ноги были связаны. Казалось, однако ж, что бодрость и надежда не совсем его покинули; он весело разговаривал с окружающими, шутил с ними, рассказывал были и небылицы и приковывал жадное их внимание умным и живым своим разговором.

«Молодец! весельчак! нечего сказать: скручен, как теленок, которого везут на убой, — а все не унывает!» — «Мне все не верится, чтоб это был Гаркуша; посмотри: человек как человек, нет семи пядей во лбу!» — Так разговаривали двое из понятых, ехавшие позади. «Да как его поймали?» — продолжал последний.

— На всякого мудреца много простоты. Вот видишь, у него было похоронище, в глухом месте, над Сеймом, близ Клепала; там он прятал награбленные им богатства. Вчерась, ко-

гда удалый королевецкий рассыльный казак Моторный следил за ним с четырьмя своими товарищами, заметили они, что гайдамак пробирается к тому месту. Они видели, как он сошел с коня, и сами, оставя лошадей за ивняком, почти ползком прокрались к кустарнику, за которым Гаркуша, отыскав заступ, начал разрывать землю. Вдруг они на него бросились и, не дав опомниться, свалили с ног, связали ему руки и ноги, завязали рот, прикрутили молодца к седлу его же коня и вскачь пустились с ним к селению за понятиями. Остальное ты знаешь.

Конвой между тем приближался к Клевенскому перевозу. Сквозь просеки приятной рощицы видны были вдаль, на высоком прелестном месте, большой помещичий дом и купол церкви села В\*\*\*на; внизу текла излучинами быстрая Клевень, сливающая воды свои с Эсманью; по долине, за тундрами и сагами, мелькали купы дерев, хутора и мельницы. Узник, казалось, любовался видами и любопытно расспрашивал о всем своих проводников; в таких разговорах подъехали они к перевозу.

Паром был уже готов. Казаки и понятия взвели на него гайдамака, поставили усталых коней своих к одной стороне и столпились вокруг пленника. Только ретивый конь Гаркуши, не зная устал, бил от нетерпения в доски копытами и, казалось, хотел пуститься вплавь к другому берегу. К нему приставили одного из понятих и велели крепко держать за повод.

Гайдамак окинул беглым взором своих спутников; потом, устремля глаза на крутые горы противоположного берега Клевени, сказал:

— Кажется, там, за этими горами, влево есть селение над Эсманью... Не могу вспомнить его имени. Покойный дед мой был родом из здешней стороны и часто рассказывал нам, ребятам, страшную быль об этом селении.

— Какую? — спросили в один голос вожа-тые, увлеченные любопытством и уже прежде заохоченные искусными его рассказами.

— Хорошо вам, друзья, слушать на свободе! у меня гортань пересохла от жажды, а руки и



ноги затекли кровью от ваших веревок.

— В самом деле, братцы, к чему его мучить без нужды? Паром теперь отчалил, нас здесь человек сорок, уйти ему нельзя. Развяжем ему руки и ноги, пока на середине реки; а начнем приставать к берегу, тогда пусть не погневаается, опять опутаем молодца по-прежнему.

Так говорил один казак, и товарищи охотно его послушались. В наружности и речах Гаркуши было нечто такое, что вожатые, при всем убеждении в его преступлениях, почувствовали к нему невольное доброхотство. Они совершенно потеряли суеверный страх, который на малороссиян наводило одно его имя.

Руки и ноги гайдамака уже свободны; ему поднесли полную кружку вина, которую он выпил «за здоровье братьев земляков». Тогда все приступили к нему, прося рассказать страшную быль, и он начал:

— Давно, не за нашу памятью, селение, о котором я говорил, было за другими панами. Один из них был человек чудной: не ходил в церковь божию, чуждался людей, считал

звезды ночью, собирал росу на заре и папоротниковый цвет под Иванов день. — Никто не знал, какую смертью он умер и где погребен; только видели, что в ту ночь, как его не стало, огненный клуб прокатился над селением и рассыпался искрами над самым домом панским. Дом сгорел дотла, а с ним и все, что в нем было. Вот, спустя малое время, начали делаться дела небывалые и неслыханные. Каждый день, и в самую полуденную пору, при ясной погоде, вдруг набегут облака и застелют солнце, подыметесь пыль столбом по дороге, и сквозь пыль видали те, кого бог не миловал от такого виденья, что старый пан (как его называли) вихрем пронесется по селу в старинном рыдване, шестеркою черных как смоль коней, которые, пенясь и сарпая и бросая искры из глаз, на четверть не дотрогивались до земли. Кучера и лакеи сидели на своих местах, как окаменелые, в белых саванах, с бледными лицами, со впалыми глазами, — словно теперь только вырыты из могил. В один день...

В эту минуту паром приставал к берегу; некоторые из провожатых сидели на помосте

с полурастворенными ртами и жадно ловили каждое слово; у одних волос становился дыбом, у других лица вытягивались от ужаса; державший коня гайдамакова опустил руку с поводом и стоял как вкопанный. Вдруг Гаркуша одним прыжком через сидевших выско-чил из круга, толкнул в воду оплошного над-зирателя за конем, впрыгнул в стремяна, пе-рескочил расстояние, отделившее паром от пристани, и стрелой полетел на крутизну. На самом гребне придержал он коня, махнул шапкою своим сторожам и, воскликнув: «Спа-сибо, земляки, за ласку!» — исчез за склоном горы.

— Человек это — или бес? — рассуждали провожатые, опустя головы и еще не опом-нившись от столь внезапного побега. — Разве мы не знали, что он водится с нечистою си-лою! как он нас обморочил...

Долго стояли они на пароме, не зная, что начать, и не смея взглянуть друг на друга.

# Гайдамак. Главы из малороссийской повести

## Глава I

*Скачи, враже, як пан каже.  
Малороссийская пословица*

Лет за пятьдесят Малороссия была странною поэтической. Хотя жизнь и занятия мирных ее жителей были самые прозаические, как вы узнаете, милостивые государи, из моих рассказов, если станет у вас терпения; зато вековые, непроходимые леса, пространные степи и худо возделанные поля, а в селах полуразвалившиеся хижины и заглохшие сором и крапивою улицы переносили воображение в веки первобытные, которые, как известно, составляют удел и собственность поэтов. Удел, мимоходом сказать, небогатый; и оттого-то мы встречаем питомцев Фебовых в изношенных и забрызганных чернилами платьях, а ищем — на чердаках. Но теперь речь не о них, а о жизни и занятиях малороссиян.

Простой народ пил, ел и дремал в роскошной лени зимою, зарывшись на печи в просо

или овес, сушимые для домашнего обихода. Хотя он не мог похвалиться перед итальянцами климатом и красотами природы; но не уступал им ни в лени, ни в сладкоголосных своих песнях. Летом мужчины кое-как обрабатывали свои поля и убирали жатву, охотно ходили чумаковать, т. е. с обозами за рыбой и солью; зимою ж, если холод не выгонял их в лес за дровами, которых они никогда не заготавливали на целую зиму, если недостаток других жизненных потребностей не заставлял их отвозить на базар небольшой свой запас хлеба или крайняя бедность не запирала в дымной винокурне зажиточного заводчика; то они как будто держали заклад с медведями, кто кого переспит. Промежутки между сном проводили они в шинках, где, потчужа друг друга, за чаркою вина вспоминали старину и свои чумакованья. Женщины белили хаты свои к Рождеству и Велику-дню (празднику Пасхи), содержали в опрятности дом, варили вкусный борщ, ухаживали за домашнею скотиной, а в зимние вечера при свете ночника пряли, рассказывая соседкам страшные были о ведьмах, мертвецах и русалках; но вообще в

это время года были они гораздо досужливее и полезнее мужьев своих.

Девушки и молодые парни проводили время веселее и разнообразнее. Зимой они собирались вместе на приманчивые вечерницы, и здесь-то малороссийские красавицы истощали все пособия сельского кокетства, привечали и часто обманывали доверчивых молодцов. Косы, заплетенные в дрибушки или перевитые разноцветными скиндячками, радужная плахта, штофовый или парчевый корсет, едва состегивающийся под грудью гаплицами, белый суконный кунтуш, по фалдам коего, отделяющимся от стана, расшиты были черным шелком усы, и сафьянные чоботы — составляли наряд щеголеватой малороссийской девушки. Черный цвет волос и бровей и живой румянец в щеках почитались непременно условиями красоты; посему с помощью зеркала и услужливой пробки или, за недостатком ее, — накопченной иглы светлого цвета брови часто превращались в лоснящиеся черные, а таящийся в бледных щеках румянец вызывался наружу щипким надошником или осторожно заменялся настоенным в вине

сандалом. Жупан или свита нараспашку, казачья шапка с красным суконным верхом, красные или желтые чоботы, иногда цветной шелковый платок, небрежно повязанный на шее, — таков был убор молодого малороссиянина до танцу. Музыка была не по найму: один из посетителей сего сельского клуба приносил гудок или скрипицу, балалайку, сопелку или на чем был горазд и, наигрывая дудочки, метелицу, горлицу или казачка, вливал огонь и быстроту в гибкие члены молодой толпы.

Панки, или мелкопоместные дворяне жили почти так же. Бусинки сельского панка были не многочисленны светлицами; иногда тесовые или чисто выбеленные стены с божницею, с простою дедовскою утварью составляли все их украшение; иногда стены пестрели и удивляли глаза простодушных гостей теми самыми или подобными тем изображениями, какими Котляревский убрал палаты царя Латана в IV-й песни своей «Энеиды». Чай не всегда и не везде подносился гостям и часто заменялся варенухою. Терновка, вишневка, дулевка, рябиновка и другие наливки на

домашнем хлебном вине, изредка вина сикийское, монастырское и волошское услаждали неразборчивый вкус так же, как позже вина венгерские, рейнские и французские.

Вот, в коротких словах, образ жизни тогдашних малороссиян. Панки отстали теперь от него: потчуют гостей чаем и вареньями, а панночки играют на фортепиано и танцуют экосезы; но простой народ все еще держится коренных обычаев. Не станем, однако ж, выходить из описываемой нами эпохи и взглянем на частные картины.

Воздвиженская ярмарка в Королевце приходила к концу; залетные гости, купцы московские, жидаы из Бердичева и Белой церкви и пр. и пр. отправились искать на других ярмарках или неверных выгод, или нежданых потерь. Королевец стал пустеть, как наши поля и болота во время осеннего перелета птиц; только сентябрьская непогода, дожди и грязь основали постоянное свое пребывание в городке и окрестностях его до поздних заморозков. Пан Гриценко в это время праздновал именины своей дочери, прекрасной, милой и



добрый Евфросинии, которую, по малороссийскому сокращению, все называли Присею. Пан Гриценко был богат, а Прися его единственная наследница: мудрено ли, что распутица не помешала любителям пламенных, черных глазок и охотникам до сытных блюд и вкусных наливок собраться у зажиточного соседа? Прелестная Прися должна была из своих рук подносить гостям наливки и варенуху, которую сама приготовила; с милою, стыдливою улыбкою, с опущенными к полу ресницами и застенчивым поклоном говорила она каждому обычное приветствие: «На здоровье!» Таким образом, при звуке серебряных чарок и филижанок, в шуме речей и малороссийских песен, время летело, и короткий осенний день смешался с хмурым и туманным вечером. Многие из гостей встали и хотели уехать; пан Гриценко, по врожденному гостеприимству малороссиян, удерживал всех, наливал чару за чарой и просил посидеть.

— Нет, не погневайтесь! — говорил толстый подкоморий Кныш — Дорога ко мне идет по косогору и у самого леса; волки кодят

теперь стаями, я почему знать — может быть гайдамак...

— Полно, полно! — прервал речь его Гриценко. — К чему пугать любезных моих гостей? и как сюда ждать гайдамака, и что ему здесь делать? Если кандалы не подкосили ему ноги и колодка не скрючила шею, то он верно теперь не ближе отсюда, как верст за пятьдесят, где-нибудь на Королевецкой дороге, поджидает богатого московского купчика с товарами или беломорского грека с винами. Вы знаете, что теперь разъезжаются с ярмарки.

— А что в самом деле, не слышно ли чего о гайдамаке? — спросил один из гостей.

— Как? — подхватил словоохотный подкоморий, считавшийся в своем кругу приятным рассказчиком и живую газетой всех новостей. — Неужели вы ничего не слыхали о том, что случилось в Королевце? Ну так я вам расскажу. Племянник мой был там на ярмарке и привез мне самые точные и подробные известия — При сих словах подкоморий посмотрел на все собрание с самодовольным и отчасти горделивым видом как человек, знающий то, чего другие не знают.

— Вот, милостивые государи, как было дело, — продолжал подкоморий Гайдамак вдруг явился среди бела дня на ярмарке, в толпе народа. Никто не смел его тронуть даже пальцем: самые отчаянные смельчаки боялись не столько его силы, сколько его бесовского художества и мороченья. Он похаживал как индейский петух, спесиво раздув хохол и поглядывая на боязливых: куда ни обернется — толпа народа так и отхлынет, как дым от ветра. Тут откуда-то выискался жид, который, как и весь их жидовский род, видно, знал чернокнижие не хуже Гаркуши. Он явился к поветовому судье и сказал ему наедине, посмотревши на звезды и на воду, где и как можно поймать гайдамака живым и без всякого сопротивления, ну словно, как мы ловим зайца тенетами. В полночь жидок с рассыльщиками и понятыми напал на гайдамака врасплох, когда тот спал под чистым небом в каком-то глухом месте, отговорил начерченный им около себя волшебный круг, услал за тридевять земель сторожившего над ним нечистого духа и выдал Гаркушу рассыльным казакам, которые тотчас его скрутили и повез-

ли в Глухов. Только ненадолго его взяли при переправе через Клевень на пароме, он вдруг околдовал своих конвойных: все они, человек сорок, не могли тронуться ни руками, ни ногами, хотя слышали, как вдруг расплеснулась вода в Клевени, видели, как оттуда выскочил на паром черный конь с огненными глазами, как Гаркуша сел на него, взвился над рекою и берегом — и поминай как звали! Все это рассказывали они уже спустя шесть часов после этого случая, а до тех пор оставались окаменелыми на пароме и они и их лошади. С жидом было и того хуже: он вдруг исчез, так что не заметили, в воду ли канул или в дым сотлел. Нечистая сила, видно, покарала своего прислужника за то, что он выдал ее любимца.

— Да, гайдамак ужасный чернокнижник: дунет на воду — и вода загорится, махнет рукою на лес — и лес приляжет, — сказала одна дородная гостья и, конча речь, как заметно было, шептала молитву.

— И лихой удалец, — примолвил отставной хорунжий Черемша, — с дюжиною своей вольницы набежит на целый обоз, подвод во сто и более; не побоится ни ружей, ни рога-

тин, свистнет, гаркнет: «Ниц головами!» — и все прилягут, пока он не очистит возы ото всего, что получше да подороже.

— Охота вам, господа! — еще раз перервал хозяин, — рассказывать такие незабавные новости? Вы и так уже напугали мою именинницу: смотрите, она сидит в углу и чуть не плачет.

И в самом деле Прися, в промежутках потчеванья гостей своих, сидела в углу, одна, вдаль от всех, с поникшею головою. Лицо ее было печально, частые вздохи волновали высокую грудь ее; в кругленьких, полненьких щечках то вспыхивал яркий румянец, то вдруг сбегал с них и уступал место бледности. Не от ужасных рассказов тосковала милая девушка: нет! они ее не занимали, она их не слушала. Год назад она провела этот день с другом своего сердца, Демьяном Кветчинским, молодым, пригожим и ловким офицером одного гусарского полка. Кветчинский был сын одного соседнего дворянина; отец его был беден, но Демьяна воспитал в Киеве и за четыре года пред тем из последнего снарядил его на службу царскую. Демьян служил с от-

личием, скоро произведен был в офицеры и за год до описываемого здесь времени приехал в отпуск к отцу своему. Тут познакомился он с домом пана Гриценка, увидел Присю, влюбился в нее страстно, изъяснился ей в любви и получил взаимное признание робкой девушки. Ободренный ее любовью, личными своими достоинствами и благословением отца своего послал он сватов к пану Гриценку; но получил оскорбительный отказ, сопровождаемый насмешкою, верным изъяснением спеси богатого и старинного малороссийского пана. Отец Приси отвечал, что не отдаст дочери своей за бедняка, который сверх того не может насчитать и трех поколений в дворянской своей родословной. Ни слезы, ни уверения Приси, что кроме Демьяна Кветчинского она не будет ничьею женою, — не сильны были разжалобить упрямого старика. С тех пор влюбленные виделись только однажды и то мельком; поклялись друг другу: она — что расплетет девичью свою косу разве только под клобук монахини, а он — что сватается разве только с пулею неприятельскою. Демьян уехал в армию, и уже более де-

сяти месяцев не было о нем ни слуху, ни духу. Прися тосковала, плакала как дитя; но грусть ее, как и грусть дитяти, не была глубока, не иссушила ее сердца и не изменила юной ее красоты и свежести. Только в день своих именин, оживляя в душе своей память прошедшего, она была грустнее обыкновенного и, хотя стыдилась плакать при гостях, чтобы злые языки не вывели из того каких-либо предсудительных для нее заключений, однако ж беспрестанно задумывалась, вздыхала и изменялась в лице, как мы видели выше. Отец ее первый это заметил; ибо гостям, за попойкою и разговорами, было не до того.

— Что с тобою случилось, дитя мое? — сказал он, подошед и поцеловав ее в лоб. — Не бойся: бог милостив; он не попустит, чтобы такой ангел, как ты, такая добрая и послушная дочь, пострадала от набегов и грабительства гайдамаков. Это все сказки: Гаркуши здесь поблизости нет и не будет. А! да я и забыл, что у нас именины без музыки; это и в самом деле скучно, особливо молодым девушкам: их ноги не привыкли быть в покое... Эй, Стецько!

Стецько, камердинер и вместе скороход

пана Гриценка, явился у дверей в разодраной свите, с босыми ногами и полурастворенным ртом, уставил неподвижные глаза на своего пана и ждал приказа.

— Беги опрометью, вялое животное, и позови сюда слепца Нестеряка с бандурою.

— Шкода! — жалко пропищал Стецько, пожимая плечами и не двигаясь с места.

— Шкода будет тебе, если еще разинешь рот.

— Власть панская! — продолжал Стецько, все еще не уходя и тем же голосом. — Только на дворе ночь хоть глаз выколи, дождь как из ведра, грязь по колено. До нестеряковой хаты далеко: она на краю села; а там у оврага всякую ночь люди видят черную собаку, и все в один голос говорят, что это упырь; кто знает, может быть, сам Нестеряк: этот слепой леший не мне одному кажется колдуном.

— Ступай же, пока я не заколдовал тебе язык, — закричал Гриценко, толкая его в сени.

Делать нечего: бедный Стецько доджей был отправиться в неприятное для него по-сольство; зато, меся ногами грязь по улице, он



выветривал свою досаду горькими жалобами и не щадил своего пана в следующей речи, которая расстановками у него вырывалась:

— Правду говорит пословица: «Скачи, враже, як пан каже!..» Хорошо ему сидеть в теплой и светлой комнате да пить свою терновку с гостями: сам бы дошел, вместо меня а такую погоду, в такую ночь... и куда еще? О мать пресвятая богородица!.. А!.. кто тут? кто шумит? кто шепчет?.. Нет, кажется: это в панском саду блеклые листья шелестят под дождем... Я не трус и за себя постою; с живым управляюсь; только мертвец или оборотень — не свой брат!.. А уж что будет, то будет! у меня на всякий случай есть оборона: на мертвеца крест, а на живого — дубина... Подумаешь, подумаешь: для чего я сам не пан! Ел бы сало, сколько душе угодно, накопил бы полные сундуки денег и спал бы на печи, а для потехи заставил бы пана Гриценка прыгать через эту дубину или послал бы его в глухую ночь сзывать всех слепцов и бандуристов из околотка... Чтоб ему так легко икалось, как мне легко по его причудам тащиться здесь по грязи и шарить ощупью дорогу... Ни звездочки на

небе, ни света по хатам: все улеглись... вот самая лучшая пора бродить по улицам! добрый человек теперь и собаки не выгонит... Бог тебе судья, пан Гриценко!.. Скачи, враже, як пан каже... Ай!..

Страх оковал ноги бедного Стецька, и на этот раз его страх был не пустой: сильный удар по плечу невидимой впотьмах руки зазвенел у него в ушах, как неожиданный удар грома, и рассыпался по всем его составам смертным холодом.

— Здорово, товарищ! — проговорил в то же время кто-то твердым голосом, который показывал, что говоривший не боится дубины и не бегаёт от креста,

— Здорово, коли надобно!.. Кто ты: мертвец, оборотень или... — спросил Стецько дрожащим, перерывчатым голосом; последнее слово замерло у него в гортани.

— Узнаешь, когда со мною пройдешься, — с смехом отвечал неизвестный. — Я слышал, что пан Гриценко не слишком милосердо с тобою поступает: в эту ночь послать по своим причудам такого славного парня... Не знаю, на твоём месте я отшутил бы ему шутку так,

что он бы не скоро опомнился.

— Где мне с ним сладить? он мой пан! Плетью обуха не перебьешь...

— Перебьешь, коли сумеешь: не в том сила, что он толст и крепок, а в том, чтобы знать сноровку, где и как ударить по обуху.

— Да, да! ударить невпопад — так плеть и отхлыснет по твоей же спине.

— Простак! если волка бояться, так и в лес не ходить. Пожил бы с мое, побродил бы, как я, но свету — то бы узнал, что и не такие обухи тонким ремешком перетирают... Послушай, я тебя научу на камне муку добывать.

— Рад слушать.

— Тебе больно служить пану Гриценку?

— И мне, и спине!

— Хотел бы от него подале?

— Да уж что будет, то будет, а хуже не бывать!

— Разумеется, если станет у тебя на то ума. Ты знаешь, дурак о себе не радеет, а умный человек всегда что-нибудь подготовит про запас.

— Ведомо, так! да где же взять, коли нет? С сухого лесу листья не соберешь.

— Есть где взять, были бы руки. Слушай: пан Гриценко, отпустя гостей, ляжет в постелью с тяжелою головою и уснет, хоть стреляй над ухом; панянка, как и все молодые девушки ее лет, так же крепко уснет, а люди и пуще. Ты один не будешь спать. В эту пору, попозже полуночи, я стукну в дверь, что из сада; ты тотчас отвори. Не бось! худо ни с кем не будет; только мешки пана Гриценка станут полегче, а сундуки поглубже.

— Дело! по рукам.

В это время они подходили к оврагу.

— До встречи у дверей! — сказал неведомый. Стецько оглянулся — его уж не было.

— С нами сила крестная! — думал Стецько, крестясь. — Это, верно, наваждение; нет! не продам душу лукавому, кто б он ни был, человек, мертвец или сам нечистый дух! — С такими мыслями подошел он к дому бандуриста. Слепец Нестеряк уже спал. Услыша стук в окно, он пробудился, отдернул форточку и, на спрос узнавши о причине такого позднего посещения, разбудил семилетнюю девочку, свою внуку и вожатую.

— Олеся, сердце! вставай и вздуй лучину,

да подай мне поновее свиту и чоботы. Пан хочет — не отговариваться стать я панских ласк и денег не чуждаюсь.

Послушная малютка, потягиваясь, исполнила приказ, снарядила старика, оделась сама, подала ему бандуру и по привычке повела его за руку к панскому дому, оставя ветхую свою хату на стражу бедности.

Веселая пирушка в доме пана Гриценка была на самом разгулье. Старик бандурист был встречен ласковым приветом: пан погладил его по седой голове и, велев поднести ему чарку водки, сказал:

— Где ты пропадал, старик? что так долго не казался мне на глаза?

— Виноват, добродей! я вчера только при-тащился домой с королевецкой ярмарки, где пробыл целую неделю.

— Что же ты узнал там нового? — спросили вдруг несколько голосов.

— О, много, много! — отвечал слепец, слегка покачивая головою. — Там был и неожиданный гость, гайдамак. Он словно как из воды вынырнул: всполошил всю ярмарку, заставил о себе трубить всех, от мала до велика, и по-

сле вдруг исчез невесть куда.

Все гости приступили с расспросами к бандуристу, и он пересказал им народные басни о Гаркуше почти так же, как и толстый подкоморий. «Все это так вбилось мне в голову, — прибавил слепой певец, — что я, идучи с ярмарки, дорогою беспрестанно твердил: гайдамак! гайдамак! И чтобы как-нибудь разделаться с этим страшным человеком, которого имя ни на миг меня не покидало и нагнало тоску маленькой проводнице моей, внучке, — я сложил про него песенку. Если угодно честной компании, я спою...»

— Спой, дружок, спой! — закричали ему гости со всех сторон. Нестеряк взял бандуру, закинул себе около шеи прикрепленную к ней алую ленту, пробежал пальцами по звонким струнам, потом заиграл и запел следующую песню:

*Кто полуночной порою  
Через лес и буерак,  
С свистом, гарканьем, грозой  
Мчится в поле? — Гайдамак!  
Он как коршун налетает,  
От него спасенья нет!*

Черный вихорь замечает  
Гайдамака страшный след  
Кто один в селеньях бродит  
И, как злобный волколак  
Старым, малым страх наводит?  
Кто сей знахарь? — Гайдамак!  
Тронет он — замки валяются,  
Отмыкаясь без ключей,  
И червонцы шевелятся  
В сундуках у богачей  
Кто так зорко приглядает  
За проказами гуляк,  
В душу к ним змеей вползает?  
Кто сей демон? — Гайдамак!  
Враг он и душе и телу  
Буйных, молодых повес  
Научает злomu делу  
И с собой уводит в лес

Еще старый певец не кончил своей песни, как вдруг послышался необыкновенный шум у дверей дома. Все гости вздрогнули; хозяин, по невольному движению, бросился к дверям; слепец Нестеряк, оставя свою бандуру на коленях, опустил руки и как будто бы силился взглянуть. Одна Прися, подняв голову, весело обвела взглядом все собрание: было ли то предчувствие нежданной радости, или беглая

мысль, мигом отвлекшая ее от грустных дум, этого никто от нее не узнал, потому что никто не спрашивал. И до того ли было гостям? Все они с каким-то робким ожиданием смотрели на двери и оставались как прикованные на своих местах.

## Глава II

*Чи се ж тая криниченька що голуб купався?*

*Чи се ж тая дівчинонька що я женихався?*

*Малороссийская песня*

Спустя минуту вошел человек средних лет, в богатом польском наряде. На нем была бекешь из зеленой парчи, с большими золотыми цветами и бобровою опушкою; она состегивалась накрест золотыми шнурами, по краям коих висели крупные золотые кисти, и сверх того стянута была персидским кушаком. С одной стороны к кушаку прикреплена была золотою цепочкою кривая турецкая сабля в дорогой оправе; а с другой — заткнут был турецкий же кинжал с серебряною рукояткою и ножнами, на которых сверкали драгоценные камни. Незнакомец, войдя в комна-



ту, вежливо поклонился всему собранию; с меткостью человека, живущего в лучших обществах, отыскал он хозяина дома, сказал ему на польском языке приветствие и просил ночлега и гостеприимства, объясняя, что сбился с большой дороги и в такую пору не мог ехать далее. Пан Гриценко, разумея немного по-польски, отвечал ему как умел приглашением остаться в его доме до будущего утра, и если не соскучится, то пробыть у него и весь следующий день, чтоб отдохнуть и оправиться от такой трудной дороги.

Тут только гости, опомнившиеся от первого впечатления, заметили, что вслед за поляком вошел в комнату молодой гусарский офицер. Прися прежде всех его увидела: она вздрогнула, ахнула... Это был Демьян Кветчинский. Поляк, оборотившись, взял его за руку и представил хозяину дома как своего спутника. По пословице: хоть не рад, да готов, пан Гриценко повторил свое приглашение и Кветчинскому, боясь отказом нарушить обязанность гостеприимства, весьма свято в Малороссии уважавшегося, и подать о себе на первых порах дурное мнение польскому па-

ну.

Когда все уселись, слуги польского пана, или, как он говорил, его шляхтичи, начали вносить дорожные его вещи. Первый из них поставил на стол перед своим господином его шкатулку, без которой знатный и богатый поляк никогда почти не делает шага из дому. Второй внес походное его ружье и пистолеты в бархатных футлярах. «Это, — молвил незнакомый гость, — я взял с собою для того, что здесь, сказывают, дороги не совсем спокойны. Я слышал, что в вашем краю разгуливают шайки бродяг и очень немилостиво обходятся с проезжими, а особливо с моими земляками, зная, что с нами всегда бывает порядочный запас дукатов. Для того же я взял сверх обыкновенных моих проводников несколько человек лишних. По незнакомым дорогам не худо ездить с хорошею охраною». И в самом деле, любопытные гости пана Гриценка насчитали всей прислуги поляка человек до двенадцати, входивших то с разными его вещами, то для получения его приказаний. Все они одеты были в одинакое, весьма щеголеватое платье, с золотыми позументами, у каждого была за

поясом сабля и пара пистолетов; большая часть из них, как видно было, составляла конную стражу своего господина.

Не прошло полчаса, как уже все гости были, так сказать, околдованы обходительностью и ловкостью польского пана, занимательностью его разговоров и приятностью поступков. С мужчинами был он вежлив и говорлив, с женщинами услужлив и вкрадчив. Знав, что не многие из собеседников его разумели по-польски, старался он говорить по-малороссийски, ломал довольно забавным образом наречие туземцев, и сам первый тому смеялся. Ничем столь легко не приобретешь доброго расположения малороссиян, как непринужденною веселостью и шутливостью; казалось, польский пан обладал в высшей степени сими качествами приятного собеседника. Около него составился кружок; всякий с удовольствием его слушал, расспрашивал и смеялся от души остроумным его замечаниям насчет жизни знатных богачей в Польше и в Москве, откуда, по словам польского пана, он теперь ехал, быв посылай с какими-то важными поручениями.

Между тем как хозяин и все гости были заняты слушаньем рассказов поляка, Кветчинский нашел удобный случай сесть подле Присы, повторить ей свои уверения в вечной любви и выслушать такие же от нее. После сей взаимной передачи нежных чувствований Прися с веселым видом спросила у Демьяна: где отыскал он этого чудака-незнакомца, который, явясь впервые в их обществе, как будто бы сто лет был знаком со всеми?

— Я нашел его, — отвечал Кветчинский, — назад тому часа два, в постоялом доме, что стоит там, под леском, в четырех верстах от здешнего селения. Он остановился было там ночевать, когда я заехал в ту же корчму, чтоб обогреться и дать отдых лошадям, которых измучил по худой дороге, спеша к отцу... Признаюсь тебе, милая, хоть я и решился было никогда сюда не возвращаться: но один взгляд на тебя, один слух о тебе вызвали бы меня...

— С того света, — перервала Прися с лукавою улыбкою. — Не о том теперь речь: ты хотел мне рассказать, как познакомился с польским паном. Продолжай же.

— Изволь, милая, если тебе приятнее слышать о проказах польского чудака, нежели о муках моего сердца, — отвечал Демьян отчасти укорительным голосом. — Вошедши в корчму, я увидел толпу прислужников польского пана, которые суетились около него. Сам он лежал в переднем углу на лавке, на которой разостлан был персидский ковер с сафьянными подушками; перед ним, на столе, поставлены были неразлучная его шкатулка, сабля, кинжал, пистолеты и бутылка какого-то заморского вина. Когда я вступил в комнату, он торопливо вскочил с своего места, быстро посмотрел мне в глаза, потом поклонился и спросил по-польски: конечно, я проезжий? Я отвечал, что он не ошибся. Тут он просил меня сесть подле него, потчевал своим вином, расспрашивал, куда и зачем еду... Смейся или нет, моя милая, только я от полноты души рассказал ему все: и нашу любовь, и наши горести; не утаил даже и того, что нынче день твоих именин. Вообрази мое удивление, когда чудака, вскрикнув: «Я вам помогу, и помогу сей же час», — велел своим людям в минуту собраться в дорогу, надеть луч-

шую их одnorядку и, одевшись сам, посадил меня с собою в бричку, чтобы, как он шутя говорил, показывать дорогу... И вот мы здесь! Не знаю, что из этого будет, не смею еще надеяться ничего хорошего; но сердце мое замирает в каком-то тягостном ожидании.

Прися вздохнула. В эту минуту раздался громкий, единодушный хохот всего собрания. Отчасти из любопытства, отчасти из опасения, чтоб не заметили долгого их разговора глаз на глаз, вдали от прочего общества, — Прися встала и подошла к гостям. Демьян пошел вслед за нею <...>

Таким образом, в веселых рассказах и шутках, неприметно пролетел вечер. Кукушка в стенных часах прокричала одиннадцать часов; гости вдруг опомнились, стали собираться к отъезду, но хозяин снова начал унимать их закусить, что бог послал. Они снова начали отговариваться позднею порою, волками и гайдамаками. Тут к хозяину пристал и поляк, упрашивал их подарить его остатком вечера и отведать за ужином его венгерского вина; к тому прибавил он, что всем им даст своих шляхтичей проводниками. На замечание под-

комория, что шляхтичи и без того устали и намучились по такой дурной дороге, отвечал он, что эти молодцы привыкли к поездкам и что они готовы ехать во всякую пору по приказу своего пана, не зная ни сна, ни усталости, как черкесы.

За ужином польский пан велел подать свой запас венгерского и серебряные чарки. Сам он подносил вино своим собеседникам, чокался с каждым из них и пил за их здоровье. Наконец, когда все уже были очень навеселе, вдруг, по его знаку, подали две серебряные стопы одинаковой меры, с чернью и позолотою; поляк подошел к пану Гриценку, сказал ему, что хочет пить с ним по-польски, на братство; стал на колени и пригласил хозяина сделать то же. Тут он громко сказал: «Пан Гриценко! здоровье твое, мое, любезной именинницы, твоей дочери, и молодого гусара, моего товарища. Видишь ли, я пью от души на братство: не забываю и тех, которые милы тебе и мне. Выпьем же, как у нас в Польше: все до дна, не переводя духа». Пан Гриценко, у которого прежняя попойка уже затмила рассудок, принялся пить без всякого возражения;

однако же не мог выпить всего за одним духом: останавливался, пыхтел, но не хотел отстать от своего товарища. У польского пана вино свободно лилось в горло; он выпил несколькими минутами прежде хозяина, стукнул стопою о серебряный поднос и закричал: «Виват!» Слепец Нестеряк, забытый с самого появления поляка, отозвался в эту минуту, громко ударя тушь по всем струнам своей бандуры. Польский пан подошел к нему, налил венгерского и, бросив в чарку червонец, подал ему и сказал: «На, пей, старик!» Слепой бандурист выпил вино, достал со дна чарки червонец, ощупал его и молчаливо поклонился щедрому дарителю. Вслед за тем он встал, оперся на плечо своей внучки и пошел домой, покачивая седою своею головою.

Головы гостей сильно кружились, когда они встали из-за стола. Прися просила Кветчинского, который один из всей мужской компании уцелел от хмеля, позаботиться об отъезде гостей. Польский пан, вслушавшись в ее речь, созвал своих служителей, велел осьмерым из них быть в минуту готовыми и провожать гостей, настрого подтвердив, что они



будут ему отвечать за целостность и безопасность как самих господ, так и всего, что при них находилось. На него, как видно было, вино не сильно действовало, по привычке ли к таким попойкам, или потому, что он был крепок от природы. Он распоряжал всем и отдавал приказания, как человек с совершенно свежою головою. Зато хозяин дома совсем обомлел от последнего потчеванья: язык у него почти не ворочался, ноги подкашивались. По отъезде гостей он уже насилу стоял на ногах. Прися кликала Стецька, чтоб он отвел своего господина в его комнату; но Стецько не откликнулся. Один из людей польского пана сказал ей, что камердинер отца ее спал в людской избе, «от того, — прибавил он, — что, потчuya прислугу его ясновельможности, не забывал и себя». Кое-как, с помощью Демьяна, Прися отвела своего отца в его комнату, где Кветчинский и денщик его раздели пана Гриценка и уложили его в постелю. Прися пожелала спокойной ночи польскому гостю, то же желание, сопровождаемое едва заметным вздохом, сказала она Демьяну и ушла в свою комнату. Поляк и Кветчинский остались вдвоем и ско-

ро легли спать. Так ли они крепко уснули, как пан Гриценко, или вовсе не спали, как молодая Прися в эту ночь, — не станем исследовать; а посмотрим, что случилось с Стецьком.

Он крепко держал в уме и на душе, чтобы пересказать панянке, которую любил за ее доброту и ласковость, встречу свою с незнакомцем у оврага; но при гостях не имел свободной для того минуты. Приезд польского пана развлек его внимание; к тому ж он уверился, что при таком большом числе вооруженных людей гайдамаки не посмеют напасть на дом пана Гриценка. На беду еще, его заставили потчевать слугителей поляка, которые все были большие весельчаки и беззаботные головы пили сами за его здоровье и его заставляли пить за свое, поодиночке.

— Вы славные молодцы, — сказал Стецько, когда у него порядочно зашумело в голове, — и перед вами нечего таиться; да вы же в этом деле можете нам и сослужить службу.

— А что такое? — спросили почти в один голос все поляки.

— Да вот что. К нам назывался в нынешнюю ночь еще один гость: бог весть, кто он

таков, а кажется, гайдамак...

— Что же ты нам присоветуешь делать, когда он явится? — был новый вопрос.

— Ни больше, ни меньше, как заступиться за нас, т. е. за меня, пана и панянку: стрелять из ваших пистолетов, колоть, рубить, крошить в мелкие куски злодеев. Я не хочу, чтоб они над нами насмеялись.

— Дельно! небось, не выдадим, — сказал хвастливо один из поляков. — Посмотрел бы я, как-то ваши малороссийские гайдамаки посмели бы насунуться на мою польскую саблю? подавай их сюда!.. Выпьем же на отвагу.

И чарка снова пошла кругом, и голова Стецькова еще более отуманела.

— Да как ты сведал, что гайдамаки хотят напасть на здешний дом? спросил у Стецька один поляк.

— Я встретил одного из них нынешним вечером, и он сам меня подговаривал отпереть им двери, — отвечал Стецько.

— А ты и не согласился?

— Я было сказал надвое; да после одумался. Пуще всего мне стало жаль панянки.

— Разве она так добра?

— Ох! добра, как мать родная! от нее-то и ласковое слово услышишь, от нее-то и лишнюю чарку, и лишний кусок получишь. Когда пан наш на кого разгневается, она упрашивает да умоляет его до тех пор, пока он умило-сердится. И бедным всем она помогает, своим и чужим. Пошли ей, боже, здоровье и счастье, да хорошего жениха!

— Выпьем же за ее здоровье! — вскрикнули поляки и снова принялись пить и поить Стецька.

Чарка за чаркой — под конец он упал без чувства на лавку и таким образом проспал до утра, забыв и гайдамаков и добрую свою панянку.

### Глава III

*Топчи вороги  
Під ноги;  
Щоб наші підківки  
Бряжчали,  
Щоб наші вороги  
Мовчали!*

*Малороссийская свадебная песня*

**Н**а другой день пан Гриценко проснулся гораздо позже обыкновенного и с тяжелою

головой. Польский пан и Кветчинский давно уже были на ногах, а Прися, как ранняя птичка, порхала то туда, то сюда, хлопотала по домашнему хозяйству и заботилась об завтраке. В ней заметна была необыкновенная живость, пробужденная близостью любимого человека и надеждою на старания нового его знакольца.

Стецько также проспал долее, чем в другие дни, и проснулся не без страха. Приятели его, поляки, или шляхтичи, как он их величал, рассеяли его опасения, сказав, что паи его еще сам в постеле, и советовали ему опохмелиться. За чаркою вина они снова завели с ним разговор о гайдамаке, но уже в другом виде: они смеялись боязливым грезам бедного Стецька, шутили над его трусостью и заверяли его, что кто-нибудь из знакомых, подслушав его разговор с самим собою, нарочно впотьмах напугал его. Стецько и сам наконец остановился на этой мысли, стыдился напрасного своего страха, сердился, что не проучил порядком ночного насмешника, и твердо решил не сказывать о том никому в доме, чтоб не узнали об его трусости и не вздумали

часто его так дурачить.

Когда пан Гриценко пришел к гостям своим, то после обыкновенных приветствий и расспросов о здоровье польский пан сказал ему, что хочет говорить с ним наедине. Кветчинский под предлогом, чтобы похлопотать об отъезде, пошел отыскивать Присю, которая еще не кончила домашних своих забот или, может быть, по чувству приличия не хотела так рано казаться гостям.

— Пан Гриценко! — сказал поляк, когда они остались вдвоем. — Я приехал к тебе сватом. Знаю, что ты удивишься этому и считаешь меня за такого чудака, который любит мешаться в чужие дела; но выслушай. Я богат и бездетен, ближних родственников у меня нет, а дальние должны быть довольны и тем, что я им оставляю. Я полюбил будущего твоего зятя: он лучше, умнее и благоденственнее всех молодых людей, которых мне случалось встречать из моих земляков и из ваших... В этой шкатулке лежит у меня три тысячи червонных и почти на столько же дорогих вещей: согласишься ли ты отдать дочь свою за Кветчинского, когда я дам ему все это свадеб-

ным подарком?.. Смотри...

Тут он раскрыл шкатулку, на которую пан Гриценко и гости его так умильно поглядывали накануне. Она была по самую крышку набита полновесными червонцами. Поляк тронул пружинку, и потайной ящик с разными драгоценными вещицами явился глазам удивленного Гриценка.

— Говори же: согласен ли ты на мое предложение? — снова спросил поляк.

Удивление пана Гриценка прервалось вздохом, тяжело вырвавшимся из груди его, как у человека, которого вдруг пробудили от приятного, обольстительного сна. Поляк снова повторил свой вопрос.

— Быть так! пусть дочь моя будет женою Кветчинского, — сказал Гриценко, собравшись с духом. — Он славный молодец, и я всегда его любил: одна бедность была ему помехою жениться на моей Присе: теперь нет и этой помехи, по милости ясновельможного моего гостя. Что до его рода, то он сам выйдет в люди своим умом-разумом, да с божеским благословением и царским жалованьем.

— Так по рукам, и завтра же свадьба, —

сказал поляк, подставив свою ладонь.

— Это слишком скоро: мы ни с чем еще не готовы...

— Не твоя забота, пан Гриценко! у меня все мигом будет готово. Мне некогда ждать, время не терпит; я и так уже просрочил, а я непременно хочу погулять на свадьбе у доброго моего приятеля Кветчинского. Сейчас же разошлю моих молодцов сзывать вчерашних гостей и пригласить старика Кветчинского на нынешний вечер: сегодня у нас непременно должен быть стовор. Другие из моих шляхтичей отправятся закупать все нужное к свадьбе, и завтра же наши жених с невестой будут обвенчаны... Эй, люди!

На голос поляка сбежались его прислужники. Он с удивительною поспешностью и точностью роздал им приказания и разослал их в разные стороны. Через минуту они были уже на конях и выехали со двора. При нем, для услуг, осталось только четверо.

— Ин по рукам: я на все согласен, — сказал Гриценко, до сих пор в молчаливом раздумье смотревший на все, что вокруг него происходило.



— Давно бы так! — подхватил польский пан и хлопнул в открытую ладонь Гриценка так сильно, что он от боли поморщился и замахал рукою. Поляк улыбнулся. — Это остаток старой моей силы, — сказал он с видом самохвальства, — в прежние годы я разгибал подковы и скручивал узлом железные кочерги без дальних усилий. Теперь уже не то, все не по-старому; нет уже таких молодцов-силачей, как бывало прежде. И не только в силе — в самых понятиях нынешняя наша молодежь крайне изменилась. Скажу и о твоём будущем зяте: у него престранный образ мыслей. Например, он никак не принял бы сам от меня этого подарка из гордости; и я прошу тебя, пан Гриценко, не прежде отдать ему шкатулку, как на другой день свадьбы. Теперь покамест унеси ее и спрячь у себя.

— Правда, правда! — сказал Гриценко и, услышав шум в передней светлице, торопливо схватил шкатулку, притаил ее у себя под мышкою и почти припрыгивая унес в свою комнату.

В эту минуту вошли Кветчинский и Прися. Польский пан подошел к ним, поздравил

Прися с добрым утром и с женихом, а Кветчинского с невестой. Оба они не верили своему счастью и принимали слова поляка за дурную шутку, пока возвратившийся Гриценко не уверил их в том совершенно. Не станем описывать их радости: все такие описания скучны, ибо радость любит выражаться не словами, а улыбками, взглядами и тому подобными знаками, которых никакое красноречие не сильно вполне передать.

К вечеру начали съезжаться гости: отец Кветчинского явился из первых, дивясь неожиданному приглашению богатого и спесивого соседа. Уже по приезде узнал он, зачем его звали, и радовался почти не меньше своего сына. Началось сватовство обыкновенным малороссийским обрядом: польский пан, игравший роль старшего свата, поставил на стол хлеб и соль и просил ласки хозяина, чтоб он принял от его руки жениха своей дочери; и когда пан Гриценко подтвердил свое согласие, тогда Прися поднесла сватам и отцу своего жениха шелковые ручники на серебряном подносе. Остальное шло своим чередом: гости пили за здоровье жениха и невесты, отцов их,

сватов и проч., гости пели свадебные песни; польский пан был шутлив и любезен до крайности, говорил даже малороссийские поговорки, приличные случаю. Казалось, что он учился тамошнему наречию не по дням, а по часам, как славные богатыри росли в старинных русских сказках. Поздно разошлись гости по квартирам, которые отведены им были в домах зажиточных обывателей селения.

На другой день, рано поутру, дружки одели невесту к венцу. В девять часов свадебный поезд был уже совсем снаряжен: жених с сватом и дружкой поехали вперед верхами, чтобы у церковных дверей принять невесту, которая с свахой, дружками и светилкою везены были в старинном огромном рыдване, четверкою коней и вершинками. Сбруя на конях и рукава у вершников украшены были большими бантами розовых лент. От венца поезд возвратился тем же самым порядком в дом пана Гриценка, где уже приготовлен был, в ожидании обеда, сытный завтрак. Начались поздравления и потчеванья, молодой и молодая стали с поклонами подносить гостям разные цветом и вкусом водки. Каждый из почетней-

ших гостей, выпив, целовал молодых и клал на поднос какой-нибудь подарок. Польский пан, или сват женихов, положил полный кошелек червонцев. Таким образом время продлилось до обеда, за которым пирушка разгуливалась более и более. Гостям показалось странно, что не было музыки: некому было играть туш, когда пили здоровье молодых. Пан Гриценко уже дважды посылал за слепым бандуристом, но он все не являлся. Стецько снова был отправлен привести или притащить его, если он не пойдет доброю волею.

В конце стола венгерское польского пана опять полилось в чары и в уста лакомых гостей. Сам поляк был еще веселее, разговорчивее и шутливее, нежели прежде. Он часто пил за здоровье молодых, приговаривая: «Горько!» в заставляя их целоваться; напевал малороссийские и польские песни, точил балы и был в полном смысле душою пирушки. Опять он велел принести большую свою серебряную стопу и пил из нее на коленях с паном Гриценком и старым Кветчинским.

С шумом и суматохою кончился обед. Начались громкие, крикливые разговоры; жен-

щины уселись в кружок и запели веселые малороссийские песни; мужчины собрались около них, слушали и подтягивали. Между тем молодые, посаженные на почетном месте, почти не замечали того, что вокруг них происходило: они, так сказать, были погружены в настоящее и будущее свое благополучие. В таких приятных и невинных занятиях пролетело несколько часов. Тут только некоторые из гостей и хозяин дома заметили, что между ними кого-то недоставало, и сквозь туман винных паров наконец досмотрелись, что отлучившийся гость был веселый и добрый польский пан, сильно поколебавший, врожденное в малороссиянах предубеждение насчет поляков. Начали его искать повсюду — его нигде не было; люди его, прислуживавшие за столом, также все скрылись. Некоторые из самых любопытных гостей побежали осведомляться на дворе: поселяне, собравшиеся смотреть на свадьбу, сказали им, что несколько часов тому назад бричка польского пана выехала за ворота, конные служители его также поодиночке выбрались, а спустя немного сам он тихо вышел на улицу, сел в

бричку и ускакал, окруженный своими проводниками.

И гости, и хозяин дивились такому странному поступку польского пана; отец Присидивился также и тому, что ни слепой бандурист, ни Стецько не являлись во весь вечер. На многолюдных, шумных пирушках обыкновенно такие случаи на миг мелькают в понятиях собеседников и быстро сменяются другими впечатлениями. Какой-то залетный музыкант с скрипкою, песни, пляски и продолжительная попойка скоро вытеснили из согретых хмелем голов и польского пана с его забавными шутками, и слепца Нестеряка с его бандурой, и Стецька с его глупым взглядом и разинутым ртом.

Последний из них явился, однако ж, на другом день поутру. Он бросился в ноги своему пану, просил у него прощения за вчерашнюю свою отлучку и сказал, что слепой Нестеряк решительно отказался идти на свадьбу с своею бандурой. В то же время Стецько подал господину своему запечатанное письмо.

— От кого принял ты это письмо? — спросил пан Гриценко, еще не разламывая печат-

ти.

— От кого?.. — молвил Стецько, повторяя вопрос со всею медлительностию малороссиянина. — Да от нашего свата, польского пана...

— Где и как, — нетерпеливо подхватил Гриценко,

— Где?., в корчме, за селением, на большой дороге. Как?., я и сам порядком не помню; дайте надуматься. А! теперь кажется так: извольте слушать. Шедши домой от Нестеряковой хаты, я встретился с одним из шляхтичей, который дружески потрепал меня по плечу и сказал: «Прощай, товарищ! пан наш уехал, и я спешу вслед за ним. Да не можешь ли ты, прибавил он, — сослужить мне службу, показать мне дорогу а корчму, что за селением, по С...цкому шляху? Я тебе буду очень благодарен, и там мы расстанемся, как добрые приятели, за чаркою вина». — Виноват, грешный человек: я взялся его провожать, и там мы нашли польского пана со всеми его проводниками. Пан обошелся се мною ласково, потчевал меня сам из своих рук, дал мне на водку и велел подождать, пока напишет к вам письмо.

В другой светлице шляхтичи окружили меня и пили со мною на расставанье до тех пор, что уж я и не помню, как заснул. Когда же проснулся, то уж ни пана, ни людей его не было, а корчмарь подал мне это письмо и крепко-накрепко наказал мне доставить его к вам, говоря, что если не доставлю, то польский пан отыщет меня хоть под землею и тогда бог весть, что со мною будет. Я испугался и своей отлучки из дому, и вашего гнева, и угрозы польского пана, опрометью бросился из корчмы и не помню, как меня ноги сюда донесли.

Пан Гриценко, выслушав этот рассказ, распечатал письмо. Судите ж об его удивлении, когда он прочел в нем следующее.

«Пан Гриценко! я хотел ограбить тебя, и уже все было к тому готово. Чтобы собрать моих удальцов в одно место, переодел я их в однорядку, и сам оделся поляком, потому что не имею в здешних местах надежного прити-на. В этом виде велел я самым лихим ребятам из моей вольницы съезжаться в одной корчме, где сам их дожидался. На твое счастье, приехал туда же нынешний зять твой, Кветчинский. Я хотел было отправить незваного



гостя в нежданное место; но как я никогда не проливаю крови, то вздумал выведать хорошими средствами, не будет ли он нам помехой? Слово за слово, я вытянул из него всю подноготную: и любовь его к твоей дочери, и твой отказ, и его горе. Я от природы имею доброе сердце: мне стало жаль бедного Кветчинского: тотчас я переменяю намерения на твой счет и решился помочь ему. Хорошо ли я в этом успел, сам ты знаешь. Прощай: люби дочь и зятя, надели их, как долг велит доброму отцу, береги мою шкатулку — она тебе пригодится, и будь милостив к своим служителям. Они такие же люди, как и ты. Если все это исполнишь по моему желанию, то можешь быть уверен, что никогда не встретишься с Гаркушею».

Лихорадочная дрожь проняла пана Гриценка во время этого чтения; ему казалось, что гайдамак все еще перед ним; робко взглянул он и увидел подле себя не Гаркушу, а слепого бандуриста.

— Я пришел поздравить вас, добродей, и пожелать счастья вашим молодым. Пусть их живут, как венки вьют! Вчерась же, винюсь,

не пришел к вам на свадьбу: тут был недобрый человек, и я ни за что бы не хотел с ним быть под одною кровлею.

— Разве ты по чему-либо узнал гайдамака? — спросил пан Гриценко, пришедши несколько в себя.

— Ну, так! — подхватил слепой музыкант. — Я чувствовал, что здесь что-то недаром. Порядочный человек не стал бы бросать своих червонцев первому встречному. Сейчас же иду и отдам его дар на богадельню. Не хочу себе даров от нечистых рук.

— А я так приберегу свои десять серебряных круглевиков про черный день, — думал про себя Стецько, стоя у двери. — Нужды нет, что пришли ко мне из нечистых рук: на это есть мел и тертый кирпич.

Что думал пан Гриценко о своей шкатулке, мы не знаем; только он не отдал ее на богадельню. Может быть, от страха, чтоб не прогневить Гаркушу презрением к его подарку; или, может быть, хотел он возвратить ему шкатулку при первой встрече. Как бы то ни было, но он до самой смерти не упоминал о шкатулке ни зятю, ни дочери, и она перешла

к ним как наследство отцовское.

## Глава XIX

*Чи ти гордый, чи ти пишний*

*Чи гордо несешся?*

*Малороссийская песня*

**В** жаркий июльский полдень, по дороге от Золочена к Сумам, медленно тянулись несколько повозок. Впереди ехал рыдван, или огромная коляска с отдергивающеюся кожею вместо дворец, с маленькими окошками, вставленными в позолоченные рамы, с вычурными украшениями из прорезной жести, положенной на алую фольгу, по углам, спереди и сзади кузова. Четвероугольный сей кузов поставлен был на низком ходу ярко-красного цвета Тяжелую эту колымагу тащила шестерня раскормленных лошадей, из которых четыре были впряжены рядом у дышла, а две впереди. Кучер и фореитор, или вершник, оба в белых свитах домашнего сукна, лениво и неловко правили этою шестернею. Рядом с кучером, на низких и просторных козлах, сидел небольшой, плотный человек, с предлинными угами и в странном наряде, на нем был

разноцветный жупан, у которого одна пола была синяя, другая светло-зеленая, стан красный, а рукава желтые; шапка у него на голове была также особого покроя околыш ее сшит был до половины из черного и до половины из белого бараньего смушка, а верх, сделанный колпаком наподобие венгерского гусарского кивера, пестрел теми же четырьмя цветами, которые видны были в его платье. Широкие штофные шаровары с большими узорами всех возможных красок и сафьянные чоботы, из коих один красный, а другой желтый, с высокими медными подковами, дополняли убранство этого чудака, который часто оглядывался в окошко коляски, говорил по нескольку слов и возбуждал невольный, простодушный смех в неудалом кучере Два рослые хлопца, или лакея, в синих чекменях и казачьих шапках, стоя на большом сундуке, привинченном к запяткам коляски, и перегнувшись через кузов, скалили зубы вместе с кучером, а четыре проводника, ехавшие верхом по сторонам коляски, безвинно смеялись чужому смеху, хотя вовсе не слышали слов полосатого проказника. Между тем двое пере-

довых, тихою ступью подвигаясь шагах в двадцати от передних лошадей, очищали дорогу, покрикивали на проезжих и дремали да покачивались в промежутках времени. Шесть больших повозок, или дорожных фур, тащились следом за коляской, на крестьянских лошадях, и нагружены были съестными припасами, погребцами с дорожною пропорцией водок и наливок, поваренною посудой, пуховиками, подушками, баулами, чемоданами, няньками, горничными девушками, поварами, босоногими мальчиками и пр. и пр. Шествие замыкалось двумя псарями, которые вели на сворах целую стаю собак, покуривая табак из коротких трубок, переглядываясь и посмеиваясь с горничными.

Полы коляски были задернуты, окна подняты, несмотря на зной и духоту, и снаружи не видно было, кто там сидел; но встречавшиеся поселяне, видя такой пышный караван, почтительно сворачивали в сторону и, поравнявшись с коляской, робко снимали шляпы. Двое из них даже съехали с дороги на пашню, остановились, и, когда уже коляска и вся ее свита проехали мимо, тогда они вступили в

разговор между собою.

— А что? — был лаконический вопрос первого.

— Э-ге! — отвечал другой обыкновенным малороссийским междометием, которое, не означая ничего в собственном смысле, выражает многое.

— Знаешь ли, Грицко, кого бес пронес мимо нас? — промолвил первый после минутного молчания.

— Кому ж быть, как не толстому пану? — отвечал второй. — Хотелось бы мне знать, куда его несет нелегкая?

— Куда! вестимо к нам, в степную его деревню, а ездил он по другим своим деревням и хуторам, объедать и опивать мужиков своих, брать с них волею и неволею на поклон, то деньгами, то хлебом, то медом, топтать их поля своими собаками и вытравливать их сады и огороды голодными своими хлопцами.

— Как бог еще терпит на свете такую пиввицу? Уж он ли всем не насолил, и своим и чужим! А сколько, ты думаешь, за ним всех душ?

— Сказывал мне Яким Вдовиченко, кото-

рый служит у него в дворе писарем, что всего-навсего за ним, по разным уездам и поветам, больше семи тысяч душ; а своей — и не спрашивай!

— Больше семи тысяч! то-то, должно быть, денег-то, денег!

— Да говорят, одна кладовая с железными решетками, у которой денно и нощно стоит караул, насыпана медными от полу до верху; а с собою он возит бог весть сколько сундуков с серебром и шкатулок с червонцами.

— Правду говорит пословица: у богатого черт детей качает. Да зачем же пан Просечинский возит с собою все лучшее свое добро?

— Видно боится, чтоб без него не ворвались в дом воры или не случился пожар. Этот пан Просечинский сущая притча: для других скуп, для себя тороват; людей своих морит голодом, а сам ест за семерых; гостям, особливо бедным панкам, подносит простую сивуху, а сам пьет третьепробную водку, настоенную и невесть какими снадобьями, да наливки и заморские вина, о которых и вспомнить, так слюнка течет.

— Богачи всегда скупы; уж так, видно, им

на роду написано.

— В доме у пана Просечинского такая каторга, что и боже храни! Работою люди завалены так, что и за ухом некогда почесать, а чуть что не по нем заспался ли, загулялся ли кто из дворовых — так и дерут бедняка на конюшне. Там у пана пристроена особая каморка, а в той каморке припасены такие диковины, что и подумать страшно: и цепи, и кандалы, и дыбы, и разные плети; утро и вечер идет там расправа; мимо идешь, так дыбом волос становится.

— Избави бог от такого варвара! Да чего же смотрит гайдамак?.. Сказывают, что он прочивает злых панов, чуть только про которого прослышит худое.

— Видно, про этого он еще не слыхал... Бог даст! — прибавил Грицко, заметив впервые нищего, который давно уже стоял перед ними и, казалось, ожидал только конца их разговора, чтобы попросить милостыни.

— Вот тебе, человек божий, — сказал товарищ Грицка, вынув из мешка большой кусок хлеба и подавая нищему, — вот все, чем могу с тобой поделиться. Видел ли ты: сейчас про-



ехал по дороге богатый пан; он, верно, здесь недалеко остановится, вон там, под дубровой: паны всегда любят негу и для того в жаркое время прячутся под тенью. Авось-либо он тебя наделит побольше.

— Да, попробуйся! — примолвил Грицко насмешливо. — Если не уськнет тебя собаками, так уж верно понесешь его милостыню на спине, а не за спиною.

— Нам бог велел терпеть все и с потом, горем и слезами добывать себе хлеб, — отвечал нищий, поклонился, прошептал молитву и побрел по дороге в ту сторону, куда уехала коляска. Крестьяне долго глядели вслед ему с каким-то полусонным любопытством. Вид этого нищего и в самом деле был замечательен: это был человек среднего роста, плотный телом, с рыжими, включенными волосами на голове и в бороде. Лицом он был довольно полон и с первого взгляда не казался ни большим, ни слабым; но желтые пятна на щеках, синета под глазами, правая нога, которою он хромал, левая рука, как будто бы вышибенная из плеча, и чахлый голос являли в нем полного калеку, каких весьма часто встречаешь по

большим дорогам, в городах и местечках Малороссии. Потолковав еще несколько минут, Грицко и товарищ его снова поворотили на дорогу и погнали по ней лошадей своих, разлегшись на телегах с малороссийскою ленью.

Между тем коляска остановилась подле леса, в урочище, называемом Образ. Проезжие находят ныне на сем месте большую каменную часовню, в виде разрезанного конуса, довольно красивой архитектуры; но в тогдашнее время стояла здесь часовня деревянная, которой стены валились от ветхости. Часовня сия возвышается над лесистым оврагом, в углублении коего находится колодец чистой, холодной ключевой воды, с бревенчатым срубом. Теперь по другую сторону от дороги здесь есть шинок, или постоянный дом для проезжающих; но тогда не было еще здесь никакого жилого строения. Пустынное сие место привлекает взоры путешественников своею дикою красотою, и редкий из них не останавливается здесь хотя на короткое время.

Прежде всего выгружена была одна из дорожных фур. Хлопцы и ездовые пана достали из нее палатку, или огромный шатер, натяну-

ли на дровки и положили в нем целую кипу пуховиков и подушек, одни на других, так, что это составило нечто похожее на турецкий диван; все это прикрыли они большими шелковыми покрывалами, или попонами. Тогда полы коляски отдернулись на медных кольцах по железному пруту, и прежде всего выскочили из нее два молодые человека, или, как в Малороссии называют, панычи, несовершеннолетние сыновья пана, два плотные юноши, от осьмнадцати до двадцати лет; за ними вышла сестра их, девица лет шестнадцати, не красавица, но имевшая с неправильными чертами очень милое лицо малороссийской панночки. Далее вышел мужчина лет тридцати, приятной наружности, стройный и крепко сложенный; наконец показался из коляски огромный человек, высокого роста и необыкновенной толстоты: это был сам пан Просечинский. Псари подставили ему крепкую скамейку с подушкой, а четверо слуг подавали ему руки; он ступил тяжелою ногою на землю, крикнул и, поддерживаемый хлопцами, потянулся к палатке; там разлегся он на пуховиках, покоя спину свою и голову на

подостланных подушках. Прочие члены его семейства поместились около него, а у ног его стал полосатый человек, сидевший дорогою подле кучера.

— Рябко! — сказал толстый пан протяжно-томным голосом, как будто бы это был голос больного. — Нравится ли тебе это место?

— Как не нравиться! — отвечал полосатый шут. — Если б этот овраг был мой, то я отдал бы его на аренду гайдамакам и собирал бы с него славный доход.

— Безбожник! разве ты захотел бы погубить свою душу, связавшись с душегубцами?

— И, дядько! не я был бы первый, не я последний. Да и за что про одних только бедных гайдамаков идет такая дурная слава? А наши судовые, чернильные пиявки, разве не душегубцы, когда у них виноватый прав, а правый виноват?

— Правда, правда твоя, Рябко! ты дурак, а судишь иногда, как путный человек.

— И твоя правда, дядько, да не совсем: у путного человека язык спутан, а у дурака развязан. Ты мне помешал говорить о гайдамаках и душегубцах. Слушай же и учись: а наши

паны, которые сдирают по три шкуры с мужиков своих, то частыми поборами, то ременными нагайками, не...

— Подавись этим словом, собака! — взревел толстый пан, совершенно переменяв тон и голос. — Тебе ли судить о панах, негодный червяк?

— Вот ты и рассердился, дядько, — сказал шут весьма спокойно, как будто бы не боясь гнева своего пана, — и опять ты не дал мне договорить: речь не о тебе шла, а о других панах, которых я видал по белому свету.

— Ну, то-то же, — промолвил пан Просечинский, успокоясь, — иначе ты отведал бы, каковы арапники у моих псарей.

— У тех панков, что пануют над собаками? я и без того знаю: у них арапники панские; где надо брать добром, там они отнимают побоями... Да собакам собачья и честь! Иное дело, когда людей честят по-собачьи...

В это время вошел кашевар, или походный повар пана Просечинского, и спросил, что прикажет готовить к обеду.

— Почти что ничего! — промолвил толстый пан прежним своим протяжно-томным

голосом, который старинные малороссийские паны полагали в числе приличия хорошего тона, особливо, когда говорили с своими подчиненными или с мелкопоместною шляхтой. — Я человек больной, — продолжал он после некоторой расстановки. — Много есть не могу; притом же нынче постный день... Что у нас есть в запасе?

— Есть десятков пять крупных окуней да три сотни раков. Я закупил это для панского стола в последней деревне, которою мы проезжали, и сложил в мешки с свежею травою.

— Три сотни! много, очень много: я человек больной и много есть не могу... Сварить половину; остальные к ужину; а из рыбы изготовить уху; рыбы не к чему оставлять, еще найдем где купить... Ну!

— Есть свежепросольная осетрина, пуда два.

— Пуда два! много, очень много: я человек больной, и день нынче постный... сварить фунтов двадцать и подать с хреном. Ну!

— Есть сушеные караси.

— Сварить из них кулеш: это самое здоровое кушанье для больного. Дальше!

— Есть свежая белужина, фунтов тридцать.

— Фунтов тридцать! много, очень много... Да время теперь жаркое, свежая рыба может испортиться. Разрезать пополам; из одного куска сварить похлебку, прибавить в нее раковых шеек, а из другого, пополам с осетриной, солянку на сковороде. Ну!

— Есть у нас десятка два больших карпов...

— Изжарить их. Ну!

— Есть планчита и целый короб сладких пирожков.

— Подать планчиту и положить на блюдо пирожков... так, не больше двадцати; прибавить к этому гренок с поливкой из вишен, сваренных на меду... Ну!

— Есть балык, семга, сельди, кавьяр...

— Довольно, довольно! Подать всего этого к водке, перед обедом, по одной тарелке; слышишь ли? не больше! — Повар ушел.

— Дорога меня измучила, — продолжал пан Просечинский, — видите ли, дети, как я слаб, болен, как похудел? Вот мой шелковый халат теперь мне широк, сидит мешком... Не правда ли?

— Правда, правда, дядько! — подхватил шут. — И то правда, что ты велел его сшить взапас, думая, что тебе за пост и молитву прибавит бог дородства.

Толстый пан сердито посмотрел на шута, и тот пустился бегом из палатки. Скоро, однако ж, возвратился он, неся в руках свою бандуру и наигрывая на ней казачка.

— Не хочешь ли, дядько, промяться со мной перед обедом? это здорово: больше съешь и крепче уснешь.

— Пляши сам, вражий сын! — отвечал Просечинский.

— Изволь, я не прочь; только ты мне пода-ри новые чоботы, когда я эти истопчу для твоей потехи. — И шут заиграл громче и пустился плясать с смешными телодвижениями и кривляньями, припевая:

По дорозі жук, жук, по дорозі чорний!  
Подивися, дівчина, який я моторний,  
Подивися, вглянься, який же я вдався:  
Хіба даси копу грошей, щоб поженухався.

Окончив свою пляску, шут сел на голой земле, поджав ноги по-турецки, и пропел под игру на бандуре еще несколько малороссий-



ских песен, любимых его паном. Голос шута был чист и приятен, и в пении заметно было некоторое искусство. Пан Просечинский, нежась на пуховиках, свел глаза и как будто дремал; сыновья его выбежали из палатки и отправились смотреть своих собак и болтать с псарями и хлопцами; а дочь, сидя подле молодого мужчины, о котором выше было упомянуто, шепотом с ним разговаривала.

Между тем челядь толстого пана, отпрягши и расседлав лошадей, стреножив их и пустив на траву, собралась около кашевара, который, разведя большой огонь под открытым небом, готовил обед. Несколько медных котлов привешено было над огнем на железных присошках; большие кастрюли и сковороды шипели на углях, и голодная челядь, облизываясь, жадно на них смотрела.

В это время подошел туда нищий, который, прихрамывая, брел по дороге. Он остановился перед кружком, собравшимся около огня, или, справедливее, около кушанья, и жалобным голосом проговорил нараспев: «Православные христиане! сотворите милостинку, Христа ради!»

— Какой тебе милостинки от нас! — молвил один из хлопцев. — Мы сами смотрим на чужой обед, а глотаем только дым.

— Много вас, попрошайек, по большим дорогам, — прибавил другой. — Об вас-то и думать, когда самим есть нечего.

— Пан наш так добр, что, верно, не откажет тебе в рублевике, — подхватил третий с лукавым видом. — А у него их очень много: видишь ли этот окованный сундук, позади рыдвана? Там есть чем наделить всех нищих в свете. В рыдване и того больше: там четыре шкатулки с червонцами, с дорогими перстнями и самоцветными камнями. Да в той фуре, что стоит с краю от рыдвана, найдется другого-прочего тысяч на несколько. Попытайся: может быть, он тебе и уделит часточку.

Нищий, казалось, ловил на лету слова болтливого слуги. Может быть, он сравнивал бедную свою участь с богатым состоянием толстого пана; только заметно было, что он как будто бы что-то соображал или рассчитывал.

В эту минуту подбежали туда молодые паньчи. «Зачем здесь этот бродяга?» — закри-

чал старший.

— Оставь его, брат, — сказал младший, — он нас позабавит. Эй, ты, калека! умеешь ли играть на волынке?

— Не умею, добродию, — отвечал нищий.

— Ну так пой и пляши! — подхватил младший паныч.

— Я стар и слаб, петъ мне не по силам, а плясать могу ли я с хромою моею ногою и увечным телом?

— О, так ты еще и упрямишься! — завопил старший брат. — Только со мною даром не разделаешься: ты у меня запляшешь и через палку... Брат! возьми у псарей арапник и подгоняй этого уroda, а я буду держать палку: пу-стяка через нее поскачет!

При сих словах он вырвал клюку из рук нищего, и сей, от нечаянное потрясения, упал на землю и закричал громким болезненным голосом. Оба молодые шалуна стояли над ним и хохотали во все горло; малодушная челядь, из угождения ли своим панычам или по врожденной жестокости, тоже смеялась над бедняком.

Пронзительный крик нищего перервал

дремоту толстого пана; он зевнул, потянулся, спросил, что там делалось, велел позвать к себе сыновей и подавать обед.

## Глава XX

*А в сього пана скам'я заслана,  
Та на тій скам'і три кубки стоять:  
В першому кубці — медок солодок,  
У другім кубці — кріпкеє пиво,  
У третім кубці — зелене вино.  
Колядка*

Четверо хлопцев внесли в палатку складной стол, накрыли его шленскою скатертью, и дворецкий толстого пана, отомкнув погребец, достал из него четыре полуштофика с разными водками и несколько серебряных чарочек без поддонников, установил все это на тяжелом серебряном подносе узорочной обронной работы и поставил на стол перед своим паном. Хлопцы принесли потом на четырех или пяти тарелках сытную закуску, которая и теперь еще часто в малороссийских домах подается перед обедом и может заменить целый, весьма нескучный обед для желудков, не столько привычных к непрерывной работе.

— Жарко! — промолвил пан Просечинский прежним своим протяжно-томным голосом. — Выпью мятной водки: это меня освежит. Пей, Леонтий Михайлович! продолжал он, обратись к будущему своему зятю, молодому Торицкому, налив водки и подавая ему чарочку. — Это водка здоровая, прохладительная. — Потом выпил сам, вздохнул, как бы от полноты удовольствия, и закусил. Все семейство толстого пана собралось вокруг стола и дружно принялось закусывать.

— Мне все что-то нездоровится, — сказал Просечинский, склонив голову на сторону с видом человека расслабленного, — не подкрепит ли меня эта запеканка? — Тут он налил настойки из другого полуштофа, выпил и продолжал работать вилкой и зубами.

— Не отведать ли нам этой любистовки, Леонтий Михайлович? это нам придаст аппетиту; я же почти ничего не могу есть: кусок нейдет в горло.

Торицкий отказался, а толстый пан, выпив чарку, принялся есть с новою охотой, как будто бы в доказательство, что любистовка пробудила его аппетит.

— Выпить было кардамонной: авось-либо она согреет мне желудок. Это необходимо на рыбную и соленую пищу.

Вслед за этими словами пан Просечинский выпил четвертую чарку водки и принялся доканчивать закуску, которой и так уже немного оставалось, благодаря ревностным стараниям толстого пана и обоих сыновей его.

Между тем шут, стоявший поодаль в ожидании подачи, первый заметил нищего, который, остановясь у входа палатки, безмолвно кланялся и, казалось, следил глазами каждый кусок. Это был тот самый нищий, на которого перед сим нападали шаловливые паньчи.

— Разве ты не видишь, — сказал ему шут с таким видом, с каким жирный мопс косится на тощую дворовую собаку, умильно поглядывающую на кости, кои не для нее назначены, — разве ты не видишь, что панская прислуга еще не кушала? Убирайся за добра-ума: я так голоден и зубы мои так разлакомились, что могу и тебя схрустать вместо рыбьего позвонка.

Нищий, не отвечая на слова шута, запел

Стих о убогом Лазаре звонким, резким голо-  
сом и произнося слова немного в нос.

— Прочь, прочь! — завопил пан Просечин-  
ский. — Я терпеть не могу этой сволочи, этих  
бесстыдных попрошаек, которые не хотят ра-  
ботать и выдумали ремесло — обманывать  
честных людей да жить мирским подаванием.

— Видишь ли, старец, — промолвил  
шут, — ведь я тебе советовал убираться за  
добра-ума; я голоден, а пан мой не совсем еще  
сыт, и оттого мы оба сердиты. Моли бога, что  
во мне еще больше жалости, нежели в бога-  
тых панах! прибавил шут скоро и тихим голо-  
сом, подойдя к нищему и сунув ему в руку две  
копейки.

Но нищий, казалось, упорно хотел что-ни-  
будь выманить у толстого пана: стоя на преж-  
нем месте, он кланялся и твердил жалобным  
напевом: «Милосердые паны! сотворите бо-  
жью милостинку старцу-калеке, бездомному  
и безродному».

— А, так ты еще и упрямишься! — закри-  
чал толстый пан. — погоди, вот я велю спу-  
стить собак; тогда завопишь у меня другим  
голосом.

Молодая, мягкосердечная Олеся, дочь Просечинского, робко и умильно взглянула на своего отца. Торицкий, показывавший уже и прежде в выражении лица и телодвижениях худо скрываемое негодование на бездушие своего нареченного тестя, понял мысль своей невесты, подошел к нищему и, подав ему серебряную монету, проговорил «На, старец, молись за нее...» — Тут, указав быстрым взглядом на Олесю, отошел он и сел опять подле нее.

Нищий посмотрел на монету, взглядом и движением губ поблагодарил щедрого дателя, но все еще не трогался с места.

— Чего ж тебе еще, жадная собака? — вскрикнул Просечинский в сильной досаде и на упрямую назойливость нищего, и на слезы, навернувшиеся на глазах Олеси, и на сострадательность ее жениха. — Прочь отсюда, сию же минуту. Эй, псари! собак и арапников!

— Позвольте нам, батюшка! мы управимся с этим негодяем! — сказали оба паныча и, не дожидаясь ответа, кинулись к нищему. Он проворно отскочил назад и тем избег первого их нападения; другим скачком стал еще далее



от палатки, но за третьим подпустил к себе панычей и быстрым, метким движением рук, схватя того и другого за шею, повернул их с необыкновенною силой и ударил о землю. В тот же миг он засвистал богатырским посвистом. Псарь и хлопцы, сбежавшиеся на голос своего пана, сперва с малороссийским, насмешливым любопытством смотрели, как нищий отыгрывался от панычей. Когда же он повалил их на пол, тогда служители, дивясь такой дерзости, долго не могли опомниться и вступить за своих господ. И было уже поздно: едва раздался свист нищего — вдруг отовсюду, из-за кустов, из-за кочек, из густой травы, поднялись страшные люди, вооруженные с головы до ног. С громким, пронзительным воплем бросились они как саранча на челядь толстого пана; другие, на крик своих товарищей, летели во весь опор на конях из лесу, с поля, со всех сторон: у каждого был в руках большой нож, за плечами ружье, за поясом пистолеты. Одни схватили оторопелых псарей и хлопцев, другие бросились в палатку и задержали толстого пана, Олесю и Торицкого, третьи окружили возы и прибрали к рукам

поваров, кучеров и остальных людей Просечинского. Никто не успел опомниться и подумать о побеге или обороне.

— Вяжите всех, — кричал Гаркуша, сбросив с себя накладные волосы, нищенское рубище и суму и являсь в легкой куртке, с полным вооружением гайдамака. — Вяжите всех; не троньте только молодой панночки, жениха ее да шута: их просто держите и не делайте им никакой обиды.

Все мигом было исполнено с самою рабочею точностию. Казалось, что шайка гайдамаков угадывала даже мысли своего атамана. Он стоял опершись правою рукою на пистолет, бывший у него за поясом; лицо его было спокойно и не выражало ни малейшей страсти; но ястребиный взор его в один миг перелетал с места на место и обзиревал все, что вокруг него происходило.

Связав толстого пана по рукам и по ногам, гайдамаки с диким, радостным криком вынесли его из палатки; таким же образом связали они и обоих его сыновей. Торицкий, не предвидев опасности при выходе из коляски, оставил там свою саблю и пистолеты; но ко-

гда гайдамаки ворвались в палатку, тогда он, схватив столовый нож, стал перед своею невестой и решился отчаянно защищать ее. Усилия его были напрасны: четверо удалых, сильных гайдамаков схватили его за плеча и за руки и, посадив на подушки, на которых перед тем покоился будущий тесть его, крепко держали и не сводили с него глаз. Олеся, оцепеневшая от страха, была посажена рядом с ним, и приставленный к ней гайдамак, слегка ее придерживая, утешал ее и уверял, что ей не сделают никакого зла, что такова была воля атамана, которой никто не осмелился бы нарушить. Что касается до шута — его гайдамаки закутали в огромный халат толстого пана и, спеленав как ребенка персидским его кушаком, посадили на землю. Не потеряв головы и видя, что для него не было никакой дальней опасности, он начал слегка покачиваться и напевать однозвучную колыбельную песенку, точно так, как дети сами себя убаюкивают перед усыплением.

Людей Просечинского свели в одно место и, схватив им руки за спиною, привязали их друг к другу длинною веревкой, подобно цепи

невольников. Робко и безответно бедняки покорялись своей горькой доле и ждали над собою еще больших бед. По знаку Гаркуши, гайдамаки в несколько минут выгрузили коляску, а в нее посадили всех женщин и малолетних, задернули полы и накрепко застегнули их ремнями и пряжками.

Тогда Гаркуша велел оттащить Просечинского и панычей к часовне, а сам пошел в палатку.

— Пан Торицкий! — сказал он, войдя туда. — И ты, добрая панна Елена! Вам нечего бояться: вы никому не желали зла, а напротив того, сколько могли, делали добро. Вот вам рука Гаркуши, что ни он, ни его вольные казаки не возьмут ни одной нитки из всего того, что вам принадлежит. Гаркуша никогда не изменял своему честному слову: он не таков, как ваши паны и порядочные люди, которые держат слово только до первой встречи... С паном Просечинским будет у меня другая разделка: я давно ждал случая порядочно потазать его за дерзость, скупость и жестокосердие и хотел только сам увериться, правда ли было то, что мне о нем рассказывали...

Олеся зарыдала и закрыла лицо руками. Торицкий хотел вырваться из рук своих стражей, но осторожные гайдамаки предвидели это движение и удержали его.

— Напрасный труд, пан Торицкий, — сказал ему Гаркуша спокойно и важно.

— И что мог бы ты сделать, один и безоружный, против сорока таких удальцов, как мой? Нареченного же твоего тестя сам сатана со всем своим бесовским причетом не вырвал бы теперь из моих рук. Чему быть, того не миновать; что я положил у себя на сердце, то непременно исполню. Потом, переменив выражение лица, с улыбкою обратился он к шу-ту.

— Здравствуй, приятель, — сказал он ему, — да кто тебя так опоясал?

— Твоя прислуга, дядько! — отвечал шут. — Видно, они берегут мое здоровье и боялись, чтоб я не простудился. Умные люди говорят, что в сильные жары должно больше бояться простуды, нежели в трескучие морозы.

— Паливода! — сказал Гаркуша, взглянув на высокого, плечистого и курчавого цыгана

своей шайки. — Вижу, что здесь не без твоих проказ; шут шута далеко видит. Однако же, пока я не велел самого тебя завязать в мокрый мешок и не приложил тебе нагайской припарки, так потрудись, развяжи своего товарища по ремеслу.

— Рябко не товарищ этого черномазому головорезу, — проворчал шут с заметною досадой, — у него самые дурацкие шутки; спеленал Рябка как малое дитя. А когда спеленал, так пусть и нянчит; только я наперед ему говорю, что я дитя самое упрямое и блажливое.

Между тем цыган развязал узлы, развил кушак и выпустил бедного Рябка на свободу. Первым действием шута было то, что он вцепился в черные курчавые волосы цыгана и начал трясти ему голову, приговаривая: «Вот так, так сеют мак».

Гаркуша громко смеялся такому неожиданному поступку шута; но рассерженный Паливода схватил жилистыми руками своего противника под бока, стиснул его, поднял вверх и конечно ударил бы его о землю, если б Гаркуша не помешал ему в том.

— Ты столько меня позабавил, что я дол-

жен тебе заплатить за это, сказал атаман шу-ту. — Говори смело, чего бы ты хотел от меня?

— Прежде всего, отдай мой грош, который я тебе подал сегодня: он годится для нищей братии, а не для вашей братьи.

— Охотно, — сказал Гаркуша, сунул руку в карман и, вытащив из него червонец, подал шу-ту.

— Это не мой, — отвечал шут, глядя испод-лобья на гайдамака, — этот запятнан, а мой был чист, как... как мои руки.

Гаркуша понял упрек. Он нахмурил брови, безмолвно опустил руку в карман, вынул несколько монет и, отыскав между ними грош, отдал его шу-ту. Потом, в раздумье под-няв серебряный полуполтинник, поданный ему Торицким, сказал, оборотясь в ту сторону, где сидели жених и невеста:

— С этим я так легко не расстанусь: он по-дан мне добрыми, сострадательными душа-ми...

И, как будто бы вдруг опомнясь или усты-дясь минутной своей чувствительности, он не dokonчил речи и снова оборотился к шу-ту:

— Держи при себе свой чистый грош до

первого старца и вместе с ним подай бедняку и мой, запятнанный. Теперь говори, чего ты еще у меня просишь?

— Вели меня отвести к моему пану. И ему и мне легче будет, когда мы вместе станем делить горе.

— Отведи его туда! — сказал Гаркуша Паливоде, а сам, поспешно вышед из палатки, велел задернуть полы оной и поставить вокруг нее шесть человек сторожевых гайдамаков.

Медленно и задумчиво шел Гаркуша к часовне; за ним, в некотором отдалении, цыган Паливода вел шута Рябка, держа за плечо и подталкивая его не весьма вежливо коленом. У часовни уже дожидалась большая толпа людей. Гайдамаки обступили служителей Просечинского, связанных друг подле друга и поставленных в полукруг. Сам толстый пан лежал посередине, зажмурив глаза, как будто бы свет солнечный действовал на него болезненным ощущением; казалось, он в каком-то онемении ждал готовившейся ему участи. Сыновья сидели по обеим его сторонам, плакали и жаловались на боль от туго затянутых



веревки. Восемь гайдамаков, с длинными ножами наголо, наполняли остальную часть круга.

Когда Гаркуша подошел к кругу, гайдамаки расступились и впустили его в середину. Он стал прямо против лица толстого пана, тронул его ногою в бок, как бы желая растолкать его или пробудить его внимание, и с важным видом, громким и внятным голосом начал ему говорить:

— Спирид Самойлович! видишь ли, до какого унижения, до какого стыда довел ты себя! Ты, богатый и спесивый пан, которого боятся и уважают соседи, которому льстят и дают поблажку низкие судовые подлипалы, — валяешься теперь, как презренная колода, связан, как последний из твоих псарей, провинившийся перед тобою. Ты, верно, жалуешься на это, считаешь такой поступок несправедливым; а кто виноват? Сам ты. Вспомни дыбы, плети, цепи и рогатки, которыми ты мучил своих подданных и дворовых людей; вспомни, что не раз я подкидывал к тебе письма, в которых увещевал тебя быть милосерднее, щедрее и грозил тебе моим гне-

вом, если не исправишься. Ты не слушался моих увещаний, ты надеялся на ваших судовых, которые тобою закуплены и задарены; ты думал, что слова Гаркуши пройдут мимо. Знай же, до меня дошло все: и презрение, с каким ты читал мои письма, насмешливо говоря: собака лает, ветер носит; и твоя похвальба на меня: «я-де скручу его со всею шайкою»; и гостинцы, которые ты готовил мне и вольным моим казакам у себя в доме. Гаркуша не так прост, чтоб, очертя голову, кинуться в расставленные тенета: он умеет выбрать время и случай. Теперь, Спирид Самойлович, ты сам у меня в руках и должен поневоле идти на правезж. Готовься со мною рассчитаться и поплатиться, а до тех пор ступай к часовне и моли бога о прощении всех твоих грехов. Я покамест займусь отеческим исправлением твоих панычей, которых сам ты не хотел или не умел учить страху божию, и оттого из них со временем вышли бы большие негодяи, ничем не лучше отца. Надобно им страх задать, чтоб помнили Гаркушу и его наставления...

— Напейся моей крови, нечестивый душе-

губец! — вскрикнул Просечинский, скрежеща зубами и злобно, с отчаянным остервенением взглянув на гайдамака. Какие бы муки, какая бы смерть ни ждала меня от поганых твоих рук, — я стану молиться, чтоб тебе не миновать колеса, а гнусной твоей шайке виселицы.

Ему не дали докончить. Зверообразный гайдамак Несувид, крещеный жид Лемет и крепкотелый любимец Гаркуши ускок Закрутич схватили его и поволокли к часовне. Там стал он на колени перед образом и, не сводя с него глаз, начал молиться, перечитывая шепотом все молитвы, которые приходили ему на память. Только доносившиеся до него порою крики и взвизгиванья сыновей его подергивали судорожным движением тучные его щеки, на которых выступал крупный, холодный пот. Три гайдамака, приведшие Просечинского к часовне, стояли в нескольких шагах у него за спиною, с длинными, широкими своими ножами на плечах.

## Глава XXI

*Бряжчатиме ж гостра шабля  
Услід за тобою,*

*Шумітиме ж нагаечка  
Понад головою!  
Малороссийская песня*

— Пора! — раздался в ушах толстого пана грубый голос Несувида. — Пора! там ждут. И гайдамаки снова подняли Просечинского и перенесли его на середину круга.

Бледен как полотно явился Просечинский перед самовольным своим обвинителем и судьей. Мутным взором обвел он место истязания. Прямо против него, на сундуках и подушках, покрытых дорогим его персидским ковром, сидел Гаркуша с строгим, но спокойным видом и допрашивал людей Просечинского, которые стояли на коленях и робко отвечали на вопросы. Но какою горячею кровью облилось отцовское сердце пана Просечинского, когда, с тяжким предчувствием отведя глаза в сторону, увидел он сыновей своих! Они лежали недвижно на войлоке, и на обоих накинуты были красные попоны, укрывавшие их с головы до ног. Несчастный отец не взвидел света: в ушах его раздался как будто шум воды, внезапно прихлынувшей, и он уже не слышал более ни слов Гаркуши, ни ответов

своей челяди.

Когда толстый пан опомнился, то почувствовал, что его обливали холодной водою. Несколько гайдамаков стояли вокруг него, держа наготове орудия тяжкого и постыдного наказания, которое присудил ему неумолимый атаман. Гаркуша встал с своего места, подошел к нему и начал говорить.

— Я допрашивал твоих людей, пан Просечинский: они так запуганы тобою, что не сме-ли сделать никаких показаний, и это самое уже служит доказательством жестоких твоих с ними поступков. Послушайся же моих доброжелательных увещаний: я делаю их от души, из прямой любви к ближнему! Люби, пан Просечинский, своих людей: они тебе служат; они потом и кровавыми трудами добывают то, что тебе доставляет роскошь и негу. Сам бог заповедал панам миловать служителей как родных детей своих, не мучить их без пощады за малейшую вину, не томить их неумеренными трудами и голодом, не отнимать у них последних, потовых крох. Посмотри, с каким состраданием они смотрят теперь на тебя, хотя у многих из них не зажили еще

на теле раны, которые они от тебя же получили. Что ж, если б ты был добрым паном, другом и благодетелем твоих подданных? Они любили бы тебя, как отца...

Гаркуша остановился, растрогавшись сам от своих слов — искренне или притворно, того никто не мог прочесть на лице и в душе его. В характере атамана была такая чудная смесь лицемерства с добрыми природными наклонностями, холодной, расчетливой мстительности с наружным правосудием и благонамеренностью, что самые приближенные его, Несувид и Закрутич, обманывались в истинных или ложных его ощущениях и не могли разгадать того, что в нем происходило. Бывали минуты, в которые можно было подумать, что он сам себя обманывал. Так, может стать, было и на этот раз. Постояв несколько минут в молчании, посмотрев медленным, пытливым взором на лица людей Просечинского и своих гайдамаков, как будто бы с желанием доведаться, верят ли они проповедническим его чувствованиям и что думают о цели его красноречия, — он продолжал тихо и с расстановкой:

— Чтобы слова мои, Спирид Самойлович, были для тебя внятнее, чтоб они дошли до твоей души и сильнее врезались в твоей памяти, то потерпи немного... Я сам из уважения к твоей особе стану считать... Эй, вольные казаки мои, принимайтесь!..

В эту минуту шут Рябко вырвался из рук Паливоды, бросился на колени перед Гаркушей и кричал сквозь слезы:

— Пан атаман! возьми мою шкуру, выкрой, пожалуй, из нее чоботы для любого из твоих вольных казаков, только оставь в целости моего пана. Он человек старый и мягкотелый; он не выдержит твоего отеческого исправления. А у Рябка кожа загорела и загорела; смотри: она так тверда, что хоть на барабан натяни — не порвется; и Рябко готов ее сменить на новую, лишь бы пана своего выволить...

Цыган схватил шута за полы его жупана и тащил его прочь, между тем как Гаркуша смотрел на него с хладнокровною, бесстрашною улыбкой. Видя, что на слова его не обращали внимания и что пану его не избежать пытки, Рябко вдруг вскочил, обоими локтями

толкнул цыгана так сильно, что тот не удержался на ногах и принужден был выпустить полы жупана. Не теряя времени, Рябко кинулся к толстому пану, прикрыл его своим телом и как клещ уцепился за него руками и ногами.

— Нате же, режьте и ешьте меня, катовы дети! — с ожесточением кричал он гайдамакам. — Хоть искрошите меня в мелкие куски — я не сойду отсюда и не отстану от моего пан-отца: умру сам, а пока жив, не дам его тела на поругание!

Гайдамаки переглядывались между собою, как бы спрашивая друг друга глазами, что из этого будет, и в нетерпеливой досаде кусали себе губы. Несувид хмурил брови и клялся себе под нос, что сквозь ребра шута дознается правды от толстого пана; никто из них не смел, однако ж, начать что-либо прежде, нежели атаман даст приказание. Между тем шут подразнивал гайдамаков и накликал на себя их мщение ругательствами. Гаркуша, казалось, тешился и задорною бранью шута, и недоумением и досадою своих удальцов. Он стоял сложив руки и посматривал на все про-



исходившее вокруг него с таким видом, с каким взрослые люди смотрят на ребят, дразнящих привязанную кошку, которая фыркает, щетинится и мечется то на того, то на другого, со всем напряжением бессильной злости.

Наконец, наскуча сим зрелищем, Гаркуша подошел к шуту, толкнул его ногою и сказал: «Вставай, приятель! вижу твое усердие и храбрость и хвалю тебя за это: ты отчаянно защищал своего пана языком и спиною. Теперь я сам хочу доказать тебе мою благодарность за добрый твой совет и подаяние нищему: обещаю тебе, что пана твоего не тронут и пальцем...»

— Вправду ли, дядько?

— Разве ты слышал от кого, что Гаркуша не сдержал когда-нибудь своего обещания? Только и ты обещаю мне стоять смирно под надзором, ни во что больше не мешаться и не давать воли ни рукам, ни языку.

— О, пожалуй! И ты увидишь, что Рябко не хуже Гаркуши умеет держать свое слово. Бери меня, черномазый, — продолжал он, встав и оборотясь к Паливоде, — только, сделай дружбу, полегче держи меня за плеча. Ты и без то-

го уже измял их так, что я целую неделю не смогу взяться за бандуру.

Гайдамаки пристально смотрели в лицо Гаркуши и молча ждали его повелений. Он провел указательным пальцем черту по воздуху в ту сторону, где лежали панычи, — и толстый пан мигом был туда перенесен. Просечинский сел в положении человека, который, только что быв вытащен из воды, не может еще опомниться и собрать своих мыслей. С рассеянным видом озирался он вокруг себя, пока взор его снова остановился на сыновьях его, которые лежали затаив дух и не смея поворохнуться. Тут пробудилось участие в сердце отца, с тоскливым умилением глядел он на своих детей, но не решался заговорить с ними, боясь, чтоб ужасная истина не разрушила последней, шаткой его надежды.

Гаркуша между тем сел на прежнее свое место, и гайдамаки снова обступили его с видом ожидания. «По оброк!» — промолвил он, и гайдамаки, громко и радостно вскрикнув: «По оброк!», рассыпались в разные стороны, кроме тех из них, которым поручено было смотреть за толстым паном, за детьми и

людьми его, сторожить у палатки и пр. Часть гайдамаков бросилась к коляске, фурам и возам Просечинского, несколько человек растлали перед Гаркушей ковры, попоны и все, что могли отыскать в обозе толстого пана; а выкрест Лемет, подойдя к Просечинскому, с притворною, лукавою учтивостью и старинными своими жидовскими оговорками и божбами, просил его ссудить на время атамана ключами от походных своих сундуков и баулов и, не дожидаясь ответа, начал шарить у него в карманах, отыскал большую связку ключей и принес ее к Гаркуше.

Хладнокровный сторонний зритель подивился бы ловкости, сметливости и проворству, с какими гайдамаки обыскивали и опоражнивали захваченный ими обоз. Из читателей наших легко могут об этом составить себе понятие те, которым случалось быть в руках французских таможенных приставов и осмотрщиков, особливо на заставе при переезде через Рейн, у Страсбурга. В минуту все было обыскано, вытаскано и снесено в одно место, и те из сундуков и шкатулок, кои заключали в себе самые ценные вещи, с редкою

догадливостью были отобраны и расставлены перед атаманом.

Прежде всего Гаркуша, расспрашивая шута и других людей Просечинского, начал отбирать вещи, принадлежавшие Торицкому и Олесе. Все это откладывалось на сторону, и Гаркуша даже не отмыкал сундуков, чемоданов и шкатулок, в которых, по показаниям людей, находилась собственность панны Елены или будущего ее мужа! Атаман гайдамаков, любивший при всяком случае с некоторым хвастовством выказывать свое бескорыстие или великодушие, отложил еще значительную долю из взятых им на свой пай дорогих вещиц и червонцев и, положив в шкатулку, замкнул и отослал с другим имуществом жениха и невесты в палатку, строго подтвердив гайдамакам, чтобы все было доставлено в целости.

Тогда начался подел. С видом знатока и любителя, Гаркуша рассматривал и оценивал все вещи высокой цены, к тяжкому прискорбию толстого пана, который печально смотрел на расхищение своего богатства. При открытии каждого сундука с серебром, каждого

баула с золотыми деньгами или шкатулки с драгоценностями гайдамаки испускали неистовый, радостный вопль, как стая воронов при виде мясной добычи, и этот вопль болезненно отдавался в ушах и в сердце толстого пана. Надобно было видеть жадные, сверкающие взгляды корыстолюбивой вольницы, когда перед нею рассыпали мешки с червонцами и рублями или раскладывали большие серебряные стопы и чаши, дорогое оружие, золотые парчи, камки и бархат! Надобно было видеть горькие ужимки и тяжелые вздохи толстого пана, когда перед его глазами Гаркуша с своею шайкой распивали, похваливая, любимую его водку, сладкие его наливки и редкие заморские вина! Такое зрелище могло бы сообщить понятие о радости злых адских духов, которые, подраживая утратою земных благ, заживо мучат бедного грешника, попавшегося к ним в когти с телом и душою.

Атаман разделил всю добычу на три пая, из которых два были совершенно равные, а третий гораздо менее двух первых и по счету, и по ценности составлявших его вещей. Один из больших паев отложил он особо, говоря:

«Это, товарищи, для кошевого скарба», другой разложил с математическою точностью на равные участки по числу гайдамаков, примолвя: «Это на вольных казаков». — «А это на атамана», — прибавил он, указывая на меньший пай. Тогда он отослал шута в палатку, велел поклониться от него Торицкому и Олесе и пожелать им счастливого пути, а сам подошел к Просечинскому.

— Прощай, Спирид Самойлович! — сказал Гаркуша толстому пану. — Я хотел с тобою распрощаться не так ласково; но, видно, богу было угодно, чтоб ты на этот раз отделался только страхом и потерею своих излишков. Помни, однако же, слова мои: будь милосерд к бедным и щади своих людей. Не то — как бог свят — ни высокие твои заостроженные заборы, ни крепкие твои замки и засовы не спасут тебя от Гаркуши и вольных его казаков. Пусть это будет тебе навет-кой на первый случай. Еще раз говорю, не вынуждай меня нагрянуть к тебе в гости и знай: Гаркуша вдруг, как снег на голову, налетит там, где его не ждешь, не чаешь. Панычи твои будут, кажется, помнить мои наставления и свои клят-

вы, а впрочем, не бойся за них: лоза не измучит, лишь добру научит.

Окончив сию речь, отошел он в сторону и выстрелил из пистолета на воздух — и вдруг с разных концов прискакали еще около двадцати гайдамаков, бывших в засаде для наблюдения и подания вести в случае какой-либо опасности. Они вели с собою лошадей тех из своих товарищей, которые перед нападением на обоз, спешившись, сидели в лесу или лежали в траве. Те, которые сторожили у палатки или наблюдали за связанными своими пленниками, сбежались также в одно место. Все они кинулись к своим участкам, мигом их расхватили, а Несувид и Закрутич прибрали также паи артельный и атаманский; и между тем как Олеся, сопровождаемая Торицким и Рябком, бежала к отцу своему и братьям, гайдамаки успели уже забрать и навьючить лучших лошадей толстого пана, вскочили сами на коней, пустились во весь опор по полю вслед за атаманом — и только пыль вилась за ними густым облаком.

## **Глава XXVII. Ночлег Гайдамаков**

*Як виїхав козаченько в чисте поле,*

*Пустив свого кониченька на попасанне,  
А сам припав к сирій землі из спочиван-  
не*

*Та й приснився козаченьку дивнесень-  
кий сон...*

*Малороссийская песня*

**Т**абор гайдамаков расположился в чаще леса, на поляне. Гайдамаки, по обыкновению своему, разнеся из предосторожности войлоки и циновки по сучьям деревьев, зажгли костры и начали готовить себе ужин. Для атамана, его приближенных и других старшин шайки поставлены были два полстяные шатра, наподобие калмыцких кибиток. В одном из сих шатров, на войлоках и бурках, отдыхал Гаркуша, окруженный теми из гайдамаков, к которым питал он более приязни или оказывал более доверия. Это были: угрюмый Несувид, который под суровою наружностью хранил испытанную верность и преданность к своему атаману-товарищу; ускок Закрутич, готовый всегда по слову Гаркуши идти в огонь и в воду и одаренный необычайною телесною силой; Лесько, или Алексей, молодой промотавшийся чумака, которому от гайдама-



ков дано было прозвание Лесько Мотыга; этот молодец нравился Гаркуше своею неизменною веселостью, беззаботностью о будущем и открытым, простосердечным своим взглядом. Четвертый из любимцев Гаркуши был семнадцатилетний мальчик, Ивась, любивший атамана, как родного отца. Ивась имел весьма приятную наружность и забавлял иногда Гаркушу в свободное время своим пением и пляскою, но никогда не был еще употреблен во время разъездов и набегов, а оставался всегда при обозе, с запасными. Никто из гайдамаков не знал, кто он был и какого рода; в одну бурную осеннюю ночь атаман, возвратясь из одинокой своей отлучки, привел с собою этого мальчика и с тех пор заботился о нем, как о ближнем своем родственнике. Гайдамаки все полюбили Ивася за его тихость и детскую чистоту души — свойства, которые нередко нравятся и самым закослелым злодеям; но не спрашивали или не смели спрашивать нем у Гаркуши, ибо никто из них не решился бы выведывать у атамана своего тайны, которой он сам не хотел им вверить. В других, важнейших случаях Гаркуша не до-

пускал их ни до каких сомнений и первый объявлял им то, о чем нужно им было знать.

Второй шатер оставлен был в распоряжении Товпеги, Паливоды и еще пяти или шести урядников или десятников, поставленных в это звание Гаркушею, между коими обыкновенно втирался туда выкрест Лемет, который, по старой еврейской своей привычке, умел всегда подделываться к старшим, прислуживаться им, словом, быть для них почти необходимым, и чрез то извлекать для себя множество мелких выгод. Прочие гайдамаки, приставя коней своих к вязанкам травы, захваченной ими по дороге, либо сидели у огня и ждали ужина, либо, укрывшись бурками и свитами, лежали в разных местах табора.

После ужина, за которым атаман всегда ел из одного котла со всеми людьми своей шайки, кроме сторожевых, назначавшихся по ряду, Гаркуша ранее обыкновенного ушел в свой шатер; Несувид, Закрутич, Ивась и Лесько также отправились туда почти вслед за ним.

— Чудное дело! — сказал атаман после долгого молчания, когда он и четверо его товари-

щей улеглись, не раздеваясь, на своих подстилках. — Вот уже с полгода, как меня что-то тянет на мою родину, которая, помню, как сквозь сон, должна быть здесь, около степной деревни пана Просечинского. Мне все кажется, что я не буду ни счастлив, ни спокоен, пока не увижу снова тех мест, где росло мое детство. Почти каждую ночь неведомо кто обещает мне во сне что-то смутное в здешнем краю: и радость, и горе... коротко сказать, сам я ничего не разберу в этих сонных грезах, а никак не могу выбить их из головы.

— Что ж? может быть, сердце вещует тебе все доброе, а сон твой и в самом деле сулит тебе что-нибудь такое, о чем сначала, как ни раскидывай нашим коротким умом — не разгадаешь прежде, чем наяву сбудется, — сказал Закрутич.

— А ты веришь снам? — спросил у него Гаркуша.

— Не шути, атаман, снами: между ними есть такие, которые насылаются на человека, чтоб он выводил из них себе пользу, или остерегался, от чего нужно.

— Я и позабыл было, — молвил Гаркуша, —

что ты родился в такой стороне, где больше всего верят бабьим бредням.

— Атаман ничему не верит, — вплелся в их разговор Лесько. — А я скажу, что тот, кто так близко видел ведьму, как я, поневоле станет верить всем таким диковинкам.

— А ты видел ведьму? — спросил у него Гаркуша с насмешливым любопытством.

— Не то, чтобы видел, — отвечал Лесько, — а вот как было дело: когда мне было лет девятнадцать, тогда в летнюю пору я спал каждую ночь на дворе, для того что в хате было душно и чтобы по ночам стеречь скотный двор. Вот в одно время, только что я улегся, только свел глаза, — вдруг подошло ко мне что-то, наклонилось идохнуло на меня таким холодным духом, что я весь зачоченел: ни руки, ни ноги не смог повернуть, ни глаз открыть; а только слышал, как оно пошло на скотный двор, как доило наших коров, у которых к утру не осталось ни капли молока. У меня была тогда лихая собака, ярчук, да еще и с волчьим зубом; на другую ночь, я привязал моего Рябка под телегой, на которой сам спал. Около полуночи слышу, ярчук мой так и за-

ливается, и мечется из-под телеги. Я спустил его с привязи, он и бросился к плетню в конце двора, и залаял и зарычал пуще прежнего. По-года немного там что-то вскрикнуло женским голосом, как будто от сильной боли. Я поглядел в ту сторону — ворота были заперты; только, еще спустя миг — другой, что-то шасть через плетень, инда земля застонала. Ночь была темна, ничего нельзя было разглядеть порядком; а на рассвете нашел я у плетня подле ворот лоскуток намитки, как видно, оторванный у ведьмы моим ярчуком.

— По этому, ты видел не ведьму, а только лоскуток ее намитки? — промолвил атаман, когда Лесько окончил свой рассказ.

— Да, — отвечал Лесько, — с меня и этого довольно.

— Когда у нас пошло на рассказы, — говорил Гаркуша, — то я напомним тебе, Закрутич, о твоем обещании, которое до сих пор оставалось за тобой в долгу. Ты когда-то сулил мне рассказать свои похождения.

— Мои похождения, атаман, не важны, и повесть о них не долга. Родину мою ты знаешь; я родился в одном селении, неподалеку

от Звониграда; отец и мать мои были люди бедные и покинули меня на этом свете без всякого достатка, без роду и племени, когда мне только что минуло семнадцать лет: оба они сошли в могилу ровно через две недели друг после друга. Спустя полгода по смерти их я спознался с молодой Хавой, дочерью богатого и гордого морлака в нашем селении, Яцинта Порадича. Хава была очень пригожа лицом, так пригожа, что у меня и теперь еще бьется сердце, когда о ней вспомню. Ее любил и племянник нашего войводы; только Хава любила одного меня, за то, что я был виднее собою, удалее и складывал для нее морлацкие песни. Вот однажды Хава сказала мне: «Вуко Закрутич! принеси мне ожерелье из червонцев — и я твоя». Тогда же начал я подумывать, как бы уйти в горы, к гайдукам, и с ними награть червонцев у богатых турецких беев и аянов в Боснии; как вдруг меня в одно утро схватили, отвезли в Звониград и записали в пандуры, по проискам войводского племянника, который, видно, дознался, что Хава меня любила. Не долго, однако ж, удалось им погулять надо мною: я и спал и видел, как бы

сделаться ускоком. Скоро мне удалось это спроворить: я был таков, и убрался исподтишка в горы, где знакомые гайдуки очень радушно приняли меня в свои товарищи. Два года я ходил с ними на добычу по разным местам Далмации и Боснии; червонцев у меня появилось столько, что стало бы на десять ожерелий. Тут я вздумал навеститься Хавы и, если можно, увезти ее с собою в горы. Конь у меня был как зверь: не знал усталости и птицею летал по самым трудным местам. Ночью приискал я к дому Порадича. Окно светлицы, в которой сиживала Хава, было в сад; я пробрался туда и увидел, что окно было отворено и Хава сидела одна в светлице, за работой. Бедняжка была задумчива, как будто не примечала ничего вокруг себя, и, сдавалось, грустила о чем-то, может быть обо мне. Я тихонько влез в окно, подошел к ней, хотел взложить ей на шею ожерелье из червонцев, — как она вдруг оглянулась, задрожала всем телом, вскрикнула: «Вампир! Вампир!» — и без памяти ударилась об пол. На крик ее сбежались отец, мать, вся дворня, и все, указывая на меня, кричали: «Вампир! Вампир!» Крик

этот скоро разлился по всей деревне; все сбегались, кто с винтовкой, кто с ганцаром, кто с ятаганом. Я видел, что мне со всеми сладить было нельзя, и бросился из окна в сад. «Бейте его!» — заревел старый Порадич, сам выстрелил в меня из пистолета и ранил меня в левое плечо; но я добежал до своего коня, вскочил на него и опрометью помчался из селения. По улицам бегала толпа народа с зажженными пучками соломы и с разным оружием; увидя меня, все кричали: «Вампир! Вампир!», стреляли в меня, бросали камнями и чем попадя; однако ж, спасибо доброму моему коню, он вынес меня из этого ада без дальних ран. Долго еще отдавался в ушах моих крик бешеной толпы: «Вампир! Вампир!», и я не мог ума приложить, как никто из прежних моих знакомых не узнал меня, да и сама Хава не могла распознать моего лица. Отбежав от селения примерно верст семь, конь мой вдруг зашатался и упал; я соскочил с него вовремя. Тогда только я заметил, что верный мой товарищ сам был изранен в четырех местах пулями. Время было подумать об нем и обо мне самом. Я изодрал дорогу



турецкую шаль, отбитую мной у одного босняцкого бея, перевязал раны бедному моему коню и свое плечо. Голова у меня закружилась от сильной потери крови; я упал и не помню, что после со мною было. Когда ж я опомнился, то увидел себя в келье; около меня сидело двое монахов, которые старались меня привести в чувство и подать мне всякую помощь. Какой-то добрый старец их монастыря нашел меня и коня моего рано поутру подле дороги. Верного моего товарища уже не было в живых; но во мне монах заметил признаки жизни. Он позвал еще троих братии, и вместе они перенесли меня в свой монастырь. Через неделю я почти совсем оправился старанием честных отцов; отдал на их монастырь все червонцы, которые сберегал для Хавы, и пешком уже отправился в горы к гайдукам. Мой побратим, молодой гайдук Юра Радивоич, встретил меня на дороге и сказал мне, что Янко Лепан, племянник войводы, и Яцинт Порадич подсылали к гайдукам какого-то переметчика, который распустил в горах слухи, что я служил с пандурами, был убит в одной сшибке с гайдуками и теперь

брожу вампиром, чтоб отомстить гайдукам за смерть мою. «Этому слуху все поверили, — примолвил Юра, — и стерегут тебя, чтоб убить и разорвать тебя по частям с обрядами, какими в обычае у нас прогонять вампира с этого света». Тут только я понял и страх Хавы и окрик, который на меня дали по всей деревне: лиходеи мои взвели на меня такую небывлицу, чтоб оторвать от меня сердце Хавы и принудить ее выйти за Янка.

Нечего было делать — я не хотел идти на вольную смерть и понести с собою в могилу проклятие всех честных людей. Мне должно было проститься навеки с моею родиной; ко прежде я хотел кровавыми слезами отлиться Янку Лепану и Яцинту Порадичу. Короче: помня пословицу моей родимой стороны кто не отомстится, тот не освятится, я положил у себя на душе страшную клятву извести моих злодеев во что бы то ни стало. С помощью моего побратима собрал я все, что имел, достал другого коня, простился с добрым моим Юрой и отправился туда, куда манила меня кровь заклятых моих неприятелей. Днем прятался я в скрытных местах, а ночью бродил, как

мертвец, около селения и выжидал случая выполнить мою клятву. Она была выполнена: Янко Лепан и Яцинт Порадич от моей руки пошли в могилу; Хава, как я узнал от сторонних людей, скоро после первого моего появления умерла со страха и с горести; а я долго бродил из края в край, зашел в Польшу, оттуда в Киев, где встретился с тобою, атаман. Остальное ты знаешь так же хорошо, как и я сам.

— Так в вашем краю очень верят тому, будто бы есть вампиры на свете? спросил Гаркуша у Закрутича.

— Да нельзя и не верить, — отвечал ускок, — после того, что я слышал в горах от одного старого гайдука.

— Что же ты слышал?

— Это длинный рассказ, атаман; боюсь, чтоб он тебе не наскучил. Ты, может быть, утомился и хочешь уснуть...

— Ничего, рассказывай. Уснуть я так же хорошо могу под шум твоих речей, как и под вой этого ветра.

— Да, ветер поднялся сильный; так и колыхает деревьями, инда корни скрипят; а ночь

темна, хоть глаз выколи... — сказал Закрутич, привстав и выглянув из шатра,

— Вот самая пора бродить мертвецам либо нашей братье, — примолвил Лесько.

— Только, верно, не тебе, — перебил его речь Гаркуша, — тебя, думаю, и по шее не выбил бы одного в такую пору. Однако ж, не мешай Закрутичу забавлять нас своим рассказом.

— Когда на то твоя воля, атаман, — сказал Закрутич, — то будь по-твоему. Наперед всего я должен сказать тебе, что я знал в горах одного лихого гайдука, у которого в седых усах было, верно, больше отваги, чем у многих из нас в целом теле. Старый Скорба не боялся ни сабли, ни пистолетов, ни ружья турецкого, и я думаю, не побоялся бы самого сатаны. Везде он шел грудью вперед, как бы ни велика была опасность; никогда не спрашивал, много ли неприятеля, а только далеко ли до него. В одну ночь шел я с ним и другими гайдуками на добычу: это было в Боснии. Ночь была месячна, и я заметил, что седой наш удалец часто поглядывал в сторону, на косогор, где было турецкое кладбище. «Что ты там видишь, то-

варищ?» — спросили мы у него. «Ничего покамест», — отвечал он. «А разве случилось тебе видать что-либо в такую пору?» — «Поживите с мое, так и вы увидите», — промолвил он. «А все не худо бы узнать о том для переду», — сказали мы в один голос. «Ну, так слушайте», — был его ответ. Тут он начал нам рассказывать страшную быль...

## **Купалов вечер**

### **(Из малороссийских былей и небылиц)**

**В**итязь Кончислав ехал ночью по берегу Днепра, возвращаясь из дальних походов в стольный град Киев, ко двору ясного солнышка, ласкового князя Владимира.

Светлый месяц катился по тёмно-синему небу и отсвечивал бледно-жёлтые лучи свои на богатырских доспехах Кончиславовых. Витязь думал крепкую думу. Когда он оставил стольный град и двор Владимира ясного солнышка, тогда люди киевские веровали Перуну, Купалу, Велесу и Золотой бабе; теперь, ещё на чужбине, перепала к богатырю ве-

сточка, что кумиры славянские разбиты и потоплены, а в Киеве красуются храмы Бога Живого и сияют кресты на золотых маковках. Грешное сомнение и презорливая гордость закрались в душу витязя. Он думал: «Когда Князь и все люди Киевские изменили старым богам своим, то Кончислав один останется им верен».

Светлый месяц катился по тёмно-синему небу, и бледно-жёлтые лучи его скользили по белым полотняным ставкам, раскинутым в одной весёлой долине, куда лежал путь Кончиславов. Шум, песни, звон гуслей и соловьиные посвисты свирелей далеко разносились по долине. Витязь толкнул бодцем своего верного коня и пустился к ликующим. Белые тени мелькали перед ним на поляне, в стороне от ставок, перед ярко горящими огнями. Витязь подъезжает туда — и целая вереница красных девушек подбегает к нему, схватясь рука за руку. Девушки, одна другой краше, одна другой милее, окружают витязя и умильно зовут его сойти с борзого коня и веселиться с ними. Из хоровода выскочила девушка самая пригожая, самая резвая, самая приветливая,

подлетела птичкой к витязю, схватила его за руку и молвила:

— Сегодня Купалов вечер, храбрый, могучий богатырь! Мы все держимся старой веры и ушли сюда из стольного Киева, чтобы здесь на приволье скакать через зажжённые костры и плясками праздновать нашего бога. Знаем, витязь Кончислав, что и ты из наших: кроме тебя, все витязи отступились от веры отцовской. Сойди с коня и пируй с нами!

Витязь проворно соскочил с коня, которого с весёлым криком и визгом увели другие девушки. Кончислав остался глаз на глаз с приветливою незнакомкой; соколиный взор витязя загорелся огнём желания; высокая грудь его волновалась и силилась вырваться из берегов своих. Идучи рука об руку с красавицей и склоняясь на белое плечо её, он спросил умильным голосом:

— Как тебя зовут, красная девица?

— Меня зовут Усладой, — отвечала она с таким взглядом и усмешкой, что у витязя огонь пробежал по всем жилам и кровь пронзительным пламенем прихлынула к сердцу.

Девушки не возвращались. Кончислав и

Услава прыгали только вдвоём через огонь перед истуканом Купаловым. Игривость и одушевлённый смех милой девушки совершенно очаровали витязя. И вдруг красавица, схватя его за руку и взглянув ему в лицо с страстною, щиплющею за сердце улыбкой, указала на одну ставку и быстро туда побежала, легка и стройна, как серна. Витязь побежал за нею, догнал её у самого входа ставки, обвил рукою гибкий стан девушки, и вместе, сплетясь в нежных объятиях, ускользнули они под белый, волнистый кров шатра.

— Что так холодны твои поцелуи, милая красавица? — молвил Кончислав, опомнившись от первого упоения. — Они словно льдом осыпают моё сердце.

Услава только смеялась в ответ и ласково щекотала витязя.

— Здесь сыро и холодно, — сказал он снова, — меня смертная дрожь пронимает до самых костей.

Услава всё громче и громче смеялась, сильнее и сильнее щекотала витязя.

— Нет, это нестерпимо! — вскричал Кончислав, усиливаясь вырваться из объятий красавицы.



вицы. — И в самый день Коляды[1] я никогда не терпел такого мучительного озноба!

В это мгновение что-то зашумело и заволновалось вокруг ставки. Витязь поднял глаза вверх... Седые, пенные волны бурно клубились над ним. Не было уже ставки: только белая пена завивалась кудрями на том месте, где прежде трепетали от ночного ветерка полотняные полога её... Витязь взглянул на Усладу... перед ним сидела, ему коварно усмехалась злобная Русалка, которой зелёные, длинные волосы мшистым шёлком упали на бледные, обнажённые плеча и на грудь, холодную, как вечные льды Кавказа. И вмиг она снова залилась громким, исступлённым смехом; и вмиг волны набежали ещё яростнее прежнего, налегали на Кончислава, теснили его дыхание, всё ближе и ближе, пока наконец совсем поглотили витязя, отвергавшего в душе своей приветные призывы Благочестия.

## Бродящий огонь

### (Из Малороссийских былей и небылиц)

Скачет, летит богатырь к Киеву. На богатыре доспехи вороненые, и булатный меч его, висящий на серебряной цепи, тяжело бьет по ребрам коня борзого, богатырева товарища верного. Не с пышного пира княжеского возвращается витязь: возвращается он с пира кровавого, где острый меч его начертал глубокими брздами на телах касожских имя Веле-силово.

Скачет, летит богатырь к Киеву. Там ждет его невеста верная Милава прекрасная. Давно уже витязь и дева юная обменялись кольцами; и только война суровая разлучила на время два сердца, тлевшие пламенем чистым, предпразднеством пламенников брачных.

Но что за синий перелетный огонек мелькает в туманной мгле зыблущимся светом? Витязь ограждает себя крестным знаменем, думая, что то был дух, искунитель путников; но огонек не исчезает и далее, далее перено-

сится с приближением Велеси́ла.

— Если ты дух, то исчезни; если чародей, то яви свою враждебную силу в борьбе со мною! — воскликнул витязь и бодро пустился вслед за обманчивым сиянием. Борзый конь, храпя, перескакивает чрез ограду, и витязь мчится по могилам, и синий огонек перелетает с одной на другую, беспрестанно уносясь от витязя.

Печально было место, где скакал тогда богатырь: то было селение усопших — кладбище мирное. Вот синий огонек на одной могиле затеплился постоянным светом. Витязь туда... то была свежая могила — примятый дерн еще не успел подняться на ней ковром бархатным. И вдруг синий огонек исчез — и густой мрак охватил окрестность.

Конь богатыря храпел и, приклонив голову, бил копытом землю. Вещая тоска впиалась в ретивое сердце; витязь молвил: «Не добро ты чуешь, борзый конь, верный мой товарищ! не к радости ты занываешь, бедное сердце! Видно, здесь положен предел пути моему; видно здесь похоронены все мои радости».

И сошед с коня, витязь припал к кресту мо-

гильному, как будто в нем только видел все родное в жизни. Конь стоял по-прежнему с поникшей головою и бил копытами землю. Долго грустные думы сменялись в душе Велесила; наконец легкий сон спорхнул на его вежды.

И видит он: из райских сеней, из садов вечнозеленых выглядывает лик Милавы, сияющий зарею бессмертия. Милава приветливою, неземной улыбкой манит к себе жениха своего... И вдруг ужасный гром разразившись в воздухе, упал огненной струею и прервал видение: Конь взвился на дыбы; но витязь сидел недвижим.

Тихое утро ясно горело после бурной ночи. Люди пришли на кладбище отдать последний долг одному усопшему собрату. Они нашли Велесила мертвого на могиле прекрасной Милавы.

## Киевские ведьмы

**М**олодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска малороссийского Тарас Трясила после знаменитой Тарасовой ночи, в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив оные и от коварных подножков польских, жидов-предателей. Много их пало от руки ожесточенных казаков, которые, добывая их, напевали то же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жида оскорбляли православных. Все было припомнано: и наущничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церквей божиих, и продажа непомерною ценой святых пасох к светлomu христову воскресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в дома свои, обременись богатою добычей, которую считали весьма законною и которую летописи

сец Малороссии оправдывает в душе своей, рассудив, сколь несправедливо было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.

Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бандуристами он вытаскивал у себя из кишени целую горсть дукатов, а польскими злотыми только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и крамарей; а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодежи. И было отчего: Федора Блискавку недаром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его молодость, красота и завзятость хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею

речь или позволял себе какую-нибудь незанорную вольность в обхождении?

Перекупки на Печерске и на Подоле знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по базару. Они ждали этого как ворон крови, потому что Федор Блискавка из казацкого молодечества расталкивал у них лотки с кнышами, сластенами либо черешнями и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все втрое.

— Что так давно не видать нашего завзятого? — говорила одна из подольских перекупок своей соседке. — Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

— До того ли ему! — отвечала соседка, — Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

— А чем Ланцюговна ему не невеста? — вмешалась в разговор их третья перекупка. — Девчина как маков цвет; поглядеть — так во-

лей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и статью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех парубков. Да и мать ее — женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! зато денег у нее столько, что хоть лопатой гребь.

— Все это так, — подхватила первая, — только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят — наше место свято! — будто она ведьма.

— Слыхала и я такие слухи, кумушка, — заметила вторая. — Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш...

— Да мало ли чего можно о ней рассказать! — перебила ее первая. — Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была ярчук (Ярчук — собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм во духу, даже кусать их), и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи



бог и слышать.

— Что, что такое? — вскричали с любопытством две другие перекупки.

— Ну, да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке...

— Полно вам щебетать, пустомели! — перервала их разговор одна старая перекупка с недобрим видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих. — Толковали бы вы про себя, а не про других, — продолжала она отрывисто и сердито. — У вас все пожилые женщины с достатком — ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.

Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись, ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к кагалу киевских ведьм.

Нашлись, однако же, добрые люди, кото-

рые хотели предо стеречь Федора Блискавку от женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма, — и тогда бы Федор не поверил этому.

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту — все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его среди самых сладостных излиятий супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы на-

вертывались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших, черных ее глаз, что у него невольно холод пробежал по жилам. Особливо замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко а неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий мир становился ей тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она хотела в чем-то открыться мужу; но всякой раз тяжкая тайна залегала у пей в груди, теснила ее — и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто непросто: более никакого признания не мог он от нее добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться, играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом

какой-то злой старухи, но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и сверх того видал примеры подобной порчи или болезни.

Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с вечера подмечал в Катресе какое-то душевное волнение, какую-то скрытую тревогу, — неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался, или добрые люди надоумили, только однажды в такую ночь под исход месяца Федор, ложась в постелью, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна

и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на приспе вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. «Эге! так вот от чего и я спал, дорогая моя женушка!» — подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клетки, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутой: страх, гнев и любопыт-

ство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец, раздалось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: «Лети, лети, лети!» Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и улетила в трубу.

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже не доставало у него ни на что смелости; лучше отложить до следующего раза, чтоб иметь время все обдумать, ко всему при готовиться и запасться отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница сто мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища.

Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним, бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжелой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и вмиг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вчерашнего исступления, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и улыбке. Никогда еще не расточала она столько страстных поцелу-

ев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом: она была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитростное и младенчески-резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которую муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством: она дышала только для любви, видела все счастье жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ли такой привиделся ему ночью? не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтобы отвлечь его сердце от жены любимой?

Прошел и еще месяц. Катруся во все это время по-прежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою молодичей, ласковою, услужливою женой. Однако же Федор Блискавка обдумывал втайне, что должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор.



Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постель, то, запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб закурить трубку. Все это было исполнено мигом, так, что Катруся никак не могла сего заметить. Радуюсь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом, и отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из

горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный камнями раскрыл его — и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы, осиновые уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и корней и... всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришел в какое-то иступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень

опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел — но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и слово: «Лети, лети, лети!», то, не владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очутился, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом...

Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осиновых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.

На самой верхушке горы было гладкое место, черное как уголь и голое как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли подмостки о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньего мордой, коз лиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан жид сидел на корточках перед цымбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечную своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных как гриб ведьм водила журавля, приплясывая, стуча гоцки сухими сво-

ими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пускались вприсядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на веселье, плясали горлицу и метелицу с косматыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки носились в дудочке с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрип и свисты адских гудков и сопелок, пенье и визг чертенят и ведьм — все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная

сволоочь от души веселилась.

Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую бубликами на Подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренником; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за юродивую и прозвали Дзыгой; а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Бляскавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов пускалась в пля-

совую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодцам было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свою жену. Катрусия отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и вилась перед ним, как юла. Федор, в гневе и ревности, хотел бы броситься на нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих, но, подумав, удержался и сделал умно. Где бы ему было сладить с целым чертовским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали.

Вдруг раздался как внезапный порыв бура густой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего на подмостках, — и покрыл собою все: и звон гудков и цымбалов, и свист волынок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздерну-

тые вверх плеча и головы не успели опуститься; грабли жида на цымбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку — и мигом все запели:

*Высоки скоки  
В сороки,  
Низки поклоны  
В вороны,*

— подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. «Ах ты, проклятое племя! — шептал про себя Федор Блискавка, — Оно же еще смеет и кощунствовать над обрядами православных и напевать честные весельные песни на своем мерзкостном шабаше перед этим уродом, в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились в тартарары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей пепельной головне в глотку: тогда бы небось позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!»

Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: «Здесь есть чужой дух!» В минуту все



всполошилось: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки — все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся — Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. «Теперь-то, — думал казак, — настал мой смертный час!» Прижавшись вплоть к земле за дровами, он, ни жив ни мертв, выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, заглянула за кос тер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрыпнула зубами... но в тот же миг сорвала с себя намитку, накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем черту по воздуху на Киев — и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле.

Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю, как человек, едва выздоравливающий от горячки, в которой грезилась ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припоминал себе и страхи, и смешное, отвратительное гадерство прошлой ночи, и жену свою, с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливо-

стью о нем и о доме, с ее детскою игривостью... «И все это было только притворство! — думал он. — Все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть». То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе... В задумчивости он и не приметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босою ногою наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы се помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.

— Федор! — сказала она печально. — Зачем ты подсматривал, что я делала? зачем, не спросишь меня, пускался на Лысую гору? зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! ты сам растоптал наше счастье!..

— Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая! — отвечал Федор с негодованием и отвращением. — Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся!

— Послушай, Федор, — подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою

к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза. — Послушай! Не я виновата, мать моя все-му виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву... Мне было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матери: ведьмы и все их проклятые обряды и все их проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш мутило у меня на душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем — ты, кого люблю я, как душу, как свое спасенье на, том свете... Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать на нем; только под исход месяца, чем больше я о том думала, тем больше меня мучила тоска несказанная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало... Не приведи бог и татарину того вытерпеть!.. И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась — ничто не помогало! Все мне и днем, и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный день — какая-то невидимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же

я прилетала па Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие... Как бога с небес, ждала я страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам божьим и упросила бы их, чтобы заперли меня на все последние три дня в Пещерах, до самой воскресной заутрени, и отмолили бы от меня бесовское наваждение... Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный! ты сам погубил и меня, и себя и навеки затворил от меня двери райские...

— Так живи же с своими родичами, леши-ми да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся души христианские!.. Сгинь отсюда! оставь меня...

— Не властна я тебя оставить! — перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так сказать, приросши к нему. — Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва... В силу этой клятвы кто бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли... кто бы ни был тот, кто подсмотрит наши обряды, — но мы должны... ох! тяжело сказать!.. должны высо-

сать до капли кровь его...

— Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости, и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщиной... Все мне постыло на этом свете... Пей же, соси мою кровь!

— И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжело мне, что злая доля развела нас и здесь, и там... Катруся зарыдала и упала в ноги мужу.

— Об одном только прошу тебя, — продолжала она, — погляди на меня умильно, дай на себя насмотреться, поцелуй меня в последние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слиплись в один долгий, жаркий поцелуй... В ту же минуту она рукою искала его сердца по биению... Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала

к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем, как Федор истаивал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?»

— Сладко!.. — отвечал он чуть слышным лепетом — и уснул навеки.

Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сторела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а на месте его лежала только грудa пеплу, и зловонный, серный дым стлался по окружности. Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжи-

хи не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору.

Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и от того она просветлела.

## Недобрый глаз

(Из малороссийских былей и небылиц)

### I

Ой, хорошие дочери у казака Никиты, да и казак Никита человек нескудный: на четырнадцать парях волов чумаков отправляет то на Дон по рыбу, то в Крым за солью; а все волы большие, круторогие, широкочёлые, с оттянутыми пахами, с седловатым хребтом, с навислою, волосастою грудвиною. А на выгоне у казака Никиты пасётся косяк коней что ни самых лихих, что ни самых борзых. А дома у казака Никиты добра столько, что не переписать в неделю и бойкому скорописцу. Ещё же говорят люди, что у казака Никиты есть

заветная скринька с дукатами, да серебра столько, что четвериком не загребёшь.

## II

Ой, хорошие дочери у казака Никиты; и Галя чернобровая, и Докийка румяная, и Наталка белолицая. Отец и мать научили их страху Божию. Любо смотреть, как они в летние праздники и Дни воскресные идут к обедне чинно и смиренно, в белых тонких кунтошах с строченными усами, в сафьянных чоботах с подковками, в разноцветных скиндячках, размётанных по плечам, и с цветами махрового маку, чернобривцами и барвенками в волосах. Все парубки тогда на них заглядываются и твердят, почёсывая за ухом: «Ой, тяжко хорошие дочери, и вельми богатый батько!»

## III

Сидит казак Никита на прилавке за воротами, курит роменский табак из кореньковой трубки в медной оправе и посматривает на свет Божий. Вот видит он: за селом по дороге пыль вьётся клубом, скачет ездок, сломя голову; вот внёсся в село, ближе и ближе; под ним конь, как зверь, чёрен как вороново крыло, из ноздрей дым валит как из винокурни, вот по-



равнялся ездок с казаком Никитой, натянул повод — и конь упёрся ногами в землю, согнул шею кольцом, уключил голову, заржал и засверкал беглыми своими глазами так, что казаку Никите почудилось, будто искры полетели во все стороны.

#### IV

«Здорово, добрый человек!» — сказал проезжий. «Бог помочь! — отвечал казак Никита, вынув трубку изо рта и приподняв шапку. — Куда Бог несёт?» Казаку Никите показалось, что прохожий дважды моргнул усами, а конь его дважды фыркнул. «Еду далёко, далёко: отсюда глазом не смеряешь и не одни постолы изобьёшь, пока пешком дойдёшь. Да не в том дело, а вот в чём: где бы мне ночлег найти?» — «Милости просим! рады добрым людям. Бог про всякого посылает человеку хлеб насущный».

Проезжий молча сошёл с коня, повёл его за повод, привязал к столбу под навесом и вошёл в хату с казаком Никитой.

#### V

Не пригож был этот проезжий: лицо бледное, ни кровинки, нос толстый, луковицей,

губы втянуты; по обе стороны лица торчали клоками скомшенные рыжие усы; такие ж рыжие брови густо нависли вниз как щетина, заслоняли глаза так, что их вовсе не было видно; красно-рыжий оселедец, как полоса запёкшейся крови, пролегал по виску и вился за ухом. Ещё скажу: не пригож был проезжий! Он с виду был не стар и не молод; какая-то кислая ужимка вместо усмешки и глухой голос, вырывавшийся из гортани, как из могилы, не сулили в нём ничего доброго. На нём был жупан тонкого сукна; за персидским кушаком заткнут был турецкий нож с серебряною рукояткой, на которой как жар горели дорогие каменья. Не помолясь Богу, как водится у православных, и чуть головой кивнув хозяйке и дочкам, сел он без чинов за стол и заломался, словно в шинке.

## VI

«Как вижу, вы из запорожцев, добродию?» — спросил его казак Никита. «Может статься», — был ему ответ. «И давно уже гарцуете с молодцами?» — «Да не со вчерашнего дня». — «А как вас величать?» — «Лавро Хоробит». — «Что подумаешь: куда вы много поло-

жили бусурманских голов на своём веку?» — «Было всяких; пусть их лежат». «А далёко вы часом хаживали на войну?» — «Да; из вашего села галки туда не залетали». — «И много, чай, трудов понесли?» — «На доброй паре волов всех не свезёшь». — «Что-то, как пораскажут бывалые чумаки, за приволье в бусурманских землях! что за места богатые! чего там не родится!» — «Везде хорошо, где нас нет». — «А какое злое племя турки да татаре!» — «Есть и христиане не лучше их». Казак Никита смекнул, что гость не поддаётся на расспросы и что от него путного слова не добьёшься; он взглянул исподлобья на проезжего и замолчал.

## VII

За ужином проезжий гость зарился сквозь навислые свои брови на пригожих дочек казака Никиты, как щука зарится сквозь тростник на маленьких резвых рыбок; но красавицы не слышали от него ни одного приветя, ни одного слова. Угрюмо сидел он и только пыхтя потягивал запеканку и терновку казака Никиты. Когда же взглядывал порою на которую-нибудь из девушек, та невольно опуска-

ла глаза вниз, не от стыда, а от страха: красавиц пугали эти взгляды невидимого глаза, чуть-чуть светившегося из-за густых рыжих бровей. Гость встал из-за стола, как и сел за него: не молясь Богу, не сказав доброго слова хозяевам. Что за человек был он? Все думали, гадали, и никто не мог дознаться.

## VIII

Всю ночь выла под окном собака, и душно и жутко было красавицам. Они не могли спать, поминутно ворочались в постеле, и если на миг забывались, то страшные грёзы тотчас перерывали их сон. То слышалось им похоронное пение и звон по покойнике; то незнакомый гость смотрел на них такими глазами, что холод сжимал им грудь, захватывал дыхание и оковывал льдом все их составы. Красавицы метались, стонали сквозь крепкий сон, пробуждались в страхе и поутру встали с тяжёлыми головами и смущённым духом.

## IX

«Слушай, казак Никита, — сказал Хоробит своему хозяину поутру за снedaньем, — отдай за меня свою дочку Галю чернобровую». —

«Моя дочка Галя уже просватана: жених из хорошего рода и человек достаточный; а кто без причины жениху от заручёной невесты откажет, того Бог накажет». — «Так отдай за меня Докийку румяную». — «У моей дочки Докийки тоже есть женихи на славу. Бог поможет, одну под венец отпустим, а за другую ручники подадим». — «Ну, хоть Наталку белолицую». — «Моя дочка Наталка дитя молодое, ничего ещё не знает. Где ж её отдать в такую дальнюю сторону?» — «Отказал ты мне, казак Никита, накормил ты меня печёным гарбузом; смотри же, чтобы после не каялся». — «Что будет, то будет; а будет то, что Бог велит!» — отвечал казак Никита.

## Х

Ни слова не сказал больше Лавро Хоробит и пошёл седлать своего вороного, который ржал, и сарпал, и бил копытами землю. Тогда вошли в хату три дочки казака Никиты. Они вышли из своей светлицы, думая, что проезжий гость уже ускакал и больше не воротится. А вот и он, как с дуба сорвался, идёт гордо и осанливо, побрякивая серебром и золотом. «Вот тебе, хозяин, за ночлег и за ласку, — мол-

вил он, опустя руку в кишеню и вынув полную горсть серебряных денег». — «У нас не постоянный двор и не шинок, — отвечал казак Никита с досадой, — проезжих угощаем чем Бог послал, а денег за хлеб-соль ни с кого не берём». — «Так позволь же мне подарить твоих дочек на память!» — сказал Хоробит и, запустя снова руку в кишеню, вытащил горсть золотых вещиц. У девушек глаза разбежались на перстни, на серьги, на дорогие монисты и запонки. Каких тут не было и видом, и цветом, и ценою! Одни как жар горели, другие светились, как ночью глаза у кошки, на иных сверкали радуги, ярче той, что спускается с неба на землю и пьёт воду из ручьёв и колодезей. Девушки то любовались дорогими вещицами, то переглядывались друг с другом, то искоса посматривали на отца: куда девался и страх от проезжего! «Берите, коли добрый человек даёт на память, — сказал им отец, — это дар, а не плата».

## XI

«Начинай ты, Галя чернобровая! — сказал Лавро Хоробит, — подойди и выбери, что тебе приглянется». Галя подошла, протянула руку

к столу, глянула на Хоробита — и, вскрикнув, отскочила прочь, словно на змею наступила. «Экая стыдливая! — молвил смеясь проезжий, — ну, быть так; коли ты не хочешь, пусть выбирает себе Докийка румяная». Докийка подступила поближе, посмотрела на подарки и на гостя — и также вскрикнула, и также отскочила не вспомнясь. «Вот так! куда одна, туда и другая, — сказал Хоробит с тем же смехом. — Твоя очередь, Наталка белолицая!» И Наталка робко подвинулась вперёд, невольно посмотрела на проезжего — вскрикнула и чуть не упала. Ей показалось, что рыжие брови Хоробита дыбом поднялись вверх, как иглы на еже, а из бледно-серых глаз его струёю полились на неё две тонкие нити света, острого, жгущего, мертвящего. От него и дрожь пробегала по телу, и страх заронялся в душу, и тоска впивалась в сердце. Таков-то недобрый глаз: на зелёный лес взглянет — и зелёный лес вянет!

## XII

«Ну, спасибо за вашу хлеб-соль: буду её помнить, да и вы меня не забудете, хоть дочки ваши поспесивились и не взяли моих по-

дарков», — сказал Хоробит, поглядев на девушек таким взглядом, каким демон смотрит на душу человеческую. А они, бедненькие, стояли, сложа руки крестом, и дрожали всем телом. «Прощайте, — молвил он, — не поминайте лихом!» — и засмеялся так, что у всех на душе похолодело. Тут разом за дверь скок на своего коня — и след простыл.

### XIII

«Неня! мне тяжело, мне нудно!» — говорила Галя чернобровая. «Неня! меня мороз подирает по коже; руки и ноги — всё как во льду, а внутри горит», — говорила Докийка румяная: ах! она уж была бледнее полотна. «Неня! у меня голова трещит от боли, и свет идёт кругом, и всё в глазах темнее да темнее», — говорила Наталка белолицая. «Спаси, спаси нас, неня! — твердили все трое, — спаси нас от лихого человека! Призови знахаря: пусть отворожит силу недоброго глаза!» Напрасно! ни знахарь, никто не помог: чем дальше скакал Хоробит, тем тяжелее становилось красавицам. С закатом солнца закатился и у них свет в ясных очах... Ночью набожные старушки собрались сидеть при восковых свечах у широ-



кого стола, на котором лежали под белую пеленою три покойницы. Дьячок заунывно читал над ними псалтырь. Отец и мать сами чуть дышали с тоски и горести.

## XIV

Стоит среди кладбища за селом большая часовня; на часовне три креста; под часовней высокая и широкая могила. В этой могиле похоронены три дочки казака Никиты. Люди добрые, идучи мимо, крестятся и молятся: «Пошли, Господи, вечный покой и вечную память покойницам». После каждой волей и неволей приговаривает: «И пусть не будет добра ни на сём свете, ни в будущем злему человеку, который змеиным своим глазом иссушил и извёл три прекрасные цветка свежие и пышные!»

# Русалка

## Малороссийское предание

Давным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во власти поляков, жила-была там одна старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к Китаевой пустыни: здесь, пополам с горем, перебивалась она трудами рук своих, вместе с шестнадцатилетнею Горпинкою, дочерью и единою своего отрадою. И подлинно дочь дана была ей на отраду: она росла, как молодая черешня, высока и стройна; черные ее волосы, заплетенные в дрибушки, отливались как вороново крыло под разноцветными скиндячками, большие глаза ее чернелись и светились тихим огнем, как два полу-истухших угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, румяна и свежа, как молодой цветок на утренней заре, она росла на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики божии, честные отцы Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее как на будущего своего собрата райского, когда она

подходила к ним под благословение.

Что же милая Горпинка (так называл ее всякий, кто знал) стала вдруг томна и задумчива? Отчего не поет она больше как вешняя птичка и не прыгает как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и невпопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее, не злой ли глаз поглядел, не колдуны ли обошли?.. Нет! не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, и не колдуны обошли ее: в Киеве, наполненном в тогдашнее время ляхами, был из них один, по имени Казимир Чепка. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел жизнь молодецкую: пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях за гонор, танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый день бродил он по сагам днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Горпинкою. Милая девушка, от природы робкая и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его вида, ни

черных, закрученных усов, ни ружья, ни большой лягавой собаки: молодой пан ей приглянулся, она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово, он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве; и мало ли чего не напевал он ей? Первые слова лести глубоко западают в сердце девичье: ему как-то верится, что все, сказанное молодым красивым мужчиною, сущая правда. Горпинка поверила словам Казимира, случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива.

В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Горпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала; давно уже мать перестала делать ей выговоры и сидела, также молча, за пряжею; вдруг Горпинка, будто опомнясь или пробудясь от сна, взглянула на мать свою яркими, черными своими глазами и промолвила

вполголоса:

— Матушка! у меня есть жених.

— Жених?.. кто? — спросила старушка, придерживав свое веретено и заботливо посмотрев на дочь.

— Он не из простых, матушка: он хорошего рода и богат: это молодой польский пан... — Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все: и знакомство свое с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паней.

— Берегись, — говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою, — берегись лиходея; он насмеется над тобою, да тебя и покинет. Кто знает, что на душе у иноверца, у католика?.. А и того еще хуже (с нами сила крестная!), если в виде польского пана являлся тебе злой искуситель. Ты знаешь, что у нас в Киеве, за грехи наши, много и колдунов и ведьм. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасенью.

Горпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая, невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не

лукавый искуситель, и потому она с досадою слушала речи своей матери. «Он так мил, так добр! он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для того, чтоб уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такою душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет! матушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди». Таким нашептыванием легковерного сердца убаюкивала себя неопытная, молодая девушка; а между тем мелькали дни, недели, месяцы — Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год — о нем ни слуху ни духу. Горпинка почти не видела света божьего: от света померкли ясные очи, от частых вздохов теснило грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе, иногда плакала, сидя одна в ветхой своей хатке за пряжею, И, покачивая головою, твердила: «Не быть добру! Это наказание божие за грехи наши и за то, что несмысленная полюбила ляха-иноверца!»

Долго тосковала Горпинка; бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру,

приходила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла как былинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое; молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром, в бору, в глухом месте: он-де скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело! Горе придает отваги: Горпинка откинула страх и пошла.

Осенний ветер взрывал волны в Днепре и глухо ревел по бору; желтый лист, опадая с деревьев, с шелестом кружился по дороге, вечер хмурился на дождливом небе, когда Горпинка пошла к колдуну. Что сказал он ей, никто того не ведает; только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь, напрасно ждала и на другой день, и на третий: никто не знал, что с нею случилось! Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра: лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты и скиндычки оборваны; но он не посмел близко подплыть к ней из страха, что то была или

бесноватая, или бродящая душа какой-нибудь умершей, тяжелой грешницы.

Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко, далеко, по обоим берегам Днепра, расспрашивала у всех встречных о своей дочери, искала тела ее по песку прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонька: не было ни слуху, ни весточки о милой ее Горпинке! Она клала на себя набожные обещания, ставила из последних трудовых своих денег большие свечи преподобным угодникам печерским: сердцу ее становилось от того на время легче, но мучительная ее неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и молитвах. Честные отцы, черноризцы Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански жалели о заблудшей овце; но сострадание и утешительные их беседы не могли изгладить горестной утраты из материнского сердца. Настала весна, снова старуха начала бродить по берегам Днепра, и все так же напрасно. Она хотела бы собрать хоть кости



бедной Горпинки, омыть их горячими слезами и прихоронить, хотя тайком, на кладбище с православными. И этого, последнего утешения лишала ее злая доля.

Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у него искать помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала, подумала — и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в заднепровский бор и сколько ему лет от роду; но старожилы киевские говаривали, что еще в детстве слышали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком: иного имени ему не знали. Когда старая Фенна, мать Горпинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом и лихорадочная дрожь ее забила... Она увидела старика, скрюченного, сморщенного, словно выходящего с того света: в жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться.

Около него был очерчен круг, в ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза; а за кругом кипел и вился клубами всякий гад: и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисмерты дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха — вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забили крыльями, филины и совы завывали, змеи зашипели, высунув кровавые жалы, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся, но увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черною ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка — и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипеньем: одна жаба не слезила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг, — прохрипел старик чуть слышным голосом, как будто б этот голос выходил из могилы, — и слушай: ты плачешь и тоскуешь об дочери; хотела ли бы ты ее видеть? хотела ли б быть опять с нею?»

— Ох, пан-отче! как не хотеть! Это одно мое детище, как порох в глазу..

— Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную свечу... — Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга, другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.

— Скоро настанет зеленая неделя, — продолжал старик, — в последний день этой недели, в самый полдень, пойдешь в лес, отыщи там поляну, между чащею; ты ее узнаешь: на ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Пробрись на ту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут; ты всматривайся пристально и чуть только заметишь свою дочь — схвати ее за левую руку и втащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что бы она ни говорила — ты не слушай ее речей и все веди ее, держа свечу у нее над головою; и что бы после ни случилось, не ска-

зывай своим попам да монахам, не служи ни панихид, ни молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет...

Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора. Однако ж до чего не доведет любовь материнская! Надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги. В последний день зеленой недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу — и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и ауканьем, быстро как вихрь помчалась через поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плеча. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы

у них зеленые волосы. Девушки пробежали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит — вот бежит и ее Горпинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром, исступленном бегу своем и, гикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головою своей дочери — и мигом зеленый венчик из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы горпинкиной. В кругу Горпинка стояла как оцепенелая; но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом:

— Мать! отпусти меня погулять по лесу, покачаться на зеленой неделе и снова погрузиться в подводные наши селения... Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне: кто же тебе мешает быть со мною неразлучно? Брось напрасный страх и опустишь к нам на дно Днепра. Там весело! там легко! там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззаботны, как мо-

лодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценностей и ими утешаемся. Зимой нам тепло под льдом как под шубой; а летом, в ясные ночи, мы выходим греться на лучах месяца, резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? разве им от того хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы сами... Мать! отпусти меня: мне тяжело, мне душно будет с живыми! Отпусти меня, мать, когда любишь...

Старуха не слушалась и все вела ее к своей хате; но с горестью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли; старуха ввела Горпинку в хату; она села против печки, облокотясь обеими руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горпинка сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны как лед; волосы бы-

ли мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза, открытые, тусклые и не видя смотрящие! Старуха поздно вскакаялась, что послушалась лукавого колдуна; но и тут чувство матери и какая-то смутная надежда перемогли и страх и упреки совести: она решилась ждать во что бы ни стало.

Проходит день, настает ночь — Горпинка сидит по-прежнему, мертва и неподвижна. Жутко было старухе оставаться на ночь с своей ужасною гостьей; но, скрепя сердце, она осталась. Проходит и ночь — Горпинка сидит по-прежнему; проходят дни, недели, месяцы — все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, все так же открыты и тусклы глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты: все боялись мертвеца и старой Фенны, которую расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травой и почти заглохла; даже в лес ходили соседние обыватели изредка и

только по крайней нужде. Наконец, бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению: уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности.

Прошел и год: все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала и зеленая неделя. На первый день, около полуденного часа, старуха, отворя дверь хаты, что-то стряпала. Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно взглянула на дочь свою: лицо Горпинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды плеснула в ладоши и, прокричав: «Наши, наши, наши!» — пустилась как молния за шумною толпою... и след ее пропал!

Старуха, мучась совестью, положила на себя тяжкий зарок: она пошла в женский монастырь в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась непрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою.



На другой день после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого знака насильственной смерти не заметно было на теле; но лицо было сине, и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое; но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что покойника русалки защекотали.

# Юродивый

## Малороссийская быль

Весело ехал молодой офицер из одной загородной деревни, где провел день в самом приятном кругу — в кругу гостеприимных хозяев, милых их дочерей и пяти или шести молодых своих товарищей. Он спешил на ночь в город, потому что на другой день должен был идти в караул. Луна, верная спутница летних ночей украинских, сыпала серебряный свет свой на рощицы, на холмы и поля и рисовала взору прелестные картины, дополняемые пылким воображением.

Лихая тройка коней быстро несла каткие дрожки офицера. Вдруг, на повороте около одного оврага, что-то черное, лежавшее почти на самой дороге, мелькнуло в глаза пугливых коней; кони всполохнулись, рванулись и, не чуя вожжей кучера, бросились в сторону с большой дороги, по рытвинам и кочкам. Кучер слетел с своего места, офицер почти вслед за ним — и кони скоро скрылись из глаз.

Не чувствуя никакого ушиба, Мельский — так назывался офицер — встал, отряхнулся и

пошел отыскивать своего кучера, которого скоро нашел также на ногах и в добром здоровье. Оба они упали на мягкий чернозем и разделались только невольным своим полетом. Поздно было искать лошадей; да и где их найти? Почему офицер, со всею беспечностью молодых лет, оставя на произвол судеб коней своих и колесницу, захотел узнать, что было причиною их испуга.

— Иван, — говорил он кучеру, шедшему вслед за ним, — как ты думаешь, чего испугались лошади?

— Помилуйте, сударь, да как и не испугаться: на дороге лежала целая стая волков!

— Трус! Недаром говорят: у страха глаза велики.

— Да право, сударь, их было по крайней мере пары две или три.

— Перестань болтать пустое; если б это были волки, то ужли ты думаешь, что они и не пошевелились бы в то время, когда мы со стуком пронеслись мимо них?

— Воля ваша, сударь, а я сам видел с полдюжины глаз, которые горели, как уголья.

— Полно, полно! Ты видел в траве како-

го-нибудь светляка или и вовсе ничего не видал. Ступай за мною: пойдём доведываться, что там было.

— Да как, сударь! При мне ни топора, ни большого ключа от колес: все это в дрожках.

— При тебе твой кнут, а за поясом вижу у тебя большой складной нож: этого очень довольно. Ступай за мною, и больше ни слова.

Не смея ослушаться своего барина, Иван пошел за ним, взяв в обе руки оба свои оружия, повеся голову и ворча себе под нос.

Мельский и сам из предосторожности вынул шпагу и окидывал взором дорогу впереди себя. Небольшого труда стоило ему отыскать черное страшилище Ивана и лошадей: то был человек; он лежал на краю дороги, поджав ноги под платье и укутав голову рукою, и, казалось, спал крепким сном,

— Вставай, пьяница, — кричал ему Мельский, толкая его под бок носком сапога.

— Пьяница? Не я пьяница, а твои глаза охмелели, — отвечал грубый, хриповатый голос.

— Вставай же, покамест тебя не подняли неволею.

— Оставь меня! Тебе завидно, что я здесь сплю в чистом поле, и самому приходит охота полежать на сырой земле. А вот, подожди с недельку, тогда и я в свой черед тебе помешаю...

— Ну, как хочешь, приятель, а я тебя вытрезвлю, — сказал Мельский, принимая его за пьяного, который грезил с хмеля... — Иван, подними его!

— Не дотрагивайся до меня, хам! — сказал мнимо пьяный и поспешно встал на ноги.

Это был человек высокого роста, с щетинистой бородою и всклокоченными на голове волосами. Лицо его было бледно и сухо и при лунном свете казалось как бы мертвым; мутные, бродящие глаза его показывали, что голова его не в самом здоровом состоянии.

— А, да это наш полоумный, — вскричал кучер, очнувшись от страха, — в городе зовут его Василь дурный.

— Дурный! — подхватил Василь, передразнивая кучера. — Правда, Василь не обижает бедных лошадей и не продает их сена и овса на сторону, не бьет понапрасну бедного козла на конюшне, не ходит в кабак по ночам и не

бранит тайком своего барина. Василь боится бога, ходит в церковь, читает молитвы и поет стихиры; Василь живет подаяннем, а боже избави его красть или обманывать.

Во всю эту речь кучер стоял как сам не свой, повеся голову и утупя глаза в землю, как будто искал чего-то под ногами. Мельский между тем улыбался и поглядывал то на кучера, то на полоумного, который стоял без шляпы, в черном, длинном платье толстого сукна, сшитом наподобие монашеского подрясника; подпоясан он был узким ремнем с железною ржавою пряжкой; обуви на нем вовсе не было; в руке держал он длинную палку с вырезанными на коре ее узорами.

— Иван, — сказал Мельский кучеру, — ступай в ту сторону, куда убежали лошади, и старайся их отыскать!

— Ступай! — примолвил юродивый. — Найдешь и не возьмешь; отзовутся и не дадутся.

Кучер отправился искать лошадей, а Мельский пошел по дороге к городу. Полоумный, не отставая от него, шел широкими скорыми шагами, размахивая и опираясь своею пал-

кою, и напевал духовные песни. С Мельским он не заводил разговора.

Мельский воспитан был в нынешнем веке и по-нынешнему, следовательно, вовсе без предрассудков. Но странный его спутник все-лял в него какое-то незнакомое чувство: то был не суеверный страх и не подозрение, а нечто между тем и другим. Грубый, сиповатый голос полоумного и унывные напевы стихир из панихиды терзали слух молодого офицера и разливали в душе его тоску непонятную.

Во всю дорогу Василь пел и не говорил ни слова; Мельский молчал и как бы боялся завести с ним разговор. Таким образом прибыли они к городской заставе. Часовой окликнул и, взглянув на мундир и на лицо Мельского, почтительно дал ему дорогу; но, как можно было заметить в светлую лунную ночь, солдат казался удивленным, увидя своего полка офицера пешком и с таким странным товарищем.

— Ваше благородие, — сказал вполголоса служивый, подойдя к Мельскому, — не прикажете ли задержать этого бродягу? Он иногда

раз двадцать за ночь проходит туда и назад через заставу, и бог знает, что у него за дела и все ли доброе на уме?

— Бродягу! — громко сказал полоумный. — А задержал ли ты того бродягу, который когда-то без спроса отлучался от полка и явился тогда, как его за шею приволокли? Ему бы палочки, палочки... много, много! Благо, что командир добрый, пожалел его спины.

Солдат остолбенел, а Мельский с удивлением смотрел на юродивого. Ему странно казалось, как человек, лишенный полного употребления ума, мог знать все тайны людей, почти вовсе ему незнакомых?

Полоумный, оконча свою речь, пошел прежним своим шагом вдоль по улице. Мельский скоро догнал его; из любопытства ли, или по другому какому побуждению, он решился с ним заговорить.

— Где ты живешь? — спросил он у полоумного.

— Под небом на земле, — отрывисто отвечал Василь.

— Верю; но где твой дом?

— Здесь нет; а там! — сказал юродивый,



подняв палку вверх и очертя ею полкруга в воздухе.

— Где же твой ночлег?

— Где бог приведет.

— Так ночуй у меня; я тебя накормлю...

— Да, накормишь! — грубо перервал юродивый: — сегодня пятница, а у тебя на столе то курочка, то уточка.

— Хорошо; я велю тебе подать чего-нибудь нескоромного; напою тебя добрым вином, дам тебе хорошую постелю.

— Василь пьет воду; Василь спит на голой земле или на помосте. Да пусть по-твоему: было не было — ночую у тебя.

До квартиры офицера ни он, ни юродивый не говорили больше ни слова. Одетый денщиком слуга Мельского отворил дверь на стук своего господина и чуть было не уронил свечи, отступя назад, когда увидел, какого гостя барин привел с собою.

— Василь не леший! — сказал поспешно юродивый. — Он бродит по ночам, а не шатается. А пуще в лавках ничего не забирает в долг на чужой счет.

Ловкий слуга думал отделаться медным

лбом. Он усмехнулся и оборотился, чтобы светить своему барину по лестнице.

— Смейся! — ворчал юродивый, как будто сам с собою. — Заплачешь, и горько заплачешь, и об эту ж самую пору.

Мельский взглянул на юродивого; но он уже шептал и, как видно было, молитвы, потому что от времени до времени крестился и наклонял голову.

— Весело, светло, красно! — сказал он, войдя в комнаты. — Много казны, много казны! — и запел старинную песнь о блудном сыне:

О горе мне, грешнику сущу

Горе, благих дел не имущу.

По приказанию Мельского ужин для юродивого был приготовлен; но он ел только хлеб, а пил воду и очень немного вина. Во время ужина он молчал и только иногда делал набожные восклицания; потом, помолясь богу и поблагодаря хозяина, он сказал: «Теперь дай мне ночлег поближе к дверям, что на улицу. Когда мне надобно будет идти, я разбужу кого-нибудь из твоих людей и велю за собою запереть двери. Еще увидишь меня,

и еще, и еще; тогда Василь скажет тебе большое спасибо и пойдет далеко, далеко — отсюда не видно!»

Он выбрал себе ночлег в передней и расположился на полу у самых дверей. Мельский остановился и смотрел, что он будет делать. Юродивый долго и с теплою верою молился, стоя на коленях и часто поднимая руки к небу; потом, положив на полу под голову себе данную ему подушку и откинув на сторону всю прочую постелью, он лег не раздеваясь и в ту же минуту закрыл глаза.

Мельский также пошел в свою спальню и лег в постелью. Он думал, что утомление от загородных его резвостей и танцев и от невольного пешеходства даст ему крепкий и спокойный сон, но обманулся. Странный вид странного его гостя, его слова, в которых он отчасти открывал, что случилось и что случится вперед, не выходили из головы молодого офицера. Он всячески старался уверить себя, что слова полоумного были обыкновенным последствием расстроенной головы, что там, где он как будто бы намекал на дела, которые ему не могли быть известны, говорил он наудачу,

зная общие повадки слуг, и что сказанное им солдату мог он как-нибудь услышать от его сослуживцев; со всем тем юродивый беспрестанно представлялся его воображению. Несколько раз Мельский заводил глаза и принуждал себя уснуть; но ему было так душно, комната его теснила, стены как будто сжимались вокруг кровати, и потолок над нею пригибался к полу. В досаде Мельский ворочался, бранил себя за эту неизвестную ему доселе слабость и снова закрывал глаза; но если иногда забывался, как перед сном, то вид юродивого, его бледные впалые щеки, его мрачный взгляд и бродящие глаза, его высокий стан, выраставший выше и выше и, наконец, превращавшийся в исполинский, неотступно были в мечтах молодого офицера и мучили его, как бред горячки. То чудилось ему, что юродивый хватает его за руку жилистою, сухою своею рукою или что он наклоняется к нему на изголовье и говорит грубым, хриплым своим голосом: «Вставай, я пришел помешать тебе ложиться». Мельский вздрагивал и вскакивал. Наконец, видя, что не может приневолить себя уснуть, он приподнялся, сел на по-

стеле и начал в мыслях доискиваться естественной причины своей бессонницы и нелепых грез, которые его тревожили. «Так, — наконец сказал он сам себе, — нет ничего естественнее: излишнее движение привело сегодня кровь мою в волнение; это временный нервический припадок. Смешно, что я, солдат, не робевший ни пуль, ни штыков, расстроил себе воображение вздорным бредом, и от чего ж? от полоумного!» Рассуждая таким образом, Мельский успокоился; но чтобы вполне разуверить себя, что юродивый ему вовсе не страшен, он встал, взял горевшую в другой комнате ночную свечу и пошел в переднюю. Долго смотрел он на странного виновника своей бессонницы. Юродивый спал крепким сном, на лице его видно было спокойствие чистой совести и детская беззаботность; только раз сквозь сон провел он туда и сюда рукою перед лицом, как будто бы отмахивая от себя что-то неприятное. Мельский возвратился в спальню и лег опять в постель; на этот раз природа взяла свое; он начал засыпать, как вдруг послышалось ему, что над головою у него что-то затрещало; стены как

будто бы обрушились и падали с протяжным гулом. Он снова вскочил и, не приписывая этого мечте, а какому-нибудь шуму-в доме, опять взял свечу, прошелся по всем комнатам и еще раз взглянул на юродивого, который спал, как и прежде; все домашние Мельского также погружены были в глубокий сон, в доме все было тихо и спокойно, все уборы, все вещи стояли в целости на своих местах. После сего осмотра Мельский ушел в свою комнату и на этот раз спокойно проспал до самого того времени, как слуга вошел напомнить ему, что время собираться в караул.

— А вчерашний наш чудак? — спросил Мельский.

— Он ушел, сударь, куда еще до солнца. Чуть начало брезжиться, он разбудил меня, чтоб я запер за ним дверь, и велел только доложить вам, что скоро скажет вам большое спасибо за вашу хлеб-соль.

— Все ли цело в доме? — спросил Мельский, не хотя прямо спросить о шуме, который послышался ему ночью.

— Все, сударь, — отвечал слуга почти сквозь зубы, приняв, что вопрос сей относил-

ся на счет Василя. — Этот дурачок ничего не уносит, где днюет или ночует, как бы что плохо ни лежало.

— Я не о том спрашиваю, — сказал Мельский, дав другой вид своему вопросу. — Пришел ли кучер, и нашлись ли лошади?

— Кучер пришел, сударь, только без лошадей. Он здесь в передней, дожидается, когда изволите выйти.

Мельский велел позвать кучера, который рассказывал ему, что в одном небольшом леску слышал ржание и сарпанье лошадей, но за темнотою от заката месяца, за густыми кустарниками и валежником никак не мог обратиться к тому месту; что страх от волков помешал ему дождаться там утра, но что он теперь же опять идет туда.

Побраня и отослав кучера, Мельский оделся, вышел в другую комнату и взглянул в окно. Там увидел он, что лошади его и с дрожками мчались во всю прыть по улице и вдруг остановились перед домом. Ими смело и ловко правил юродивый, а кучер бежал следом. Осадив и остановя лошадей на всем бегу, юродивый сдал вожжи подоспевшему кучеру, а

сам пошел в комнату к Мельскому.

— Моя беда, хоть не моя вина, — сказал он вошедшим. — Василь поправил, как умел; вот твои кони и колесница: кое-что пообито и порастеряно. Да ты не горюешь; у тебя лишних рублей много, много — хоть за окно мечи! Так почти ты и делаешь.

— Да ты почему это знаешь? — спросил его Мельский.

— Знаю, знаю! Василь все знает: так ему на роду написано. Пестренькие карточки много тянут рублей по зеленому сукну; а там и пирры, и затей, и бог весть!.. Правда: подаешь гривенки нищим, и много... Хорошо, хорошо, не пропадут!

— Вот и тебе гривенка за то, что отыскал и привел моих лошадей, — сказал Мельский, подавая ему червонец.

— Спасибо! Красен, красен! Много свеч богу, много гривенок братьям, — молвил юродивый, держа червонец на ладони и смотря на него. — Спасибо, прощай!

Мельский хотел его остановить, но он уже ушел; посланный слуга кликал его на улице, но он не оглядываясь шел размашистым ско-



рым своим шагом и распевал стихиры.

В остаток этого дня ничего особенного не случилось с Мельским, так как и в следующие за тем дни; он почти позабыл о юродивом, который и сам не являлся и не встречался ему. На шестой день он собирался вечером на бал к богатой и роскошной графине Верской; уже он садился на дрожки, чтоб ехать к графине, как вдруг увидел идущего по улице Василя, который размахивал своею палкою и давал ему знак подождать. Мельский, желая узнать, что из того будет, велел кучеру приостановиться.

— Постой, повороти оглобли, — сказал тородивый, подойдя к офицеру. — Подале оттуда: там тесно, душно; там все вертится — и ноги и голова. Закружишься — забудешься; на сердце одно, а на языке другое. Язык наш — враг наш: прежде ума рыщет.

Мельский усмехнулся и, занятый ожидавшими его веселостями, бросил несколько серебряных денег юродивому, закричал кучеру: «Ступай!» — и скоро проскакал по улице. Однако ж, по невольному движению, он оглянулся при повороте в другую улицу и увидел,

что юродивый, стоя все на том же месте, взглянул на небо и размахнул обеими руками врозь, как будто бы хотел сказать: да будет воля твоя!

В шуму празднества Мельский скоро позабыл неприятное впечатление, оставленное в нем внезапным появлением, словами и выразительным телодвижением юродивого. Он был отменно весел, шутлив и танцевал очень много. Между девицами, украшавшими собою бал, отличалась от всех Софья Ластинская, осьмнадцатилетняя красавица, богатая невеста и лучшая танцовщица в городе. Софья была хорошо воспитана, умна, с добрым сердцем; но на все эти добрые качества набрасывали темную сетку ее кокетство, ветренность или, лучше сказать, легкомыслие и невоздержная охота построить язычок на чужой счет. Мельский имел и сам эту оследнюю слабость, и потому на всех балах, где им случалось быть вместе, в танцах и между танцами они всегда находили случай сообщить друг другу колкие свои замечания насчет других танцовщиков и танцовщиц; иногда, поглядывая на бостонные и вистовые столики,

перебирали они сидевших за ними смешных старушек и спорщиков-старичков. Часто язвительная улыбка Мельского или громкий неосторожный смех Софьи обличали перед другими то, что они говорили между собою вполголоса, а провинциальная щекотливость заставляла многих думать, и часто впопад, что тут говорилось на их счет. За что в отплату мстительное самолюбие осмеянных ими или считавших себя осмеянными назвало их неразлучными. И в самом деле, шутя над другими, Софья не обращала внимания на себя: она не замечала, как часто и неосторожно искала глазами Мельского между танцующими, как часто садилась поодаль от других, чтобы приберечь ему место подле себя. Мельский не был из тех молодых самолюбцев, которые всякую малозначащую благосклонность пригожей женщины перетолковывают в свою пользу, однако ж столь явное к нему предпочтение Софьи не укрылось от наблюдательных глаз его; он и сам чувствовал к ней некоторое влечение: Софья была молода, прекрасна, образована, с живым, пылким умом... но, по странному противоречию сердечных

склонностей, все их отношения друг к другу ограничивались взаимною охотою шутить насчет других. Сердце Мельского до сих пор молчало или искало в Софье других качеств, лучше тех, которые он знал в ней по светскому знакомству.

Легко можно догадаться, что и на бале у графини Верской неразлучные скоро отыскали друг друга. В нескольких танцах сряду были они точно неразлучны, и завистливая молодежь и обиженное самолюбие шепотом между собою пророчили уже им скорую свадьбу. Как и часто случается, они, шутя насчет других, не замечали, что и над ними подшучивают. К концу бала стали собираться пары на котильон; Мельский подле Софьи, и, благодаря длинным расстановкам бесконечного танца, острые их замечания в полной свободе переливались от одного к другой и наоборот.

— Вот самая большая красавица, — говорила Софья, указывая глазами на одну из танцовщиц, — по крайней мере по росту; похвалитесь хоть одним гренадером вашего полка, который бы, в кивере и со всею вытяжкой, мог с нею поравняться.

— Зато какой у нее крохотный кавалер, — примолвил Мельский, — он ей ровно вполталии. Посмотрите, как бедненький мучит свои ноги, чтоб не отстать от нее в вальсе. Но мудрая природа везде любит уравнение: оба они, вершковой мерою, составляют полную пару танцовщиков среднего роста.

— Ах, посмотрите, посмотрите на эти желто-серые глазки: как приманчиво они вертятся под белыми ресницами! Бедняжки, и им кажется, что могут кому-нибудь понравиться!

— И, как видно, они не ошиблись. Видите ли, как этот длинноногий немчик, кавалер той дамы, около нее увивается. Bravo! он говорит ей нежности; это видно по немецко-патетическому выражению глаз его и лица.

— Полюбуйтесь жар-птицею: пунцовые цветы на голове, пунцовое платье, пунцовый румянец на щеках и почти пунцовые волосы! Вот ей-то, *par excellence*, пристал русский эпитет: красная девица.

— А поджаристому ее кавалеру — горе-богатырь. Право, ему вальс кажется похоронным маршем; так он наморщился и такую плаксивую сделал из себя маску.

Слушая и делая также замечания, Мельский заметил, что Софья, иногда со смехом от его шуток, иногда с весьма важным видом, оглядывалась назад. Там стоял, в нескольких шагах от них, артиллерийский офицер, держал палец у рта, как будто бы грыз себе ногти, и сурово посматривал то на Мельского, то на Софью. Всему бывает конец; и котильон, иногда продолжающийся до утра, особенно в провинциях, на этот раз кончился довольно скоро. Софья скрылась от глаз Мельского, а он, желая подышать свежим воздухом, пошел к стеклянным дверям, ведущим в сад. Там артиллерийский офицер, как видно было, выжидавший его, заступил ему дорогу.

— Позвольте, — сказал Мельский весьма учтиво.

— Позвольте наперед узнать от вас, милостивый государь, что говорила вам и чему смеялась ваша дама?

— Вот хорошо! — отвечал Мельский, не вышедши еще из терпения. — Разве эта дама поручена в ваш надзор? Да если б и так, то надеюсь, что вы столько знаете законы рыцарские...

— Милостивый государь! — запальчиво перервал артиллерист. — Я требую от вас не пустословия, а дела...

— А я требую от вас, сударь, — подхватил Мельский таким же тоном, — сказать мне, где вы взяли право меня допрашивать?

— Я покажу это право в свое время.

— А я покажу, как умею отделять навязчивых допросчиков.

— Дерзкий!..

И слово за слово, шум сделался сильнее и сильнее; около двух офицеров стеснился кружок любопытных: все расспрашивали, от чего начался спор. Но ни Мельский, ни артиллерист не могли и не хотели открыть коренной причины ссоры.

Как и всегда, и в этом случае нашлись услужливые примирители и ревностные поджигатели той и другой стороны. Сослуживцы Мельского твердили, что для чести их мундира это дело должно кончиться дуэлью, и дуэлью смертною; защитники артиллерийского офицера говорили то же. Оба противника сами того искали и хотели. Тут же, вышед в сад, назначили секундантов и свидетелей, место

поединка — в роще, на второй версте от города; оружие — пистолет, до смертельной или очень тяжелой раны; и время — на другой день, в семь часов утра.

Не было больше путей к примирению; не было способа объясниться и виноватому извиниться перед правым: все было условлено и положено. К счастью, женщины узнали только, что был спор, а как, за что и чем должен кончиться, о том из предосторожности им не сказали.

Оба противника с их секундантами и свидетелями тотчас уехали с бала. Софья искала глазами Мельского и, не находя его, дивилась его раннему отъезду: она и не подозревала, что была, хотя и не вовсе невинною, но неумышленною причиною того, что он должен был выставить грудь против пули.

Приехав домой, Мельский сел перед письменным своим столом и не думал уже ложиться в постелью. Он призвал своего слугу, велел подать пистолеты, сам их осматривал, выбирал и примерял пули, готовил заряды. Но природа брала свое: дело, так сказать, валялось у него из рук, пули падали на пол, а



порох сыпался мимо патронов. Крайняя его рассеянность или, справедливее, отсутствие всякой посторонней мысли, кроме предстоящего поединка, была бы заметна и не для таких пытливых глаз, какие были у Игнатья, слуги его.

С первого взгляда, по приезде барина, Игнатий заметил уже перемену в лице его; отрывистые приказания, поминутно повторяемые и отменяемые, изменившийся голос, требование пистолетов и зарядов — все это помогло ловкому слуге разгадать страшную истину. Он не смел спросить о том своего барина; но, привыкши с малолетства быть при нем и, несмотря на небольшие свои проказы, будучи к нему искренно привержен, он вышел в переднюю и заплакал горькими слезами.

В это время послышался сильный стук у наружной двери. Игнатий вздрогнул, холод рассыпался по всем его членам; однако ж он вышел и отпер дверь, чтоб узнать, кто стучался: это был юродивый.

— Василь говорил тебе ровно за неделю: «Будешь плакать!» — и должен плакать; добрый, добрый господин! дает полною горстью

и никогда не считает.

С сими словами пошел он прямо в комнату Мельского. Игнатий не имел духа остановить его.

Мельский все еще сидел за письменным столом как бы в окаменении, устремя неподвижные глаза свои на стол, на котором лежала перед ним белая бумага. В лице ни кровинки; дыхание с каким-то напряжением вырывалось из груди; изредка только легкий судорожный трепет пробежал по его членам, и тогда тонкая краска вдруг вспыхивала на щеках его и вдруг погасала.

— Это ты? — сказал он, обернувшись, Василью, который вошел и стал против него. — Что скажешь?

Василь только покачивал тихо головою и не говорил ни слова.

— На, поделись с бедной братией и помолитесь за... за меня! — промолвил Мельский, схватя свой бумажник и вынув из него сто-рублевую ассигнацию, которую подал юродивому.

— Поздно! — отвечал Василь, как бы удерживая вздох. — Однако ж Василь возьмет, Ва-

силь оделит братию... Пусть так! — продолжал он после некоторого молчания и с расстановками. — Была не была!., от нее не уйдешь... рано, поздно — все равно... была не была!

Мельский смотрел на него в недоумении: было ли то приправленное по-своему утешение со стороны юродивого, или другая какая мысль вертелась в расстроенной голове его — Мельский не мог отгадать.

— Бог же с тобою! — сказал он юродивому по некотором молчании, показывая глазами на дверь. «Бог и с тобою!»-

Отвечал Василь. «Да, бог с тобою!» — повторил он выразительным, растроганным голосом, который не отзывался уже грубостью и отсутствием ума, как обыкновенная речь юродивого. Он обернулся, пошел к дверям, подняв руки к небу, и при выходе сказал только, как бы на что решившись: «Ну!»

Появление его рассеяло раздумье Мельского; по уходе юродивого он принялся писать; потом позвонил, и Игнатий с заплаканными глазами явился на зов своего барина.

— О чем ты плакал? — спросил его Мель-

ский.

— Да как, сударь!., что с вами... что со мною будет!.. — И после сих перерывистых слов Игнатий зарыдал снова.

— Ты добрый малый, — сказал ему Мельский, встав и положа руку ему на голову, — живи хорошо, веди себя честно... Вот тебе по камест, — прибавил он, подавая ему пучок асигнаций, — а здесь и ты и все другие не забыты. Это письмо отдай — если что случится — моему дядюшке. — Тут он указал на лежащее на столе запечатанное письмо.

Игнатий расплакался и разрыдался пуще прежнего, целовал руки своего барина, клялся, что ему будет житье не в житье, если не станет доброго его господина. Мельский был очень растроган.

Часы между тем текли своим нерушимым порядком; первые лучи солнца проникали уже в спальню Мельского. Он поднял шторы, открыл окно в маленький садик своей квартиры. Ранние птички чиликали в садике; утро было прелестное; роса светилась на зелени. Мельский высунул голову в окно и снова впал в задумчивость. Он думал, что, может

быть, это последнее утро его жизни, что он не будет уже в сей вечер провожать глазами заходящего солнца и ночь, непрерывная ночь протянется над ним до бесконечности. Неизвестность будущего, страшный шаг, который должно было ему переступить, — все это толпилось в его воображении и тягчило сердце непомерным гнетом.

Долго оставался Мельский в сем положении. Легкий удар по плечу вывел его из забвения; вздрогнув, он оглянулся. Перед ним стоял Свидов, его секундант; поодаль оба свидетеля поединка с его стороны, офицеры их полка.

— Полно рассуждать о суете мира сего, — весело сказал ему Свидов. — Теперь половина шестого; нам остается полтора часа. Вели нам подать водки и чего-нибудь перекусить. Тебе, брат, не прогневайся, не дадим: поговей покамест. Такие игры разыгрываются на тощий желудок.

В решительных случаях спокойствие и веселое расположение духа одного товарища сильно действует и на прочих: так и здесь было. Три офицера весело принялись за подан-

ный завтрак; Мельский сел с ними, хотя и ничего не ел. Свидов оживлял беседу. Он шутил, смешил своих товарищей насчет Мельского, говорил, что он нарочно постарался выкритить себе такую плаксивую личину, потому что собирается отпевать своего противника, и тому подобное. Смех прилипчив; Мельский и сам развеселился, особенно, когда к концу завтрака Свидов, а за ним и оба другие офицера, налив полные стаканы вина, приподняли их и громко воскликнули: «Твое здоровье, Мельский!..»

— Отблагодарю вас, господа, через два часа, а не прежде, — отвечал Мельский с вольным духом.

Свидов взглянул на часы. «Ого, друзья, сколько мы бражничали: половина седьмого. Мельский, вели подать свои пистолеты и заряды: я как распорядитель жизни или смерти твоей — не бледней, милый друг! — хочу освидетельствовать, все ли боевые снаряды в должной исправности».

Пистолеты были осмотрены, лошади поданы — и через десять минут четверо товарищей были уже за городом. С каждым шагом

ближе к месту поединка, звук копыт конских о землю звонче и звонче отдавался в ушах Мельского. Однако ж он был бодр: естественная или умышленная веселость Свидова и других офицеров, с ним ехавших, придавала ему духу. Приближаясь к назначенному месту, они заметили пыль по дороге и скоро увидели, что следом за ними неслись на всех рысях несколько человек. Это был противник Мельского и его ассистенты.

— Мы их опередили и кстати, — молвил Свидов, — покамест отдохнем и сгладим последние морщины с лица у Мельского.

Но Мельский был уже не тот: решимость, понятие о чести и чувство оскорбления придали ему необыкновенную отвагу. На лице его сияло совершенное спокойствие; он очень свободно расхаживал и холодно, но вежливо поклонился прибывшим в эту минуту товарищам его противника.

Свидов и секундант артиллерийского офицера сошлись, передали несколько слов друг другу, выбрали и зарядили пистолеты, потом, разделя поровну между противниками свет и ветер, мигом отмеряли восемь шагов на бар-

тер и по пяти в обе стороны, чтобы сходиться. Подавая пистолет Мельскому, Свидов взглянул на него пристально и подивился и порадовался спокойствию и хладнокровию, которые выражались в чертах его лица и во всех поступках. «Славно! — сказал он вполголоса. — Для первой дуэльной попытки это слишком много». С этими словами отступил он несколько шагов и стал рядом с секундантом противной стороны. Уже пистолеты подняты, пальцы на шнеллерах, уже противники ступили шаг... тяжкое ожиданье заняло дух у секундантов и свидетелей... Кому-то пасть? или обоим? Оба равно смелы, оба равно тверды... только в артиллерийском офицере заметна была какая-то нетерпеливость в движениях: может статься, это было следствие обыкновенного его характера, или он, считая себя более обиженным, хотел скорее отметить за свою обиду.

— Стой! — вдруг раздался громкий и твердый голос, и, по невольному движению, оба противника опустили пистолеты. Прежде нежели могли прийти в себя и они и их секунданты, юродивый стоял уже между по-



единшиками.

— Что вы делаете? — продолжал он тем же голосом. — Вы оба неправы; только ты виноватее, — примолвил он, оборотясь к артиллерийскому офицеру. — Драться вам не за что!..

— Протолкайте этого сумасброда! — закричал артиллерийский офицер.

— Сам ты сумасброд, что накликаешь на свою голову кровь неповинную, — сказал юродивый между тем, как секунданты и свидетели обеих сторон схватили его и хотели оттащить. Василь одарен был необыкновенною силою; по крайней мере, в этом случае показал он чрезвычайные усилия; шесть человек едва могли с ним сладить; наконец, оттащив его в сторону от барьера и видя, что он снова мечется к поединщикам, служившие свидетелями офицеры взялись его держать, а секунданты стали снова на свои места.

С одинаковою неустрашимостью противники пошли опять друг против друга; уже они почти на барьере, уже метят, курок спускается... Выстрел!.. «Стой!., ох!» — и юродивый упал от пули артиллерийского офицера. В то же мгновение другая пуля просвистала над

ухом артиллериста.

Пистолеты обоих противников, как по команде, упали на землю. Все бросились к юрдивому. Он был еще жив. Кровь била клубом из-под распахнувшейся его одежды. Полковой лекарь, приглашенный предусмотрительными товарищами Мельского и крившийся в ближнем леску, прибежал на выстрелы и, освидетельствовав рану, объявил, что она смертельна. Пуля по близости удара пролетела насквозь; часть внутренностей несчастного была повреждена.

Начали перевязывать рану. Ничто не служит таким надежным шагом к сближению двух противных сторон, как общее участие к одному предмету. Помогая лекарю в его попечениях, раздирая свои платки и спорясь, так сказать, в условиях облегчить страдания раненого бедняка, Мельский и противник его не сказали еще ни слова. Наконец сей последний, держа компресс на ране больного, тогда как лекарь отошел в сторону приготовить бинт, взглянул в лицо Мельского, который поддерживал голову страдальца, и с некоторым усилием сказал: «Поединок наш еще не

кончен!»

— Скажите, бога ради, за что вы меня вы- звали? — вскричал Мельский как бы по невольному движению.

— Вы сами должны это знать: не вы ли меня оскорбляли? Не вы ли смеялись на мой счет с тою, чьей руки я искал и еще не поза- был огорчительного ее отказа.

— Клянусь честью, что в разговоре моем с Софиею не было о вас ни слова. Я не дал бы этой клятвы, когда шел против вашей пули; теперь, над трупом сего бедняка, пострадав- шего в нашем деле, я должен вывести вас из заблуждения.

— Почему ж она, говоря с вами, оглядыва- лась на меня и язвительно усмехалась?

— Это самого меня удивляло, и я хотел ко- гда-нибудь выведать от нее тому причину. Но, повторяю снова свою клятву, предметом шуток наших и смеха были другие, а не вы.

Артиллерист помолчал несколько минут; он призадумался и, казалось, что-то припоми- нал; потом сказал тихим и горестным голо- сом и как бы сам себе: «И в этот раз запальчи- вость моя и подозрительный нрав довели ме-

ня до иступления ума, даже до убийства. Боже мой!.. Но я уже наказан — должен понести без ропота и то наказание, какое законы назначат убийце».

Мельский, по чувству соучастия, протянул к нему руку и хотел утешать его. Артиллерист схватил его руку, сжал ее и сказал: «Простите ли вы мне опрометчивость мою, забудете ли нанесенную вам обиду?»

Молодой, мягкосердечный Мельский снова и крепко сжал ему руку. Он был удовлетворен вполне: товарищам своим и, следовательно, всему полку доказал он, что не боится порохового дыма; понятию о чести принес он жертву, соперник его просил у него прощения; чего ж мог он более требовать?

Привстав на колена и не отнимая руки от компресса, артиллерийский офицер протянул голову к Мельскому. Они йоцеловались.

— Давно бы так! — сказал юродивый, который только что опамятовался. В это время подошел лекарь и dokonчил перевязку: раненый не испустил ни одного вздоха и не впал снова в беспамятство.

Офицеры подошли к примирившимся со-

перникам, поздравляли их с мировою; и Сви-дов первый как большой и опытный знаток в дуэльных делах сказал, что оба противника шли отлично и что сам он дерется со всяким, кто хоть заикнется против сего поединка.

В это время Мельский взглянул на лицо юродивого: он звал его глазами. Мельский наклонился к нему. «Я знал, чем кончится, — говорил Василь слабым, но внятным голосом, — бог положил это мне на сердце. Я знал, что поведу тебя на могилу твоей тетки: ты с приезда сюда не был еще у нее на могиле. Добрая, добрая была у тебя тетка: любила нищую братию и много ее наделяла. Василь был от нее и сыт, и одет, и пригрет!.. Десять лет как она отошла к отцу небесному... Оттого и тебя полюбил я с первого взгляда, хотел узнать тебя поближе, да тебе было не до меня: суета сует закружила тебя. Я хотел отблагодарить за хлеб-соль твоей тетке; сказал, что помешаю тебе лежать, — и помешал».

Юродивый умолк. Мельский, роняя слезы на лицо его — дань благодарности и человечеству, которой он не стыдился, — вспомнил притом, что если б юродивый не подоспел, то

пуля действительно попала бы прямо в него и, может быть, также навывлет; ибо выбранные секундантами пистолеты были велики и сильно заряжены, по человеколюбивому расчету Свидова, чтоб не долго мучиться раненому.

Офицеры разошлись в разные стороны и за хорошую плату собрали несколько крестьян, работавших вблизи того места. Им велели из соседнего леса вырубить хворосту и сделать плетеные носилки, чтобы перенести в город раненого. Как скоро добрые малороссияне узнали, что раненый был Василь, то не хотели даже взять платы за перенесение его: они считали, что благословение божие будет на них и на их дома за услугу, которую окажут они юродивому. Дивились они только и шепотом между собою рассуждали, каким образом и кем он застрелен; но Василь, вслушавшись в их слова, сказал: «Я сам, братцы, напекался на смерть: так богу было угодно! здесь никого не вините».

Слушая его слова и веря им, ибо знали, что Василь никогда не говорил неправды, крестьяне прекратили свои толки. На носилки

настлали мягкой травы и сверх нее положили несколько свит, чтоб раненому было еще мягче. Свидов сверх всего этого разостлал свою офицерскую шинель Офицеры, как бы в погребальном шествии, тихим шагом ехали за носилками.

В предместий города офицеры велели остановить носилки и постучались в двери одного маленького, но опрятного домика. Там жила добрая старушка, вдова Узнав, что дело идет о том, чтобы дать приют Василию, она тотчас отперла дверь, очистила небольшую светлицу и приготовила мягкую постель для больного. Лекарь охотно вызвался навещать его, хотя и не предвидел никакой надежды его излечить.

Мельскин ходил каждый день наведываться о его здоровье и с каждым днем видел постепенное угасание последних искр жизни сего непонятого человека. Василь говорил мало и говорил ему о тетке его, о ее добродетелях и благотворительности, присовокупляя иногда короткие, но сильные наставления для будущей его жизни. Во всех словах его не было уже признаков прежнего юродства, ни

предсказаний. Так прошло три дня На четвертый Мельский, нашедши хозяйку дома в первой комнате, спросил у нее о больном.

— Ему сегодня лучше, — отвечала старушка, — он спокойнее провел ночь и утром говорил громче и больше, нежели в прежние дни. Вспоминал о вас. Теперь, кажется, заснул; я выходила на час из дому, а после не слыхала никакого шума в его комнате, почему и думаю, что он спит.

Мельский отворил немного дверь в светлицу: ни на постеле, ни в комнате никого не было. Старуха вскрикнула, бросилась искать по всему дому, бегала в маленький свой садик, спрашивала у соседей, нигде не было Василя, никто не видал его! Наконец Мельский сам пошел искать и расспрашивать. Одна маленькая девочка сказала ему, что видела, как Василь через силу брел по улице к кладбищу. Мельский тотчас пошел туда. До кладбища было очень недалеко от дома старушки, легко могло случиться, что Василь, в новом припадке юродства, вздумал посетить заживо последнее свое жилище. При входе в кладбище Мельский увидел у одного памятника челове-



ка, который сидел на подножии, прилегши головою на низкий цоколь надгробного камня.

Мельский подошел к нему: это был точно Василь; но заостренелые члены и посинелое лицо его показывали, что жизнь уже отлетела из полуразрушенной своей оболочки. Долго стоял Мельский в задумчивости над холодным трупом человека, принесшего ему в жертву жизнь свою: потом, рассматривая надгробие, прочел он, что памятник сей скрывал под собою прах его тетки. Юродивый в последние дни свои принес двойную дань благодарности.

— Ты сдержал свое слово! — говорил Мельский — Ты привел меня на могилу тетки, и сам пришел посвятить последний вздох свой благодарному о ней воспоминанию. Покойся же с миром!

Грустно возвращался Мельский с кладбища. Обще с артиллерийским офицером, неумышленною причиною смерти юродивого, устроил он приличное погребение сему земному страдальцу, и сам шел за гробом его, товарищи Мельского и все участвовавшие в

поединке также отдали последний долг умершему сочеловеку. Стечение народа, собравшегося даже из окружных сел на погребение Василя, показывало, в каком уважении был юродивый у сих простых, но добрых людей. Особливо нищие с плачем провожали его в могилу: будучи сам нищ, он находил способ помогать им и делился с ними подаянием, которое получал. Одна дряхлая, как остов иссохшая старуха плакала и выла больше всех; когда кончено было погребение, когда разошлись все, и старый и малый, она одна осталась на могиле и кропила свежую землю своими слезами. И после часто видали ее на могиле юродивого; мать ли то была, родственница, или только предмет особых попечений покойного: никто не решился у нее спрашивать, и она никому о том не говорила.

## Сказки о кладах

**Ж**ители С...го уезда и теперь, я думаю, помнят одного из тамошних помещиков, отставного гусарского майора Максима Кирилловича Нешпету. Он жил в степной деревушке, верстах в тридцати от уездного города, и был очень известен в тамошнем околотке как самый хлебосольный пан и самый неутомимый охотник. Нимврод и король Дагоберт едва ль не уступили бы ему в беспощадной вражде к черной и красной дичи и в нежной привязанности к собакам. Привязанность эта до того доходила, что собаки съедали у него весь годовой запас овса и ячменя; а чего не съедали собаки, то помогали докончить добрые соседи, большие охотники порыскать в поле с гончими и борзыми и еще больше охотники поесть и попить сами и покормить скотов своих на чужой счет.

При таком хозяйственном распорядке, мудрено ли, что небогатый годовой доход от тридцати душ крестьян и небольшого участка земли был ежегодно съеден в самом буквальном смысле. Этого мало: добрый майор,

из жалости, никогда не раздавал щенков в чужие руки, а псарня его плодилась на диво; с умножением псарни должны были поневоле умножиться и расходы. Прибавьте к тому, что шесть самых видных и дюжих парней из его деревушки переряжены были в псарей; что при таком обширном охотничьем заведении необходимо было иметь несколько лошадей лишних как для самого майора, так и для псарей его, а часто еще для одного или двоих из добрых приятелей, у которых собственные лошади всегда находили средство или раскочкаться, или вывихнуть себе ноги. Полевые работы шли плохо, потому что шестеро псарей в осень и в зиму день при дне скакали за зайцами и лисицами, а остальную часть года или отдыхали, или ухаживали за собаками, следовательно, вовсе оторваны были от барщины и от домов своих; а потеря дюжины здоровых рук в небольшом сельском хозяйстве есть потеря весьма значительная. Так, год от года, псарня доброго майора плодилась, расходы умножались, доходы уменьшались, а долги нарастали и чрез несколько лет сделались, по его состоянию, почти неоплатными.

Это бы все ничего, если бы майор был сам своею головою; но у него было два сына и дочь, молодая и прелестная Ганнуся, расцветшая со всею свежестью красавицы малороссийской. Она составляла главную заботу бедного и неосторожного отца. Сыновья удились в губернском городе; и майор говаривал, что с божьею помощью и своим рассудком они вступят со временем в службу и будут людьми; но Ганнуся была уже невеста: где ей найти жениха, без приданого, и как ей оставаться сиротою после смерти отца, без хлеба насущного?

Такие мысли почти неотступно тревожили доброго майора; он сделался уныл и задумчив. Часто тяжкая дума садилась к нему на седло, шпорила или сдерживала невпопад коня его, заставляла пропускать дичь мимо глаз или метила ружьем его в кость, вместо зайца. Часто, в долгую зимнюю ночь, злодейка-грусть закрадывалась к нему под подушку, накликала бессонницу и с нею все сбыточные и несбыточные страхи. То слышался ему звонкий колокольчик: вот едут судовые описывать имение и продавать с молотка; то чу-

дилось, что он лежит в гробу под тяжелою могильною насыпью, и между тем бедная Ганнуся, сиротою и в чужих людях, горькими слезами обливает горький кусок хлеба. Голова его пылала, в глазах светились искры; скоро эти искры превращались в пожар... ему казалось, что дом в огне, в ушах отзывался звон набата... он вскакивал; и хотя страшные мечты исчезали, но биение сердца и тревоги душевные гнали его с постели. Он скорыми, неровными шагами ходил по комнате, пока усталость, а не дремота, снова укладывала его на жгущие подушки.

В одну из таких бессонных ночей, лежа и ворочаясь на кровати, выискивал он в голове своей, чем бы разбить свою тоску и рассеять мрачные думы. Ему вспало на мысль пересмотреть старинные бумаги, со времени еще деда Майорова уложенные в крепкий дубовый сундуч и хранившиеся у старика под кроватью, по смерти же его, отцом Майоровым, со всякою другою ненужною рухлядью, отправленные в том же сундуке на бессрочный отдых в темном углу чердака. Сам майор, никогда не читая за недосугом, оставлял их в

полное распоряжение моли и сырости; а люди, зная, что тут нечем поживиться, очень равнодушно проходили мимо сундука и даже на него не взглядывали. Чего не придет в голову с тоски и скуки! Теперь майор будит своих хлопцев, посылает их с фонарем на чердак и ждет не дождется, чтоб они принесли к нему сундук. Наконец, четверо хлопцев насилу его втащили: он был обит широкими полосами листового железа, замкнут большим всячим замком и сверх того в несколько рядов перевязан когда-то крепкими веревками, от которых протянуты были бичевки, припечатанные дедовскою печатью на крышке и под нею. Хлопцы с стуком опустили сундук на землю; перегнившие веревки отскочили сами собою, и пыль, наслоившаяся на нем за несколько десятков лет, столбом взвивалась от крышки. Майор еще прежде отыскал ключ, вложил его в замок и сильно повернул, но труд этот был излишний: язычок замка перержавел от сырости и отпал при первом прикосновении ключа, дужка отвалилась, и замок упал на пол. То же было и с крышкой, у которой ржа переела железные петли.

Тяжелый запах от спершейся в бумагах сырости не удержал майора: он бодро приступил к делу. Хлопцы, уважая грамотность своего пана и дивясь небывалому дотоле в нем припадку любочтения, почтительно отступили за дверь и молча пожелали ему столько же удовольствия от кипы пыльных бумаг, сколько сами надеялись найти на жестких своих постелях. Между тем майор вынимал один по одному большие свитки, или бумаги, склеенные между собою в виде длинной ленты и скатанные в трубку. То были старинные купчие крепости, записи, отказные и проч. на поместья и усадьбы, давно уже распроданные его предками или перешедшие в чужой род; два или три гетманские универсала, на которых «имярек гетман, божиею милостию, такой-то», подписал рукою властною. Все это мало удовлетворяло любопытству майора, пока наконец не попались ему на глаза несколько тетрадей старой уставчатой рукописи, где, между сказками о Соловье-разбойнике, о Семи мудрецах и о Юноше и тому подобными, одна небольшая, полусотлевшая тетрадка обратила на себя особенное его внимание. Она



была исписана мелким письмом, без всякого заглавия, но когда майор пробежал несколько строк, то уже не мог с нею расстаться. И вправду, волшебство этой рукописи было непреодолимо. Вот как она начиналась.

Попутчик Сагайдачного Шляха берет от Трех Курганов поворот к Долгой Могиле. Там останавливается он на холме, откуда в день шестого августа, за час до солнечного заката, человеческая тень ложится на полверсты по равнине, идет к тому месту, где тень оканчивается, начинает рыть землю и, докопавшись на сажень, находит битый кирпич, черепья глиняной посуды и слой угольев. Под ними лежит большой сундук, в котором Худояр спрятал три большие серебряные стопы, тридцать ниток крупного жемчуга, множество золотых перстней, ожерелий и серег с дорогими камнями и шесть тысяч польских злотых в кожаном мешке...

Словом, это было Сказание о кладах, зарытых в разных местах Малороссии и Украины. Чем далее читал Максим Кириллович, тем более дивился, что он живет на такой земле, где стоит только порыться на сажень в глубину,

чтоб быть в золоте по самое горло: так, по словам этой рукописи, страна сия была усеяна подспудными сокровищами. Как не отведать счастья поисками этих сокровищ? Дело, казалось, такое легкое, а добыча такая богатая. Одно только не допускало майора на другой же день приступить к сим поискам: тогда была зима, поля покрыты были глубоким снегом; трудно было рыться под ним, еще труднее отыскивать заметки, положенные в разных урочищах над закопанными кладами. Но должно было покориться необходимости: русской зимы не пересиличишь — это уже не раз было доказано, особливо чужеземным врагам народа русского. Так и майор принужден был отложить до весны свои подземные исследования и на этот раз был богат только надеждою. Однако ж он не вовсе оставался без дела: рукопись была написана нечеткою старинною рукою и под титлами, т. е. с надстрочными сокращениями слов, майор учен был русской грамоте, как говорится, на медные деньги, и можно смело сказать, что никакому археологу не было столько труда от чтения и пояснения древних рукописей геркуланских,

сколько нашему Максиму Кирилловичу от разбирания любопытной его находки. Наконец он принял отчаянные меры: заперся в своей комнате и самым четким по возможности своим почерком начал переписывать тетрадку, надеясь, что сим способом он добьется в ней до настоящего смысла. Псовая охота не приходила уже ему и в голову, борзые и гончие выли со скуки под окнами, а псаря от безделья почти не выходили из шинка. Так проходили целые недели, и не мудрено: с непривычки к чистописанию, майор писал очень медленно; при том же часто, пропустя или переинача какое-либо слово или не разобрав его в подлиннике, он не доискивался толку в своем списке и с досады раздирал по нескольку страниц; должно было приниматься снова за старое, и от того-то дело его подвигалось вперед черепашьим шагом. Надобно сказать, что вместо отдыха от письменных своих подвигов он, из благодарности к сундуку, прибил к нему своими руками новые петли и пробой, уложил по-прежнему вынутые из него бумаги, запер его крепким замком и едва не надсадился, подкачивая его под свою кро-

вать. Домашние майоровы согласно думали, что он пишет свою духовную. Особенно Ганнусю это крайне печалило: бедная девушка воображала, что отец ее, предчувствуя близкую свою кончину, желал устроить будущее состояние детей своих и делал нужные для того распоряжения. Быв скромна и почтительна, она не смела явно спросить о том у отца, а пробраться тайком в его комнату не было возможности: майор почти беспрестанно сидел там, а когда выходил, то запирали дверь на замок и уносил ключ с собою. Соседи Майоровы почти совсем перестали посещать его и поделом! он не выезжал уже до рассвета с своими псами и псарями на охоту; к тому же, сидя на запорти в своей комнате, не мог по-прежнему беседовать с гостями и потчевать их пуншем с персиковою водкою, а добрые соседи не хотели даром терять пороши или выслушивать рассказы о Майоровых походах на свежую голову. Были люди, которые не только его не покинули, но еще стали навещать чаще прежнего: это его заимодавцы, купцы из города, у которых он забирал в долг товары, и честные евреи, поставщики всякой

всячины. Эти люди ничем не скучают, когда дело идет о получении денег, и за каждый рубль готовы отмерять до сотни тысяч шагов полным счетом.

Однако ж у майора был один — не скажу истинный друг, а прямо добрый приятель. Истинный друг, по словам одного мудреца, есть такое существо, которого воля сливается с вашею волею и у которого нет других желаний, кроме ваших; а майор Максим Кириллович Нешпета и старый войсковый писарь Спирид Гордиевич Прямченко никогда не хотели одного, не соглашались почти в двух словах и поминутно спорили дозарезу. Несмотря на то, когда майору случалась нужда в деньгах или в чем другом, — а эти случаи очень были нередки, — войсковый писарь никогда ему не отказывал, если только у самого было что-либо за душою; он же сочинял все бумаги по судным майоровым делам, прибавляя к тому полезные советы — и на одном только этом пункте у них не было споров, ибо майор, будучи сам не великий делец, слепо доверял войсковому писарю, тем больше что никогда не был обманут в своей доверии. Однако же в

теперешнем случае майор не смел или не хотел ввериться войсковому писарю, которого называл вольнодумцем за то, что сей, учившись когда-то в киевской академии, не верил киевским ведьмам, мертвецам икладам и часто смеивался над предрассудками и суевериями простодушных земляков своих. Майор, который, по его словам, почти сам видел, как однажды ведьма бросалась и фыркала кошкою на одного гусара, его сослуживца, часто с криком и досадою опровергал доказательства своего соседа и предрекал ему, что будет худо; но это худо не приходило к войсковому писарю, хотя они спорили об этих важных предметах лет двадцать почти при каждом свидании.

Отсторонив от себя этого советчика, майор обратился к другому. Это был его однополчанин, отставной гусарский капрал Федор Покутич, которого майор принял в свой дом, давал ему, как называл, паек от своего стола и очень достаточную порцию водки, покоил его и во всяком случае стоял за него горюю. Из благодарности старый капрал присматривал в летнее время за садом и пчельником майо-

ровым, а в осеннее и зимнее — за исправностью псарей и охотничьей сбруи. Сверх того он лечил майоровых лошадей и собак, почитал себя большим знатоком во всех этих делах и весьма нужным лицом в домашнем быту своего патрона. Старый капрал (такое название давали ему все от мала до велика) был по рождению серб и чуть ли еще не в семилетнюю войну вступил в русскую службу. Высокий рост, широкие плечи и грудь, смуглое лицо с крупными, резко обозначенными чертами, рубец на безволосом теме, другой на правой щеке, а третий за левым ухом, простреленная нога, длинные, седые усы, густой, отрывистый бас его голоса, богатырские хватки и три медали на груди — внушали к нему почтение не только в крестьян майорских и в других поселян, но даже и в соседних мелкопоместных панков. Он ходил всегда в форменной солдатской шинели, на которую нашиты были его медали, закручивал в завитки уцелевшие на висках два пасма волос, а седины своего затылка туго-натуго обвивал черною лентою, крайне порыжевшею от долголетнего употребления. Осенью и зимою, ко-

гда майор почему-либо рано возвращался с охоты и когда не было у него гостей, призывал он старого капрала, вспоминал с ним про давние свои походы и молодечество или заставлял его рассказывать всякие были и небылицы; а на это капрал был и мастер и охотник. Между тем как майор отдыхал на лежанке, старый его сослуживец, растирая табак в глиняном горшке и почаству прихлебывая из сулеи вечернюю свою порцию, пересказывал ему в сотый раз казарменные прибаутки, сказки и страшные были, со всеми прикрасами сербско-малороссийского своего красноречия. К суевериям и предрассудкам своей родины, залегшим смолоду в его памяти, прибавил он порядочный запас поверий и небылиц, выдаваемых за правду в Малороссии и Украине по сему можно судить, как занимательна была его беседа для любителей чудесного; а добрый наш майор был из числа самых жарких любителей всего такого.

Разумеется, что в этом запасе старого капрала сказки о кладах занимали не последнее место. Мудрено ли, что майор, зная обширные его сведения и предполагая в нем, на ве-



ру его же слов, большую опытность по сей части, решился с ним советоваться насчет будущих своих поисков? Чтоб не откладывать вдалеке исполнения этой благой мысли, тотчас послал он одного из хлопцев отыскивать капрала, который, дивясь и жалея, что старый его командир сбился с ступи — так называл он замеченную им перемену в привычках майоровых, — скучал и наедине потягивал свою порцию.

Приказ командирский был для него законом. Старый капрал пригладил усы, закрутил виски, осмотрелся, все ли на нем исправно и пошел, соблюдая приличную вытяжку и стараясь как можно меньше прихрамывать раненою ногою. Войдя в дверь, он выпрямился, нанес правую руку на лоб и твердым голосом проговорил:

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

— Здравствуй, капрал! каково поживаешь? Я давно не видал тебя.

— Гм, ваше высокоблагородие! не моя вина; я всегда готов на смотр по первому приказу.

— Верю и знаю; да мне было не до того... Садись, старый служивый, да поговорим...

— Не о старине ли?.. Я думаю, ваше высокоблагородие совсем о ней забыли.

— Нет; старину свою отложим мы до будущей зимы, когда у нас от сердца отляжет. Теперь потолкуем о деле.

— Извольте, ваше высокоблагородие!

И капрал, который, между прочими делами по дому, произвольно взял на себя обязанность каждый день докладывать майору о сельских работах и вообще о хозяйстве, пустился вычислять все, что сделано было в доме, на винокурне и в мельнице, с тех пор как майор вовсе перестал заниматься домовыми своими делами. Это вычисление не скоро бы кончилось, если б майор не перебил его.

— Все это очень хорошо, да все не то, — вскрикнул нетерпеливый майор. — Помнишь ли, ты не раз мне рассказывал о кладях? Без дальнего внимания, при таких рассказах я или дремал, или слушал вполуха. Одно только у меня осталось на памяти: что над кладями, из любви к сокровищам, всегда сторожит недобрый в том виде, в каком человек, зарыв-

ший клад, положил на него зарок являться.

— Да: и собакой, и кошкой, и курицей, только не петухом. Иногда сидит он диким зверем: медведем, волком, обезьяною с огненными глазами и крысьим хвостом; иногда чудовищем. Змеем Горыничем о семи головах; иногда даже и человеком, не в нашу меру будь сказано.

— У меня есть на примете кое-какие кладишки, и можно бы за ними порыться... Об этом расскажу тебе после. А теперь хотел бы снова услышать повнимательнее о прежде найденныхкладах, чтобы в пору и во время применить к тому, как добрые люди поступали в таких случаях.

— А вот видите ли, ваше высокоблагородие! (таков был обыкновенный приступ всех рассказов старого капрала). Я не служил еще в том полку, в котором находился под командою вашего высокоблагородия; шли мы в глубокую осень из дальнего похода, и нашему полку расписаны были зимние квартиры в К...ском повете. Наш эскадрон поставлен был в одном селении, а в том числе мне отведена была квартира у одной доброй старушки. Ха-

та ее чуть не вертелась на курьих ножках: низка, ветха и стены только что не валились; толкни в угол коленом — она бы и вдосталь рассыпалась; а дом как полная чаша, и в золотой казне, по приметам, у старой не было недостатка. Мне было у нее не житье, а масленица; чего хочешь, того просишь: пить, есть, всего по горло. Ну, словом сказать, она надеяла и покоила меня, как родного сына, и часто даже называла меня сынку. Дивились и я и мои товарищи такой доброте старушкиной; дивились и тому, что у нее, под этою ветхою кровлею, такое во всем благословение божие. Стали наведываться о ней у соседей, и те нам сказывали, что у хозяйки моей был один сын, как порох в глазу, и того, по бедности, сельский атаман отдал в рекруты, что с тех пор не было о нем ни слуху, ни духу и что старушка, расставшись с ним, долго и неутешно плакала. Не было у ней опоры и помощи, некому было обрабатывать поля и смотреть за домом; скудость ее одолела, она пошла по миру и многие годы бродила из селения в селение, по ярмаркам и богомольям, питаясь мирским подаянием; как за три года до нашего кварти-

рованья вдруг разбогатела. Откуда что взялось: и теплая опрятная одежда вместо нищенского рубища, и лакомый кусок вместо черствых крох милостынных. Домишка хотя она и не перестраивала, да о том и не горевала: добрые соседи, за ее хлеб-соль и ласку, а пуще за чистые деньги, возили ей на зиму столько дров, что и порядочную винокурню можно бы без оглядки отапливать круглый год. Со всем тем, она никого не принимала на житье и даже по крайней только нужде впускала к себе в дом любопытных соседей; когда же уходила из дому, то двумя большими замками запирала двери. В селении пошли о ней разные толки, и еще в нашу бытность соседи старушкины натрое толковали о скорой ее разживе: одни думали, что она, во время своего нищенства, искусилась лестью врага нечистого и сделалась ведьмою; другие, что она спозналась с подорожною челядью и в ночную пору давала у себя притон разбойникам, за что будто бы они ее наделяли; третьи же, люди рассудчивые, видя, что она по-прежнему богомольна и прибежна к церкви божией и что у нее никогда не видали ни души посто-

ронней и не слышали по ночам ни шума, ни шороха, — говорили, что она нашла клад; а как и где — никто о том не знал, не ведал.

Признаться, у меня не полегчало на душе от всех таких рассказов. Если хозяйка моя колдунья, думал я, то жить под одной кровлей с ведьмою вовсе мне не по нутру. В какую силу она меня прикармливает да привечает? Почему знать, может быть, ей нужна моя кровь или жир, чтоб летать из трубы на шабаш. Вот я и стал за нею подмечать: ночи, бывало, не сплю, все слушаю, а не заметил за нею никакого бесовского художества. Старушка моя спит, не шелохнется, а если, бывало, и пробудится, то вздохнет и вслух сотворит молитву. Это меня поуспокоило, только не совсем я стал приглядывать и обыскивать в доме. Надобно вам сказать, что старуха во всем мне верила: уйдет, бывало, и оставит на мои руки свой домишка со всею рухлядью. Вот однажды, когда она уходила надолго, я давай шарить да искать по всей избе. В переднем углу, под липовою лавкою, стоял сундук с платьем и другим скарбом; веря моей совести, старушка ушла, не замкнув его. Я выдвинул

его, пересмотрел в нем все до последней нитки; ничего не было в нем такого, над чем бы можно закусить губы и посомниться. Я уже начал его вдвигать, как вдруг сундук, став на свое место, стукнул обо что-то так громко, что гул пошел по комнате. Я опять его отодвинул; ощупал руками место — там были доски; я разобрал их; под досками врыт был в землю медный котел ведра в два, а в котле, снизу доверху, все серебряные деньги, и крупные, и мелкие, начиная от крестовиков до старинных копеечек. У меня, сказать правду, глаза распрыгались на такое богатство; только, во-первых, от самого детства никогда рука моя не поднималась на чужое добро; а во-вторых, знал ли я, где и кто чеканил все эти круглевики? Может быть — бродило тогда у меня в голове — если я до них дотронусь, то они рассыплются золою у меня в руке. Я убрал все по-прежнему, поставил сундук на свое место и дожидался старухи как ни в чем не бывало.

За ужином я вздумал от нее самой вывести правду, хоть обиняками. Для этого я завел сперва речь о ее сыне; старуха моя расплакалась горькими слезами и призналась,

что положила на себя обещание всякого военного человека, которого бог заведет к ней, поить, кормить и покоить, как родного сына. «От этого, — прибавила она, — верно, и моему сынку будет лучше на чужой стороне, а если бог послал по его душу, легче в сырой земле. Сам ты видишь, служивый, твердо ли я держу свое обещание». Такие старухины речи и меня чуть не до слез разжалобили; я почти уже каялся в своих подозрениях, однако ж все хотел допытаться, отчего она разбогатела. «Мне сказывали, бабушка, ты прежде была в нужде и горе, — молвил я, — расскажи мне, как тебя бог наделил своею милостию?» Старуха смутилась и призадумалась от моего вопроса, однако ж ненадолго; помолчав минуты с две, рассказала она мне все дело таким порядком:

— Жила я, сынку, как ты уже слышал, в горе и бедности, бродила по миру и питалась подаянием. Хлеб милостынный не горек, но труден; ноги у меня были изъязвлены и почти не служили от mnogой ходьбы и усталости. Однажды я сделалась нездорова и осталась дома; запасу было у меня дни на три, так я и не боялась, что умру с голоду. Тогда была



поздняя осень; в долгий вечер, зажегши лучину, сидела я и чинила ветхое свое лохмотье. Вдруг откуда ни возмись белая курица с светлыми глазами, ходит у меня по полу и поклохтывает. Я удивилась; у меня не было в заводе ни кур, ни другой какой живности; соседние тоже не могли забрести: им нечем было бы у меня поживиться. Курица обошла трижды кругом по хате и мигом пропала из виду. Мне стало жутко; я перекрестилась, сотворила молитву и думала, что мне так помешалось. Когда же легла спать, мне приснился старичок, низенький, дряхлый и седенький, с длинною, белою бородою и в белой свите. Он мне сказал: «Раба божия! тебе дается счастье в руки, умей его захватить». И с этими словами как не бывал; только легкое облачко, вьючись, понеслось кверху. На другой вечер, и в ту же пору, опять курица трижды прошлась кругом по хате и проклохталась, и также исчезла; я заметила только, что она ушла в передний угол. Ночью тот же старичок явился мне снова и сказал мне: «Раба божия! эй, не упusti своего счастья; будешь на себя плакаться, да поздно. Еще однажды толь-

ко ему суждено тебе явиться». Я осмелилась и спросила его: «Скажи, мой отец, как же мне добыть это счастье?» — «Возьми палку, — отвечал старик, — и когда оно покажется тебе снова, то помни: на третьем его обходе вкрухаты ударь по нем, да меть по самому гребню; а после живи да поживай, славь бога и делай добро». Проснувшись утром, я нетерпеливо ждала, чтобы день прошел поскорее, а между тем припоминала и твердила слова старика. Вот наступил и вечер; я взяла в руки палку и глаз не отводила от пола; вдруг выбежала моя курица и поскакала по хате; она была крупнее прежнего и клохтала чаще и громче; высокий гребень на ней светился, а глаза горели, как уголья. Положив на себя крестное знамение, чтобы, какова не мера, не поддаться вражьему искушению, я подняла палку и стерегла курицу на третьем обороте; лишь только она поравнялась со мною, я ударила ее изо всей силы вдоль головы, по самому гребню; курицы не стало, а передо мною рассыпались крупные и мелкие серебряные деньги...

— Все это так, — молвил майор, перервав повесть капрала, — да дело у нас идет не о та-

ком кладе, который сам является, а о таком, который надобно отыскивать под землю.

— За мною дело не станет, ваше высокоблагородие; вся сила в том, как положен клад, с заговором или без заговора?

— Почему ж я это знаю? А надобно готовым быть на всякий случай. Так положим, что наш клад заговорили, когда зарывали в землю.

— И тут я могу пригодиться вашему высокоблагородию. Лишь была бы у нас разрыв-трава или папоротниковый цвет.

— Вот то-то и беда, что нет ни того, ни другого. Скажи мне по крайней мере, где водится разрыв-трава и как добывается папоротниковый цвет?

— Разрыв-трава водится на топких болотах, и человеку самому никак не найти ее, потому что к ней нет следа и примет ее не отличишь от всякого другого зелья. Надобно найти гнездо кукушки в дупле, о той поре как она выведет детей, и забить дупло наглухо деревянным клином, после притаиться в засаде и ждать, когда прилетит кукушка. Нашедши детенышей своих взаперти, она пустится на бо-

лото, отыщет разрыв-траву и принесет в своем носике; чуть приложит она траву к дуплу, клин выскочит вон, как будто вышибен обухом; в это время надобно стрелять в кукушку, иначе она проглотит траву, чтоб люди ее не подняли. Папоротниковый цвет добывать еще труднее; он цветет в одну только пору: летом, под Иванов день, в глухую полночь. Если ваше высокоблагородие не поскучаете, я расскажу вам, что слышал от одного сослуживца, гусара, который сам, с отцом своим и братом, когда-то искал этого цвета в молодости, еще до службы.

— Рассказывай смело; я рад тебя слушать хоть до рассвета.

— Помните ли, ваше высокоблагородие, нашего полку гусара, Ивана Прытченка? Он был лихой детина: высок ростом, статен, силен и смел, — хоть на медведя готов один идти... Смелостью и в могилу пошел. В первую Турецкую войну, помнится, под Браиловым, один басурманский наездник выскочил из крепости, вихрем пронесся по нашему фронту, выстрелил из обоих пистолетов и стал под крепостными стенами; там, беснуясь на сво-

ем аргамаке, браня нас и подразнивая, он вызывал молодца переведаться. Прытченко стоял подле меня; видно было, что его взорвало басурманово самохвальство: он горячил своего коня и вертелся в седле, как на проволоке. Вдруг, оборотясь ко мне, он вскрикнул: «Благослови, товарищ», — и не успел я дать ответ, уж вижу, наш Прытченко летит стрелою на басурмана, доскакал и давай саблею крошить неверного. С третьего удара, смотрим — турок как сноп на землю, а удалый наш товарищ, схватя его коня за повод, оборотился назад... и в то же время — паф! Турецкие собаки пустили в него ружейный огонь со стены. Добрый конь вынес его из этого адского огня, добежал до фронта, хотел стать на место — и упал. Тогда только мы заприметили, что конь и ездок были изранены. Я соскочил с седла, хотел подать помощь бедному товарищу и вынести его за фронт... Поздно! он уже выбыл из списка! Славный, храбрый был гусар и добрый товарищ: последними крохами, бывало, поделится с своим братом! Упокой, господи, его душу!..

Капрал вздохнул и поднял глаза кверху.

Голос его изменился к концу рассказа, и блеск свечи бегло мелькнул на влажных его ресницах. Старый служивый отер глаза, хлебнул глоток своей порции и продолжал:

— Простите, ваше высокоблагородие! Я для того только припомнил об этом случае, чтобы показать вам, что такой молодец не струсил бы от пустяков. Вот что он мне рассказывал однажды в тот же поход, и незадолго перед своею смертью, когда мы, отставши ночью вдвоем от товарищей, тихим шагом ехали с фуражировки. Ночь была свежа и темна, хоть глаз выколи, нам нечем было согреться и отвести душу: походные наши сулеи были высаны до капельки; притом же нас холодили и нерадостные думы: вот как-нибудь наткнемся на турецкую засаду. Мне не то чтобы страшно, а было жутко; я промолвился об этом Прытченкову. «Товарищ! — отвечал он. — Таковую ли ночь я помню с молодых своих лет? Чего нам тут бояться? Турецких собак? Бристые их головы и бока их басурманские отзовутся под нашими саблями: а там, где не видишь и не зацепишь неприятеля и где он вьется у тебя над головою, свищет в уши и пу-

гает из-под земли и сверху криками и гарканьем, — вот там-то настоящий страх, и я его изведаль на своем веку». — «Расскажи мне об этом, товарищ, чтобы скоротать нам дорогу», — молвил я. «Хорошо, — отвечал он, — слушай же. Нас было трое у отца и матери, три сына, как ясные соколы, молодец к молодцу: я был меньший. Отец наш был когда-то человек зажиточный: посылавал десять пар волов с чумаками за солью и за рыбою; хлеба в скирдах и в закромах, вина в амбарах и другого прочего было у него столько, что весь бы наш полк было чем прокормить в круглый год; лошадей целый табун, а овец, бывало, рассыплется у нас на пастбище — видимо-невидимо. Да, знать, за какие тяжкие отцовские или дедовские грехи было на нас божеское пощущение: в один год как метлоу все вымело. Крымские татары отбили у нас весь обоз: и волы, и соль, и рыба — все там село; чумаки наши пришли домой с одними багами. В летнюю пору, когда все мы ночевали в поле на сенокосе, вдруг набежали гайдамаки на наше село, заграбили у отца моего все деньги и домашнюю рухлядь и увели всех

лошадей; в ту же осень и дом наш, со всем добром, с житницами и хлебом в овинах и скирдах, сгорел дотла, так что мы остались только в том, в чем успели выскочить. На беду еще случился скотский падеж, и изо всего нашего рогатого скота не осталось и десятой доли. Горевал мой отец на старости, сделавшись вдруг из самого богатого обывателя чуть не нищим; кое-как, сбыв за бесценок остальную свой скот и большую часть поля, построил он домишке и в нем, что называется, бился как рыба об лед. На свете таково: кто раз приучился к приволью и роскоши, тому трудно в целый век от них отвыкнуть; мой отец беспрестанно вспоминал о прошлом своем житье, тосковал и жаловался, даже говаривал, что за один день такого житья отдал бы остального своего полвека. Часто отец Герасим, приходский наш священник, который один из целой деревни не оставил нас при бедности, прихаживал к моему отцу, уговаривал его не печалиться и толковал ему, что богатство — прах. Тут обыкновенно он рассказывал нам об одном святом человеке, который, как и мой отец, лишился всего своего



несметного богатства; и, мало того, похоронил всех детей и сам был болен какою-то тяжкою немощью; но при всякой новой беде не роптал и еще благословлял имя божие. Отец слушал все это, и у него от сердца отлегалось, когда же, бывало, священник долго не придет, то отец мой снова разгорюется и опять за прежнее: все ему и спалось и виделось пожить так, как до черного своего года.

Вот прошел у нас в околотке слух об одном славном знахаре, который жил от нас верст за шестьдесят, одинок, в глуши, среди темного леса. Рассказывали, что он заговаривал змей, огонь и воду, лечил от всякой порчи, от укушения бешеных собак и даже прогонял нечистого духа; ну, словом, каждую людскую беду как рукой снимал. Отец мой тихонько подговорил меня, и, не сказавшись никому, мы отправились вдвоем к знахарю, потому что отец боялся идти к нему один. Долго ли, коротко ли шли мы, не стану рассказывать; скажу только, что под конец отыскали в лесу узкую тропинку между чащею и валежником, пустились по ней и пришли к высокому плетневому забору, которым обнесена была хата

знахаря. Мы постучались у ворот; вдруг раздался лай, и вой, и рев; спустя мало страшный старик отпер нам ворота. Он был высокого роста, широкоплеч, с большою головою, с виду бодр, хотя и очень стар; длинные, густые волосы с проседью сбились у него войлоком на голове и в бороде; сквозь распахнутую рубашку видна была косматая грудь; в руках у него была толстая суковатая дубина. Взгляд у него был суров и дик; под широкими, навислыми бровями бегали и сверкали большие черные глаза. Они пятились изо лба, как у вола, и страшно было видеть, как он ворочал белками, по которым вдоль и впоперек бороздили кровавые жилы. «Что надобно?» — отрывисто проворчал он сиповатым голосом, и лай, и вой, и рев раздались сильнее прежнего. Я вздрогнул и обозрелся кругом: смотрю, по одну сторону ворот прикована пребольшая черная собака, а по другую — черный медведь, такой ужасный, каких я сроду не видывал. Старик грозно на них прикрикнул, и медведь, глухо мурча, попятился в берлогу, а собака, с визгом поджавши хвост, поползла в свою конуру. Отец мой, немного оправясь от

страха, поклонился старику и сказал, что хочет поговорить с ним о деле. «Так пойдем в хату!» — пробормотал знахарь сквозь зубы и пошел вперед. Мы вошли в хату; отец мой, помолясь богу, поставил на стол, покрытый скатертью, хлеб и соль, старик тотчас взял нож, прошептал, кажется, молитву и нарезал на верхней коре хлеба большой крест. «Садитесь!» — сказал нам старик и сам сел в углу, на верхнее место, а мы в конце стола; перед колдуном лежала большая черная книга: видно было, что она очень ветха, хотя все листы в ней были целы и нисколько не истерты. Старик развернул книгу и смотрел в нее. В это время мой отец начал ему рассказывать свою беду, старик не дал ему закончить. «На что лишние слова? — проворчал он отрывисто. — Эта книга мне лучше рассказала все дело; ты был богат, обеднел и хочешь снова разбогатеть. Сказать тебе; „Трудись“, — ты молвишь в ответ, что века твоего не станет. Ну так ищи папоротникова цвета». — «Что же мне прибудет, дедушка, если я отыщу папоротниковый цвет?» — «Носи его в ладонке, на груди: тогда все клады и все подземные богат-

ства на том месте, где будешь стоять или ходить, будут перед тобой как на ладони; а захочешь их взять, приложи только папоротниковый цвет — сами дадутся. Все пойдет тебе в руку, и будешь богаче прежнего». — «Научи же меня, дедушка, как добывать папоротниковый цвет?» — «Некогда мне с тобою толковать: в этот миг дошла до меня весть, что ко мне едут гости, богатый купец с женою. Их испортили: муж воет волком, а жена кричит кукушкой, и им никак не должно с вами здесь встретиться. Ступайте отсюда и по дороге зайдите в Трирецкий хутор: там у первого встречного спросите о бесноватой девушке, ее всякий знает. Она вас научит что делать; а я теперь же пошлю к нему приказ». Сказав это, он взял лоскуток бумаги, написал на нем что-то острым концом ножа и положил на открытое окно. День был тихий и красный, солнце пекло, и ни листок не шелохнулся; но только старик пошевелил губами — вдруг набежало облачко, закрутился вихорь, завыл, засвистал и сыпал искры, подхватил бумажку и умчал ее невесть куда. И мигом облачка как не бывало, на дворе стало ясно и тихо по-прежнему.

му, ни листок на дереве не шелохнулся, только меня с отцом дрожь колотила, как в лихорадке. Поскорее положи полтинник на стол колдуну и отдав ему по поклону, мы без оглядки вон из дверей и за ворота: медведь заревел и собака завыла; а мы, не помня себя, бегом пустились по старому следу и не прежде остановились, как выбравшись из леса, в котором жил страшный старик. Напугавшись тем, что видели у колдуна, мы и не думали заходить в хутор: нас и без того мороз по коже драл от бесовщины, и рады-рады мы были, когда подобру-поздорову добрались до дому. Однако же дня через три отец сказал мне: «Иван! умный человек ничего не делает вполовину: у нас стало духу на одно, попытаемся ж и на другое; ходили мы к колдуну, пойдем же и к бесноватой. Ты самый смелый из моих сыновей; ну-ка, благословясь, пустимся опять в дорогу». Стыдно и совестно мне было отказаться, хотя правду сказать, и не было охоты идти на новую попытку. Мы пришли в хутор, где нам тотчас указали дом бесноватой. Входим. На широкой лавке лежит девушка лет двадцати, худая, бледная

как смерть; около ее сидят родные и три или четыре старухи посторонних; она, казалось, спала или дремала от сильного утомления. Нам сказали, что она уже три дня нас ждала, тосковала, металась, как будто бы пришел ее последний час; теперь же немного поуспокоилась: видно, злой дух на время ее оставил. Вдруг она встрепенулась, вскочила и с криком и бранью бросилась на моего отца. Глаза ее страшно крутились и сверкали, губы посинели и дрожали, и в судорожном ее коверкании заметно было крайнее бешенство. Если бы я не успел схватить ее за руки и несколько человек из семьи не подоспело ко мне на подмогу, то, верно бы, она задушила отца моего, как цыпленка. Заскрежетав зубами, она кричала ему не своим голосом: «Гнусный червь! ты довел меня до муки: по твоей милости, я не мог до сих пор выполнить данного мне приказания, и оттого трое суток палило меня огнем нестерпимым. Слушай же скорее и убираться, пока я не свернул тебе шею: под Иванов день, около полуночи, ступай сам-третий в лес, в самую глушь. Чтоб вы ни видели, ни слышали — будьте как без глаз и без ушей:

бегите бегом вперед, не оглядывайтесь назад, не слушайте ничего и не откликайтесь на зов. Вас станут манить — не глядите; вам станут грозить — не робейте: все вперед, да вперед, пока не увидите, что в глуши светится; тогда один из вас должен бежать прямо на это светлое, рвануть изо всей силы и крепко зажать его в руке. После все вы трое должны бежать назад, так же не останавливаясь, не оглядываясь и не откликаясь. Теперь вон отсюда: желаю вам всем троим сломить там головы!» Девушка упала без чувств на пол, а мы, не дожидаясь другого грозного привета, дали, что могли, ее родителям и поскорее отправились домой. Все это было на зеленой неделе; до Иванова дня срок оставался короткий; отец мой часто призадумывался; меня также как змея сосала за сердце: страшно было и подумать! Вот настал и Купалов день Отец мой постился с самого утра, у меня тоже каждый кусок останавливался в горле, как камень. К вечеру отец сказал домашним, что пойдет ночевать в поле и стеречь лошадей, которые выгнаны были на пастбище; взял меня, старшего моего брата, и, когда смерклось, мы втроем отпра-

вились. Вышед за селение, мы залегли под плетнем и ждали полуночи. День перед тем был жаркий, и даже вечером было душно, однако ж меня мороз подирал по коже. Здесь только, и то потихоньку, почти что шепотом, отец мой рассказал брату, куда и за чем мы шли. Ему, кажется, стало не легче моего от этого рассказа: он поминутно приподнимал голову, оглядывался и прислушивался. В это время на поляне за селением вдруг запылали костры; к нам доносились напевы купаловых песен, и видно было, как черные тени мелькали над кострами: то были молодые парни и девушки, которые праздновали Купалов вечер и прыгали через огонь. Эти протяжные и заунывные напевы отзывались каким-то жалобным завываньем у нас в ушах и холодили мне душу, как будто бы они вещевали нам что-то недоброе. Вот напевы стихли, костры погасли, и скоро в селении не слышно стало никакого шума. «Теперь пора!» — вскрикнул мой отец, вскочил — и мы за ним. Мы пошли к лесу. Ночь становилась темнее и темнее; казалось, черные тучи налегли по всему околотку и как будто бы густой пар туманил нам



глаза и отсекал у нас дорогу. И вот мы добрались, почти ощупью, до опушки леса, кое-как отыскали глухую тропинку и пустились по ней. Только что мы вступили в лес — вдруг поднялись и крик, и вой, и рев, и свисты: то будто гром прокатывался по лесу, то рассыпной грохот раздавался из конца в конец, то слышался детский крик и плач, то глухие, отрывистые стоны, словно человека перед смертным часом, то протяжный, зычный визг, словно тысячи пил бегали и резали лес на пильной мельнице. Чем далее шли мы по лесу, тем слышнее становились все эти крики, и стоны, и визг, и свисты; мало-помалу смешались они в нескладный шум, который поминутно становился громче и громче, слился в один гул, и гул этот, нарастая, перешел в непрерывный, резкий рев, от которого было больно ушам и кружилась голова. В глазах у нас то мелькали светлые полосы, то как будто с неба сыпались звездочки, то вдруг яркая искра светилась вдали, неслась к нам ближе и ближе, росла больше и больше, бросали лучи в разные стороны и, наконец, почти перед нами, разлеталась как дым. У нас

от страха занимало дух, по всему телу пробежали мурашки; мы щурили глаза, зажимали уши... Все напрасно! Гул или рев, становясь все сильнее и сильнее, вдруг зарокотал у нас в слухе с таким треском, как будто бы тысячи громов, тысячи пушек и тысячи тысяч барабанов и труб приударили вместе... Земля под нами ходенем заходила, деревья зашатались и чуть не попадали вверх кореньями... Признаюсь, мы не выдержали, страх перемог: схватясь за руки, мы повернули назад, и давай бог ноги из лесу! Над нами все ревело и трещало, и когда мы выбежали на поле, то за нами по всему лесу раздался такой страшный хохот, что даже и теперь у меня становятся от него волосы дыбом. Мы попадали на землю. Что дальше с нами было — не помню и не знаю; когда же я очнулся, то увидел, что утренняя заря уже занималась; отец и брат лежали подле меня, в поле, близ опушки леса. Я перекрестился и встал; подхожу к отцу, зову его — нет ответа; беру за руки — они окостенели; за голову — она холодна и тяжела как свинец. Я взвыл и бросился к брату, начал его поворачивать и бить по ладоням; насилу он

опомнился, взглянул на меня мутными глазами и, как будто не проспавшись от хмеля, молчал и сидел на одном месте не двигаясь. Трудно мне было растолковать ему, что бог послал по душу нашего отца и что нам должно перенести его в селение, если не хотим оставить его тело в добычу волкам...>

— Так они не отыскивали папоротникова цветку? — подхватил нетерпеливый майор, перебив рассказ словоохотного капрала.

— Нет, ваше высокоблагородие; Прытченко мне рассказывал, что с тех пор ему и в ум не приходило искать кладов, особенно после того, как отец Герасим, на похоронах отца его, говорил мирянам поучение, в котором доказывал, что старый Прытченко сам наискался на смерть, послушавшись козней лукавого; и что бог всегда попускает наказания на людей, которые добиваются того, что им не суждено от его святой воли. Скоро молодого Прытченка взяли в солдаты, и каждый год, по совету отца Герасима, он ходил в Иванов день к обедне, молился усердно за упокой души своего отца и постился целые сутки за старые свои грехи.

— Поэтому, капрал, нечего и думать о папоротниковом цвете, — сказал майор, — мне жизнь еще не совсем надоела и нет охоты набиваться на беду или копить грехи под старость.

— Точно так, ваше высокоблагородие! Злой дух иногда подольстится к нам, как лукавый переметчик: сулит невесть что, и победу и добычу, а послушайся его — глядишь, и наведет на скрытую засаду; тут и попал, как кур во щи! Между этими двумя врагами только и разницы, что лживый переметчик погубит одно наше тело, а проклятый бес с одного хватка подцепит и тело и душу.

— Правда твоя, капрал, правда; так оставим эти затеи. Может быть, наши клады положены без заговора и сами нам дадутся без дальних хлопот. После опять поговорим об этом. Прощай! Утро мудренее вечера.

Капрал допил свою порцию, встал, выпрямился снова, отдал честь по-военному и, проговоря: «Добрая ночь вашему высокоблагородию!», побрел в свою светлицу. Там, утомленный длинными своими рассказами и согретый нескучною порцией, скоро уснул он та-

ким сном, каким поэты усыпляют чистую совесть, хотя, кажется, сей олицетворенной добродетели и должно б было спать очень чутко.

Майор также почувствовал благотворное действие рассказов капраловых: давно уже он не спал так спокойно, как в эту ночь. Не знаю, что виделось капралу: он никогда о том не рассказывал; но майора убаюкивали разные сновидения, и все они предвещали ему что-то хорошее. То в руках у него был золотой цветок, от которого все, на что майор ни взглядывал, превращалось в груды золота; то стоял он у решетчатой двери какого-то подземелья, сквозь которую видны были несметные сокровища: ему стоило только просунуть руку, чтобы черпать оттуда полными горстями. То снова был он на охоте: псаря его, со стаей борзых и гончих, гнались за белым зайцем; но майор, на лихом коне своем, всех опередил, и псарей, и борзых, и гончих; уже он налегал на зайца, уже гнался за ним по пятам; вот настиг, вот замахнулся арапником, ударил — и заяц рассыпался перед ним полновесными рублевиками. Такие сны целую ночь беспрестанно сменялись в воображении майоровом,

и когда он проснулся поутру, то был довольнее и веселее обыкновенного, к великой радости доброй Ганнуси.

Зима проходила; майор в это время собирал все возможные сказки о кладах, соображал, сличал их и составлял будущих своих действий против сатаны и его когорты; исчислял в уме богатые свои добычи, покупал поместье за поместьем и распоряжал доходами. Ганнусю выдавал он то за какого-нибудь миллионщика, то за пышного вельможу; сыновей выводил в чины и в знать, женил на княжнах и графинях и таким образом родился с самыми знатными домами в русском царстве. Эти воздушные замки, за неимением лучшего дела, по крайней мере, занимали доброго майора, отвлекали его думы от грустной существенности и веселили его в чаянии будущих благ.

Наступил март месяц, снег от самой масляницы начинал уже таять, а на последних неделях великого поста полились с гор и высоких мест быстрые потоки мутной воды, увлекавшие с собою чернозем, глину и песок. Речки и ручьи порывисто понеслись в бере-

гах своих от прибылой воды; мосты и плотины во многих местах были уже снесены или размыты. Деревушка или, правильнее сказать, хутор майоров стоял при реке, на которой устроена была мельница, приносявшая помещику посильный доход. Плотина сей мельницы покамест на этот раз уцелела, более по счастью или от того, что напор воды в реке не был еще во всей своей силе, нежели по собственной прочности; ибо сельский механик, строивший ее, небольшой был мастер своего дела, и редкий год половодье проходило, не размыв части этой плотины, или, как говорится в Малороссии, не сделав прорвы. В вербное воскресенье набожная Ганнуся поехала в отцовской тарадайке\* к заутрене в казенное село за пять верст от их хутора: ближе того не было церкви в их околотке. Дорога, ведущая из хутора в селение, лежала через плотину. Чтобы застать начало заутрени, Ганнуся отправилась в путь еще до рассвета; переезжая плотину, она почувствовала некоторый страх: плотина дрожала на зыбком своем основании, как будто бы ее подмывало водою. Дочь майорова решилась, однако ж, ехать да-

лее, поспела к первой благовести, простояла всю заутреню с потупленными в землю глазами и молилась очень усердно. К концу заутрени, когда должно было идти для получения освященной вербы, она заметила, что перед нею шел человек в военном мундире, разводил народ в обе стороны и очищал ей дорогу. Дошед до того места, где стоял священник с вербами, он сам посторонился, поклонился ей и учтиво подал знак идти вперед. Тут только решилась она взглянуть на незнакомца: это был молодой офицер; лицо у него было бледно, но очень приятно и выразительно; большие, голубые глаза его горели огнем молодости и отваги; ростом он был высок и статен, левая рука его покоилась на черном шелковом платке, и от беглого взора молодой девушки не ускользнуло и то, что рукав мундира около сей руки был разрезан и завязан ленточками. Скромно, даже застенчиво поклонясь ему, Ганнуся покраснелась и снова опустила черные свои ресницы к помосту; несколько секунд оставалась она в этом положении; но мысль, что на нее все смотрят, а особливо молодой офицер, вывела ее из за-



бывчивости: она подошла к священнику, приняла благословение и вербу и снова стала на прежнее свое место. Офицер, подойдя вслед за нею к вербам, отступил потом в ту сторону, где стояла Ганнуся, остановился в некотором от нее расстоянии и часто на нее посматривал. Но девушка не смела более на него взглянуть: она чувствовала, что лицо ее горело, и потому она почти не сводила глаз с своей вербы, ощипывала на ней веточки, которые, видно, казались ей лишними, или молилась еще усерднее прежнего и по временам вздыхала — конечно, не о грехах своих. Заутреня кончилась скоро, слишком скоро для Ганнуся, а может быть, и еще скорее для молодого офицера. При выходе из церкви он снова явился подле дочери майоровой, сводил ее по ступеням паперти и посадил в тарадайку. Лошади тронулись почти в тот же миг; Ганнуся едва успела поклоном отблагодарить услужливого офицера. Проехав немного, она, по какому-то невольному движению, мельком обернулась назад: офицер все стоял на том же месте и смотрел вслед за нею. Весьма естественное и даже простительное самолюбие

шепнуло ей, что она приглянулась молодому воину; и почему же не так? Она, как и все девушки ее лет, находила себя по крайней мере не дурною; а складное ее зеркальце, в часы одиноких, безмолвных ее с ним совещаний, часто доказывало ей весьма утвердительным образом, что она красавица, и на этот раз нельзя сказать, чтобы зеркало льстило бессовестно. Ганнусе было осмнадцать лет; при среднем росте, она имела весьма стройный стан: арабийский поэт сравнил бы ее с юною, пустынною пальмой. Правильные черты лица оживлялись в ней тем свежим, здоровым румянцем, который сообщается только чистым воздухом полей, умеренным движением и простым, безмятежным образом жизни, но которого не в силах заменить все затеи моды, все пособия искусства. Черные, большие глаза, в которых тихо светился огонь чувствительности, и черные, лоснящиеся волосы прекрасно оттеняли белизну лица и шеи; а скромность и стыдливость — лучшее ожерелье девиц, по русской пословице — еще более возвышали прелести этой сельской красавицы. Из всех знакомых майора сердце Ганнуси-

но ни за кого еще ей не говорило: теперь оно впервые забилося сильнее обыкновенного. Что, если этот молодой офицер, пригожий и вежливый, недаром так часто и пристально на нее посматривал? Что, если в нем бог посылает ей суженого? Такие и другие мечты (а кто может перечесть, сколько их промелькнет в голове молодой девушки?) занимали Ганнусю во всю дорогу, до самой плотины отцовского хутора.

Пасмурное утро уже сменило сумрак ночной, когда дочь Майорова подъехала к плотине; воздух был густ и влажен; дымчатые облака застилали лазурь небесную. Человек с десять крестьян стояли на берегу и с малороссийскою беззаботливостью смотрели, как вода подымала плотину, протачивалась сквозь фашинник, отрывала и выносила целые глыбы земли. За плотинной низовье мельницы было почти совсем затоплено водою, которая с шумом и ревом неслась в новых своих берегах, сносила плетни и крутилась подобно водовороту около кустов ивняка, росших по лугу. Мельничные колеса остановились, а плотина дрожала еще сильнее прежнего: видно

было, как она поднималась и опускалась.

— Не опасно ли переезжать? — спросил кучер ганнусин у крестьян.

— А бог знает! — был равнодушный их ответ.

Из предосторожности Ганнуса сошла с тардайки и велела кучеру ехать вперед. Сама она хотела идти пешком, рассчитывая, что где повозка с парюю лошадей может проехать, там ей самой безопасно будет перейти. Кучер, не дожидаясь вторичного приказа, погнал лошадей и скоро очутился на другом конце плотины.

Перекрестясь, Ганнуса пошла вслед за повозкой, ноги ее подгибались, сердце трепетало; однако ж она вооружилась решимостью и шла далее. Но едва ступила она на самое шаткое место — вдруг плотина под нею затрещала, поднялась вверх и стала почти боком. Ганнуса упала на колена. Громкий вопль крестьян с берега поздно известил ее об опасности. Снова раздался треск, снова вскрикнули крестьяне — и та часть плотины, где находилась тогда бедная девушка, была сорвана и снесена вниз. «Кто в бога верует, спасайте!» —

закричали крестьяне и побежали вниз по течению, куда водою снесло несчастную Ганну-сю. Кучер, ожидавший ее перехода, поскакал в господский дом и по дороге кричал всем встречным, что барышня их утонула и чтобы все шли вытаскивать ее из воды. Не прошло десяти минут — уже на правый берег реки, где стоял хутор майоров, стеклась толпа крестьян, жен их и детей. Мужчины с беспокойством бегали взад и вперед по берегу и смотрели в воду, женщины ломали себе руки и с плачем выкрикивали свои жалобы о потере доброй своей барышни; а мягкосердечные дети, видя матерей своих в горе, плакали вслед за ними.

Между тем крестьяне, бежавшие по левому берегу, заметили, что в понятых водою ивовых кустах как будто бы что-то зацепилось; но вода неслась так быстро, так порывисто, что никто из них не отважился пуститься вплавь. «Лодку, лодку!» — кричали они на другой берег; но рев воды, с напором стремившейся сквозь промоину плотины, заглушал их голос.

— На что лодку? что случилось? — спросил

их некто повелительным голосом.

Крестьяне оглянулись и увидели, что подле них остановился человек, верхом на лошади и в офицерском мундире.

— Там в волнах наша барышня, дочь майора...

— Смотрите, смотрите! — вскрикнул один молодой крестьянин. — Вот около ивовых кустов всплыло наверх что-то белое... Это платок, это платок нашей барышни!

— Лодку, лодку! — снова закричали крестьяне; но офицер, не дожидаясь более, вдруг пришпорил своего донского, коня, направил его прямо в воду, и послушный, бодрый конь бросился с берега, забил ногами в воде, которая заклокотала и запенилась вокруг него. Крестьяне, пораженные такою неожиданною отвагой, снова вскрикнули; им отвечали таким же криком с другого берега. Долго бился офицер в волнах, долго боролся он с стремлением воды, которая сносила его вниз по течению; наконец сильный конь, покорный поводу и привычный к таким переправам, доплыл до ивовых кустов. Офицер наклонился, опустил правую свою руку в воду, но не нашел

ничего; три раза, несмотря на все опасности, объезжал он вокруг кустов, искал в разных местах: но все попытки его были напрасны. Решась на последнее средство, он привязал наскоро повод к своей португее, бросился с коня вниз и исчез под водою. Крестьяне думали, что он погиб; конь бился, рвался и силился выплыть. В эту минуту майор, бледный как смерть и с отчаянием в лице, явился на берегу, поддерживаемый своими хлопцами. Вдруг увидели, что офицер, хватаясь за ветви ив, всплыл на поверхность; повязка, на которой носил он левую свою руку, поддерживала недвижимое, бездыханное тело Ганнуси. Вот он хватается рукою за повод, тащит к себе коня, силится взлезть на него; но тяжелая ноша тянет его ко дну... Вот он уцепился за гриву, всплыл снова, быстрым движением вскинул ношу свою на седло и сам успел вскочить на него... Вот уже он, поддерживая лвою, больною рукою голову Ганнуси у своей груди, правит к тому берегу, где стоит майор; конь, из последних сил, бьется и борется с волнами... Расстояние здесь не так далеко: авось-либо спасутся... Вот доплыл до берега, вот ис-

томленный конь хватается передними копытами за вязкую, глинистую землю, уцепился, скакнул — и все бросились к нему навстречу. Майор упал на колена; женщины, видя посиленное лицо и заостренные члены своей барышни, которой влажные волосы в беспорядке были разметаны по девственным ее грудям, завывали громче прежнего. Но офицер, казалось, ничего не видел и не понимал вокруг себя; он только спросил слабым голосом: «Куда дорога?» — и погнал коня своего к дому майорову, все еще держа перед собою Ганнуся в том самом положении, в каком вынес ее из воды.

От движения во время сего переезда вода хлынула из утопшей; но охладелое тело ее все еще не показывало ни малейших признаков жизни. Сбежавшиеся женщины наполняли весь дом плачем и рыданием; майор стоял, как громом пораженный, сложа руки и устремля неподвижные глаза на дочь свою. Один капрал соблюл присутствие духа: он вывел майора, велел выйти из комнаты всем лишним и, оставя утопшую на руках женщин, дал им наставление, каким образом подавать ей по-



мощь. По совету капрала, с нее сняли мокрое платье и укутали все тело шубами. В то же время старый служивый разослал хлопцев за лекарями и за войсковым писарем. Добрый Спирид Гордеевич, узнав о несчастье своего соседа, тотчас прискакал к нему, утешал его, уговаривал и наконец успел поселить в нем надежду. Старания двух лекарей еще более подкрепили сию надежду: у больной оказывался пульс и замечено было легкое дыхание. Мало-помалу дыхание становилось ощутительнее, пульс начинал биться сильнее, и в теле пробуждалась теплота. Все признаки жизни постепенно оказывались, но лекаря опасались, чтобы больной, от потрясения всех жизненных сил, не приключилась горячка. Наконец Ганнуся открыла глаза, но скоро опять их закрыла, ощущения жизни медленно и еще неявственно в ней развивались.

Через несколько уже часов она совсем очувствовала. Здесь только майор, перейдя от сильной горести к безвременной радости, вспомнил об избавителе своей дочери. Он расспрашивал всех домашних своих об офицере, и одна из женщин сказала ему, что незнако-

мый господин, отдав их барышню на руки им и капралу, стоял несколько минут молча у изголовья Ганнусина и печально смотрел на неподвижное, посинелое лицо девушки до тех пор, когда капрал выслал всех мужчин из комнаты Люди, бывшие в это время на дворе, сказывали, что офицер торопливо выбежал из комнат, бросился на своего коня и пустился со двора так скоро, как только мог бежать утомленный конь его: иной бы подумал, прибавили крестьяне, что он боялся за собой погони

Стараниями врачей Ганнуся чувствовала себя гораздо лучше на другой день поутру, хотя жар и слабость во всем теле еще не вовсе успокаивали окружающих ее. Однако ж отец ее, пришедший в себя от первых движений страха и участливый своею надеждою, казалось, не предвидел более никакой опасности. Он радовался, как ребенок, которого нога соскользнула было в глубокий колодец и который, удачно спасшись от смерти, все еще стоит на срубе колодца и весело смотрит на темную, гладкую поверхность воды. Сидя у постели Ганнусиной вместе с врачами и добрым

своим соседом Спиридом Гордеевичем, майор разговаривал с ними о минувшем несчастье, когда один из хлопцев пришел ему доложить, что в передней дожидался человек, одетый денщиком и приехавший узнать о здоровье барышни. Майор и войсковый писарь тотчас догадались, что это был посланный от ее издателя. Оба они вышли в переднюю.

— Кто таков твой господин? — спросил нетерпеливый Майор, не дождавшись еще ни слова от посланного.

— Поручик Левчинский, — отвечал сей последний.

— А, знаю, это сын бедной больной вдовы Левчинской, которая живет в маленьком хуторке, в осьми верстах отсюда, не так ли?

— Точно так, ваше высокоблагородие!

— Скажи своему поручику, что я очень, очень благодарю его за спасение моей дочери, которой жизнь для меня дороже моей собственной... Скажи ему это и проси его пожаловать к нам.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Поручик, верно, будет у вас, когда выздоровеет.

— Как, разве он болен?

— Да, со вчерашнего дня, ваше высокоблагородие. Он приехал домой весь мокрый и окостенелый от холода; рана у него на левой руке только что было начала подживать, а теперь снова открылась и разболелась, так что он не может руки приподнять. Всю ночь он не уснул ни на волос: не жаловался и не охал, а только все бредил в жару. Бедная старушка, матушка его, совсем с ног сбилась. А сегодня утром, только что поручик немножко очнулся, тотчас позвал меня и велел скорее скакать сюда и узнать о здоровье барышни.

— Скажи, что дочери моей легче...

— погоди на минуту, друг мой, — сказал денщику войсковый писарь, перебив речь майорову. — Барину твоему нужна помощь; я сейчас еду туда с лекарем. Ты будешь показывать нам дорогу. — И мигом Спирид Гордеевич велел закладывать свою коляску, а сам, вошед в комнату больной, отозвал в сторону одного из лекарей, взяв предосторожность, чтобы не встревожить Ганнусю, и просил его ехать с ним к благородному, отважному воину, который великодушным своим самопожертвованием подвергнул опасности соб-

ственную жизнь. Лекарь охотно согласился оказывать ему все возможные пособия своего искусства.

Они застали Левчинского в сильном жару горячки. Положение молодого человека было гораздо опаснее Ганнусина, и лекарь надеялся только на молодость и крепость сил больного. Мать его, почтенная женщина, старая и хилая, сидя у постели страдальца, горько плакала и печально покачивала головою. «Он не вынесет этой болезни, — твердила она сквозь слезы, — он умрет, мое сокровище... а за ним и я слягу в могилу!»

Предчувствия старушки, к счастью, не сбылись. Твердое сложение сына ее и деятельные пособия врача переломили болезнь почти в самом ее начале; но выздоровление Левчинского было медленно, особливо рука его долго приводила в сомнение лекаря, который не раз видел себя в печальной необходимости лишить больного сей части тела, столь драгоценной для всякого человека, тем более для молодого воина. Наконец, счастливые следствия здоровой, неиспорченной крови и здесь оказали спасительное свое действие: не

скоро, но все-таки рука Левчинского получила прежнее движение, и рана ее совершенно затянулась.

Между тем Ганнуся выздоравливала гораздо скорее. Она уже знала, кто спас ее от неизбежной почти смерти, и с благодарными слезами вспоминала о своем избавителе. Каждый день посылала она наведываться о состоянии его здоровья и нетерпеливо ждала совершенного его выздоровления, чтобы во всей полноте чувства высказать ему благодарность, которую питала к нему в своем сердце... Бедная девушка! Она еще сама не смела взглянуть попристальнее в свое сердце, не смела отдать себе отчета в том, что с благодарностью совокуплялось другое чувство, гораздо нежнейшее... Образ ее избавителя был почти неотлучно в ее воображении, наполнял каждую мысль, каждую мечту ее: то видела она его в церкви, с его благородным, осанливым видом, то снова встречала последний взор его, которым он безмолвно прощался с нею по выходе из церкви. Раз по десяти на день принималась она расспрашивать своих женщин о подробностях своего избавления, и

с лицом, светлевшим какою-то детскою радостью, с каким-то невинным самолюбием думала: «На это он отважился только для меня... для меня одной! Он не жалел своей жизни, бросился в страшный омут, чтоб избавить меня от смерти или хоть раз еще взглянуть на меня мертвую!» Тут живо представлялась ей та минута, когда Левчинский, по одному только ее имени, слышанному от крестьян, понесся без всякого размышления в мутные, клокочущие волны; или та, когда он выносил ее на руках своих из губельной хляби: тогда она видела в нем какое-то существо высшее, которому ни в чем не было препон и которого твердой, решимой воле все уступало, даже самые грозные силы природы. Может быть, невинная, простосердечная дочь майорова не в этих самых выражениях объясняла себе, как Она понимала нравственную силу и подвиг самопожертвования молодого воина; но тем не менее таковы были ее понятия о Левчинском, и мы просим извинения у читателей, что не умели передать сих понятий проще и естественнее. Чтобы сколько-нибудь приблизиться к истине, скажем, что милая

девушка чувствовала почти суеверное уважение к своему избавителю.

Во все время болезни Ганнусиной майор был при ней почти беспрестанно; и если порою отлучался часа на два, особливо когда дочери его приметно становилось легче, то в сии отлучки посещал он Левчинского. Тогда, сев на своего доброго коня, Максим Кириллович летел, по охотничьей своей привычке, самую кратчайшею дорогой, то есть прямым путем через горы и доли, в уединенный хуторок, входил на несколько минут в маленький, скудный домик Левчинского, спрашивал о здоровье поручика, с искренним, прямым чувством высказывал ему в сотый раз свою благодарность — и тотчас снова на коня и скакал в обратный путь, к милой своей Ганнусе. В эти две недели, протекшие до совершенного ее выздоровления, майор почти и не подумал о своих планах обогащения, о поисках за кладами и обо всем, что относилось к любимой мечте его.

Между тем весна наступила; посевы зазеленелись, пролески зацвели по лесам, и вешние синички защебетали в сени развиваю-



щихся деревьев. По совету лекарей, нашедших чистый, свежий весенний воздух полезным для здоровья Ганнуси, она начала прохаживаться в саду; и майор как будто бы только этого и ждал. Мысль о кладах снова в нем пробудилась; он чаще прежнего призывал к себе капрала на тайные совещания; рукопись была снова переписана, сколько можно яснее и безошибочнее, и майор твердил ее наизусть, как молодой школьник свой урок из грамматики. Недовольный еще обширными сведениями капрала по части кладознания, Максим Кириллович начал прилежно посещать свою мельницу, которой плотина была поправлена механиком-жидом, выдавшим себя за отличного искусника в строении плотин и в разных таких хозяйственных делах, при коих простодушные малороссияне предполагают отчасти сверхъестественные знания. Так, например, знающий мельник, строитель плотин, пасечник, или пчеловодец, и некоторые другие подобные им лица почитаются малороссийским простолюдием за знахарей или колдунов.

Мельница в малороссийской деревушке

есть род сельского клуба порядочных людей; ибо местом сборища для молодежи бывают вечерницы<sup>16</sup>, а для гуляк всякого возраста шинок. Кроме тех, которые приезжают с мешками зерна для помола муки, сходятся в мельничный амбар все пожилые поселяне, которым дома нечего делать или которые улучили досужное время; а такого времени, благодаря закоренелой склонности к лени, у добрых малороссиян всегда найдется довольно, особливо в промежутках от посева до собирания хлеба или когда пора полевых работ еще не наступила. В этом сельском клубе толкуют они обо всем: о домашних делах своих, о новостях, которые удалось им слышать, о деревенских или семейных приключениях, о злых панах и судебных, о ведьмах, мертвецах, кладах и тому подобных диковинках, разнообразящих простой, не богатый происшестввиями сельский быт сих добрых людей. Сметливый мельник старается сам заводить такие сходбища и, подобно трактирщику какого-нибудь немецкого местечка, бывает обыкновенно первым рассказчиком и балагуром. Это делает он и для того, чтобы приманить на свою

мельницу большее число помольников, и для того, что на мельнице обыкновенно происходят все крестьянские сделки: продажа друг другу скота или иной какой-либо из статей сельского хозяйства, наем земли, работников и т. п.; а все сии сделки непременно кончаются магарычом, который запивать приглашается и сам мельник. Надобно сказать, что жид Ицка Хопылевич Немеровский, которому посчастливилось укрепить плотину мельницы майоровой, сделал сей опыт глубоких своих познаний в механике, или (скажу в угоду добрых моих земляков, малороссиян) — опыт своего искусства в тайной науке чародейства, — не даром, а на весьма выгодных для него условиях. Он знал, что хорошо денежною платою от майора поживиться ему было нельзя, потому что сам Максим Кириллович давно уже не видал у себя лишней копейки; для сего честный еврей, с обыкновенными жидовскими уловками и оговорками, сделал следующее предложение: вместо денег получать от майора — безделицу, как говорил Ицка Хопылевич — третью мерку хлеба, получаемого за помол, и это в продолжение двух лет;

да безденежное позволение содержать шинок на майоровой земле и подле самой мельницы, тоже на два года с тем, что Ицка нигде, кроме майоровой винокурни, не будет покупать вина, а Максим Кириллович будет ему делать на каждом ведре вина тоже незначительную, по еврейскому смыслу, уступку. Предложение сие заключено было сильными клятвенными уверениями, что он, Ицка Хопылевич Немеровский, поднял при починке плотины такие тяжкие труды, каких и предки его, библейской памяти, не поднимали на земляной работе египетской, и что теперь плотину, по прочности укрепления и по заговору, который положил на нее этот честный еврей, не размыло бы и новым всемирным потопом. Добрый майор, человек самого стоворчивого и неподозрительного нрава, при том же небольшой знаток в делах, требующих соображений и расчетливости, — согласился на все, что предлагал ему честный еврей Ицка Хопылевич Немеровский.

Разумеется, что жид как участник в мельничном походе и ближний сосед мельницы почти безвыходно бывал там; в шинке же бы-

ла у него правая рука: жена его Лейка, молодая, проворная и лукавая жидовка, которая с сладкими своими речами, с вкрадчивыми взглядами и усмешкой и с низкими, вежливыми поклонами весьма ловко обмеривала добрых поселян и приписывала на них лишние деньги. Сидя в мельничном амбаре на груди мешков и заложа руки в карманы черного, долгополого своего платья, запыленного мукою, жид Ицка Хопылевич рассказывал собиравшимся в мельницу обывателям всякие чудеса, виденные или слышанные им по свету; учил их лечить рогатый скот такими лекарствами, о которых знал, что от них не может быть ни худа, ни добра, уверял, что умеет заговаривать змей, отшептывать от укушения бешеной собаки и добывать клады... Мудрено ли, что все это дошло до чуткого уха майорова? Капрал, по старой своей привычке, заглядывал иногда в мельницу и, там однажды подслушав сии речи жида, пересказал их майору. Вот причина, по которой Максим Кириллович стал учащать своими прогулками на мельницу, где, под видом хозяйственного присмотра, часто он просиживал по це-

лым часам и разными окольными путями старался выведать у жида тайну добывания кладов. Но догадливый Ицка, вероятно, смекнув делом, основал свои расчеты на слабости помещика, о которой, станется, и прежде уже знал он; посему и говорил о любимом коньке майоровом с возможною осторожностью и давал заметить, что тайна его не дается даром.

Майор, которого природная нетерпеливость еще более к старости усилилась охотничьими его привычками, досадовал на упорное молчание жида; но видел, что увертливому Ицку нельзя было довести до открытия своей тайны никакими затейливыми околичностями. Посему Максим Кириллович решился наконец пойти прямою дорогой; но прямая дорога к сердцу жида — есть деньги, а их-то и не было у нашего майора. Что делать? за неимением денег, он пустился на обещания, даже доходил до того, что предлагал Ицке Хопылевичу третью долю из всех добытых кладов. Но жид, с которым он имел дело, был прямой жид; любимые его поговорки были: из обещаний не шубу шить, и не сули журав-

ля в небе, а дай синицу в руки. Эти пословицы тверже всего он знал и даже лучше всего выговаривал на польско-малороссийском своем наречии. К ним вдобавок он очень благо-разумно представлял майору, что третья доля сама по себе, а не худо иметь что-либо вперед; тем больше-де, что клады доставить — не плотину строить: что при таком деле и вдо-сталъ измучишься в борьбе с лукавым, кото-рый силится отстоять свое сокровище, — и за-то-де ему надобно поступиться кое-чем. Мак-сим Кириллович подумал, подумал — и усту-пил Ицке безнадежно тридцать ведер вина, да подарил ему пару коз с козлятами, что обыкновенно составляет сельское хозяйство жида. Дело было слажено: Ицка Хопылевич объявил майору, что ему нужно сделать при-готовительные заклинания, и для того про-сил две недели сроку. Майор на все сотласил-ся, ожидая верного успеха от знахаря-жида, которого чародейскую силу видел он уже на опыте, то есть при укреплении мельничной плотины.

Дворня всякого помещика, самого мелко-поместного, есть в малом виде образчик того,

что делается в большом и, скажу более, в огромнейшем размере. Домашняя челядь всегда и везде сметлива: она старается вызнать склонности, слабости, самые странности своего господина, умеет льстить им и чрез то подбить в доверие и милость. Так было и в доме Максима Кирилловича Нешпеты. После старого капрала, ближний двор его составляли хлопцы, или псары, и пользовались особым благорасположением своего пана. Но как нельзя же быть шести любимцам вдруг, то каждый из них, наперерыв перед другими, старался прислуживаться своему господину, угождать любимому коньку его и увиваться ужом перед всем, что усмехается будущей милостию. Один из клопцев, Ридько, будучи проворнее других и подслушав род дверью разговоры своего пана с капралом, скорее всех доведалься, о чем теперь хлопотал Максим Кириллович. Ридько начал усердно спрашивать обо всем, что только можно было в селении и в околотке узнать о кладах; и мало еще того: сам начал бродить по ночам вокруг дома, близ пустырей или старых строений, в леваде и в саду майоровом, и подме-



чать, не окажется ли там каких признаков скрытого в земле клада. В сих ночных поисках заметил он однажды в саду, под старую, дупловатую липой, что-то белое, свернувшееся клубком; ночь была темна, и Ридько не мог рассмотреть издали; он стал подходить поближе, и белый клуб как будто бы приподнялся от земли: Ридько ясно увидел две светлые точки, которые горели беловатым огнем, как восковые свечи, — и мигом белого клубка и светлых точек как не бывало. Это клад: чему же быть иначе? но клад, который не давался в руки Ридьку, потому что он не знал никаких заговоров. Еще не вполне доверяя самому себе, Ридько решился дожидаться следующей ночи, и когда она наступила, новый искатель кладов пошел на то же место — и опять увидел он белый клубок, и опять две светлые точки как будто бросили на него две искры; но вслед за тем снова все исчезло. Теперь не оставалось уже Ридьку ни малейшего сомнения; он нетерпеливо ждал утра, чтоб объявить майору о своем открытии. Майор удивился и обрадовался, что ему не нужно было дальних исканий, когда клад у него был, так

сказать, под рукою; но зная из рассказов, что клад иногда является только по три ночи, не хотел он терять времени и выпустить из рук предполагаемую находку. Посему он немедленно созвал свой тайный совет, состоявший из капрала Федора Покутича и жида Ицки Хопылевича; Ридько как человек, оказавший важную услугу и от которого нужно было отобрать подробные справки об отыскиваемом кладе, также допущен был в это совещание. Капрал предложил майору разбить клад с молитвой, по примеру старухи нищей, о которой он рассказывал; но жид, с лукавою улыбкой, пожимая плечами и потряхивая длинными кудрявыми своими пейсиками, заметил, что этим средством много что добудешь один клад, а скорее отпугаешь все другие, которые с того времени перестанут показываться искателю. Майор убедился этим сильным доводом и счел за лучшее во всем положиться на жида. Хитрый Ицка обещал научить майора какому-то заклинанию и для того, отведав его в сторону, проговорил ему слов с десятков на неведомом языке; однако же майор ни за что не хотел их вытвердить, по-

тому что эти слова, как он весьма, основательно думал, были еврейские и могли заключать в себе или богохуление, или заклятие на душу говорящего их, — и, почему знать? может быть, формальную присягу служить сатане верою и правдою! Несмотря на все убеждения и клятвы жида, добрый Максим Кириллович остался тверд в своем упрямстве, и жид, за лишний десяток ведер вина, уступленных ему майором, договорился твердить сам свое заклинание в то время, когда майор станет бить по кладу. Сим окончилось совещание.

Товарищи Ридька, завидуя новому любимцу их пана, хотели допытаться, чем он вкрался в милость Максима Кирилловича. Подойдя на цыпочках и приложив ухо к дверям, они жадно ловили каждое слово, сказанное в светлице майоровой, и узнали все дело почти с такою ж подробностью, как и мы теперь его знаем. Любопытство и болтливость — два главнейшие порока слуг: в минуту вся дворня Майорова узнала, что в саду их пана является клад и что в этот самый вечер будут добывать его; и каждый из дворовых людей, от первого

до последнего, положил у себя на сердце тайком Прокрасться в сад и высматривать из-за кустов и деревьев, что там будет делаться.

Целый день прошел в какой-то суматохе. Нетерпеливость и беспокойство ясно выказывались на лице и в поступках майора; капрал беспрестанно бродил то по двору, то по саду, то заглядывал в комнаты; жид, согнувшись и напустя пейсики себе на лицо (может быть, для того, чтоб на лице его не могли прочесть его мыслей), ровным и скорым шагом каждый час переходил то с мельницы на господский двор, то с господского двора на мельницу; Ридько суетился, чтобы придать себе больше важности в глазах своих товарищей, и не отвечал на лукавые двусмысленные их вопросы; хлопцы переглядывались между собою, перешептывались по углам, а остальная дворня любопытно присматривалась ко всему, что делалось, и вслушивалась во все, что было сказано. Одна Ганнуся ни о чем не знала и не примечала ничего: она, пожелав доброго утра отцу своему, после завтрака села за работу в своей комнате, которой окно было на проселочную дорогу к хутору Левчинского,

задумалась о нем, печалилась, что он долго не выздоравливал; игла быстро вертелась в руках ее, работа, можно сказать, горела, часы летели, и милая девушка не заметила, как время пронеслось до обеда; тем больше не заметила она, что вокруг нее все было в каком-то суетливом волнении. Сердце молодой красавицы, в минуты уединенной задумчивости, создает в самом себе мир отдельный, мир фантазии: ему нет тогда дела до мира внешнего, вещественного.

Наступил вечер; когда стемнело на дворе, все дворовые люди Майоровы, начиная от хлопцев до ринки, или коровницы, Гапки, тихонько забрались в сад, залегли в разных местах, чтоб их не заметили, и, не смея переводить дух в своих засадах, украдкой оттуда выглядывали. Около одиннадцати часов ночи Ридько вбежал опрометью в комнату майора, где капрал и жид, чинно стоя по углам и не сводя глаз с господина, ожидали условленной вести. Майор вскочил с своего места, взял большую, тяжелую палку, которую капрал для него приготовил, и скорым шагом отправился в сад; за ним, прихрамывая, но с надле-

жащей вытяжкой, шел капрал; рядом с сим последним подбегал жид, припрыгивая и твердя вполголоса: «Зух Раббин, Каин, Абель!» Ридько заключал это ночное шествие, неся на плечах два большие порожние мешка. Майор приостановился, увидя перед собою, шагах в двадцати, что-то белое, свернувшееся в комок. Он осторожно занес палицу свою навзмыш, притая дух, подкрался к белому привидению — и в тот миг, когда жид громко вскрикнул: «Зух!», майор изо всей силы хлопнул... Пронзительное, оглушающее «мяу!» раздалось по саду вслед за ударом — и белый комок, не рассыпаясь серебряными рублевиками, растянулся без жизни и движения. Домашняя челядь Майорова не утерпела и сбежалась отовсюду из засад своих, услыша столь необыкновенный крик; толстая, приземистая и плосколицая Гапка явилась туда из первых...

— Ох! горе мне бедной! Пан убил мою Машку! — вскрикнула Гапка и взвыла таким голосом, каким мать плачет по своей дочери.

— Кой черт! Что ты мелешь, старая дура? — торопливо и сердито проговорил май-

ор.

— Да, вам легко говорить! Пускай я мелю, пускай я старая дура; а бедную мою Малашку ухихлили: уж ее теперь ничем не оживишь! — выкрикивала Гапка и заголосила пуще прежнего.

— Да скажешь ли ты мне, — с нетерпением вскрикнул майор, схватя коровницу за плечо и стряхнув ее изо всей силы, — какую Малашку?

— Какую? вестимо, что мою Малашку!.. Кто теперь будет у меня ловить крыс, кто будет от них очищать ледник?..

— Провались ты, негодная дура, и с проклятою своею кошкой! — бранчивым голосом сказал майор и резко махнул рукою по воздуху.

— Ох! горе мне, бедной сироте! — навзрыд твердила Гапка, припала к земле, подняла убитую кошку и с вытьем понесла ее в свою хату.

Люди майоровы, каждый смеясь себе под нос, разбрелись по своим углам; явно зубоскалить никто из них не смел: все знали, что рука их пана тяжела и что гнев его, вспыхивая

как порох, иногда и оставлял по себе такие же явные следы, как это губительное вещество. На сей раз, однако же, для гнева майорова довольно было и одной жертвы, т. е. кошки, которая жизнью поплатилась за свой неумышленный обман; Ридько, столь же неумышленная причина ее смерти, отделался одним страхом. Максим Кириллович скорее прежнего пошел в свою комнату, заперся в ней и наедине переваривал свою досаду, капрал, с горя от неудачи своего старого командира, к которому был он искренне привязан, побрел в свою каморку и принялся за вечернюю порцию; жид отправился в свой шинок, а Ридько, повеся нос, тихо поплелся на свой ночлег. Там, укутав голову, чтоб не слышать злых насмешек, которыми его осыпали товарищи, он шептал молитвы и поручал свою душу святым угодникам, считая все случившееся с ним бесовским наваждением.

На другой день майор поздно вышел из своей комнаты; на лице его было написано уныние, и на все вопросы Ганнуси об его здоровье отвечал он отрывисто и неохотно. Заметно было, что он боялся или стыдился на-



поминания о минувшей, ночи; усердный капрал прочел это в душе его и потому строго подтвердил хлопцам и всем дворовым людям не разглашать ничего о том, что было накануне, а более всего остерегаться, чтоб не промолвиться как-нибудь об этом пере их господином. Все знали, что пан и капрал шутить не любили, и тайна минувшей ночи замерла на болтливых языках домашней челяди. В скромности жида капрал и без того был. уверен, ибо Ицка Хопылевич был молчаливее рыбы, когда чувствовал, что на хранении тайны основывались для него корыстные виды.

Новое лицо развлекло задумчивость майора и даже развеселило его. Это был поручик Левчинский, выехавший в тот день впервые после болезни и поспешивший изъявить благодарность свою Максиму Кирилловичу и милой его дочери за оказанное ему участие. С ним приехал и Спирид Гордеевич, который во все время болезни Левчинского принимал о нем отеческие попечения и полюбил его как родного сына: это чувство было ново для доброго старика, потому что сам он не имел детей и, похоронив за три года перед

тем подругу преклонных своих лет, был совершенно одинок.

Ганнуся, услышав о приезде Левчинского, смутилась и не могла ни на что решиться. Сердце влекло ее навстречу долгожданному гостю; но природная стыдливость и привычная застенчивость малороссийской панны останавливали милую девушку в ее комнате. И здесь ее состояние было почти лихорадочное: то вдруг чувствовала она легкую дрожь, то жаркий румянец вспыхивал у нее в щеках и даже пробегал по челу, высокая грудь ее волновалась, глаза покрывались тонкою, теплою влагой... В таком состоянии борьбы провела она более получаса, пока отец не кликнул ее из другой комнаты. Тогда, собрав всю бодрость девического своего сердца, она вышла к гостям; но приближение и первый звук голоса ее избавителя снова вызвали ту же краску на ее лице и тот же легкий, электрический трепет по всему ее телу. Не скоро могла она прийти в себя и отвечать полусловами на приветствия и выражения благодарности, сказанные ей Левчинским, который, может быть, в душе своей был не более спокоен, хо-

тя, привыкнув во время службы к светскому обращению, более умел владеть собою. Наконец, крупные слезы скатились с длинных черных ресниц Ганнуси, и она облегчила свое сердце тем, что высказала с своей стороны молодому поручику — правда, с крайним усилием и в несвязных словах — благодарность свою за спасение ей жизни.

Когда холодный порядок разговора несколько восстановился и Максим Кириллович завел с Левчинским речь о старых и новых служивых, о походах и битвах, тогда Ганнуса, тихо сидевшая в отдалении с сложенными руками, по обычаю малороссийских девиц, оправилась и начала дышать вольнее. Она украдкой начала уже всматриваться в лицо своего избавителя, замечала каждую его черту, каждое движение и часто, спустя голову, вылетающими из уст ее вздохами нагревала прелестную грудь свою.

За обедом Левчинскому случайно пришлось сидеть подле Ганнуси. Спирид Гордеевич первый это заметил; и, понял ли сей сметливый старик зарождающуюся в молодых людях взаимную любовь или просто хо-

тел над ними пошутить по врожденной веселости малороссиян, он громко пожелал поручику с Анной Максимовной сидеть чаще вместе, как пара голубков. Эта малороссийская аллегория означала, что он желал их видеть четою молодых супругов. Глаза поручика заблистали каким-то новым блеском, когда он поднял их на старого своего друга, как будто бы с вопросом, сбыточное ли это желание, и тотчас опустились на стол. Стыдливая соседка его зарделась, как юная роза от первых, утренних лучей солнца, и казалось, искала глазами, нет ли какого пятнышка на ее тарелке, а старый майор поморщился и старался переменить разговор, по-видимому, не весьма для него приятный.

Впрочем, добрый Максим Кириллович уже и прежде искренне полюбил поручика; а теперь, слушая жаркие его рассказы о военных делах и умные суждения о разных предметах, еще более полюбил его и звал как можно чаще к себе в дом, прибавляя, что он и дочь его всегда рады его видеть. С этих пор Левчинский сделался почти ежедневным гостем майоровым. Часто случалось ему быть глаз

на глаз с милою Ганнусей; часто рука об руку прохаживались они по саду и по окрестностям, и не раз поручик имел случай облегчить свое сердце признанием в любви; но природная его скромность, недоверчивость к своим достоинствам и горькое сознание бедности, которую б должна была делить с ним будущая подруга его жизни, удерживали его и заставляли таить в душе то чувство, которое он питал к дочери майоровой.

Миновал срок, выпрошенный евреем для чародейских его приготовлений, и мало-помалу испарилась из головы майора досада от первой, неудачной его попытки искания кладов. Мысль обогащения подспудными сокровищами опять в нем пробудилась с новою силой. Тетрадь, заключающая в себе сказание о кладах, ни на минуту не выходила из широкого кармана охотничьей майоровой куртки, хотя Максим Кириллович давно уже знал наизусть все содержание любопытной сей рукописи и мог пересказать все упомянутые в ней урочища с зарытыми в них кладами гораздо безошибочнее, нежели сыновья его положение и богатство разных европейских госу-

дарств на экзамене из географии. Наконец, день поисков был назначен. Еще до рассвета майор с капралом, евреем и Ридьком отправились на двух повозках; но куда? Этого никто не знал. Ганнуся, с восходом солнца встав с постели и не найдя отца своего дома, крайне удивилась. Ей не показалось бы странным такое раннее отсутствие, если б это было зимою: она знала, что в прежние годы отец ее никогда не упускал пороши, и могла бы подумать, что старинная страсть снова им овладела; но тогда было лето; куда же мог он уехать так рано, не сказав ей, да еще и с такою необыкновенною свитой, как жид и капрал; ибо седой инвалид, за ранами, был вовсе уволен от опустошительных набегов охотничьих. Целое утро Ганнуся дожидалась отца своего — и все понапрасну. Левчинский приехал около полудня, времени, в которое майор обыкновенно обедал; но хозяина еще не было. Ганнуся не таила от поручика своего беспокойства: нежной дочери казалось, что с отцом ее случилось какое-либо несчастье. Она поминутно выглядывала в окна, выбегала на крыльцо, смотрела на все стороны; раз два-

дцать выходила она с Левчинским на большую дорогу, расспрашивала на мельнице и у всех встречных, не видел ли кто отца ее в этот день? Никто, однако ж, его не видел, никто не знал, куда и зачем он отправился.

Солнце прокатилось по всему дневному пути своему, но встревоженная девушка и не думала об обеде; гостю ее, принимавшему живейшее участие в ее беспокойстве, также не приходила мысль о подкреплении себя пищею; и мог ли молодой, влюбленный офицер думать о таких ничтожных, вещественных потребах, когда он находился вместе с тою, которую любил, и притом должен был стараться ее развлекать и успокаивать? Наконец, когда солнце уже стало западать, вдруг пыль поднялась по дороге, послышался стук колес, и, спустя несколько минут, две повозки поспешно въехали в ворота. Ганнуся полетела птичкой навстречу отцу своему. Погодя немного майор вошел в комнату. На лице его написано было какое-то унылое раздумье. Поцеловав дочь свою, он выговаривал ей слегка за ее напрасные тревоги и объявил, что, желая лучше узнать все свои поля, он ездил

по разным урочищам и замечал рубежи своих угодий; что с этого дня он должен несколько времени, и может быть целое лето, употребить на сие хозяйственное обозрение; и что жид Ицка Хопылевич как человек, разумеющий отчасти землемерское дело, необходим ему при таких разъездах.

Добрая девушка тотчас поверила отцу своему; но поручик хотя и ничего не сказал, однако ж ясно видел, что для осмотра угодий не нужно было выезжать майору до рассвета и что размежевание земель и означение рубежей не могло производиться без наряжаемых на сей конец чиновников. Левчинский не имел повода подозревать что-нибудь худое, но он успел уже отчасти узнать простосердечие и крайнюю доверчивость майора, а слышав от него, что в этом деле замешан был жид, он тотчас догадался, что здесь было не без обмана и что хитрый еврей основывал корыстные свои виды на какой-либо слабости майора. Для сего Левчинский твердо решился проникнуть в эту тайну, а до времени молчать и не наводить никаких сомнений Максиму Кирилловичу.



Каждый день майор уезжал еще до зари, и каждое утро Левчинский являлся у Ганнуси, чтобы развлекать ее в скучном ее одиночестве. Милая девушка уже не была с ним застенчива и, успокоясь насчет отлучек отца своего, радостно встречала молодого своего собеседника. Весело проводили они время в разговорах, прогулках и других невинных занятиях; они еще не сказали друг другу: «люблю!», но уже знали или, по крайней мере, понимали взаимные свои чувствования. Скромные их удовольствия перерывались только возвращением майора, который со дня на день становился мрачнее и задумчивее, как человек, теряющий последнюю надежду. Это сокрушало бедную Ганнусю: она не могла вообразить, что было причиною такой печали отца ее, и не смела спросить его о том, ибо майор сделался крайне молчалив и даже угрюм. Этой перемены не могла она приписывать неудовольствию на частые посещения Левчинского, которому майор оказывал прежнюю приязнь и радушие; какая же грусть нарушала спокойствие нежно любимого ею родителя? Она терялась в догадках и,

наконец, решила поговорить об этом Левчинскому.

Поручик уверил ее, что принимал живейшее участие в ее родителе, и обещал ей дознаться, какое несчастье грозило ему или какая печаль его тревожила. Случай к тому скоро представился. Вечером, когда майор возвратился, Левчинский, простясь с ним и с Ганнусей, велел подвести верхового коня своего. Ридько, по расчетливой угодливости, побежал на конюшню; между тем поручик, сошед с крыльца, сказал, что хочет пройтись пешком, и велел Ридьку вести лошадь вслед за ним. Когда они вышли за деревню, поручик, дотоле молчавший, завел разговор с своим проводником.

— Пан твой очень печалится. Не от того ли, что у вас худы посевы и не обещают хорошего урожая?

— О, нет, грешно сказать! Наши посевы хоть куда; и теперь, когда озимые хлеба уже выколосились, можно ждать, что урожай будет на диво.

— Так, может быть, посторонние завладели какими-нибудь его землями? — Оборони

бог! у нас нет лихих соседей.

— О чем же он так грустит?

— Да так; видно, худой ветер подул... не все то говорится, что знается...

— Послушай, Ридько! вот тебе на водку. —

При сих словах Левчинский сунул ему в руку серебряный полтинник и, помолчав с минуту, продолжал: — Ты знаешь, что я люблю твоего пана и желаю ему добра. Вижу, что он почти болен от какой-то грусти, вижу, что милая, добрая ваша панянка тоскует и сохнет, глядя на отца своего, и не знаю, как помочь их горю. Пособи мне в этом: скажи, зачем майор уезжает каждое утро и в чем и какая ему неудача?

— Сказал бы вам... Да вы никому об этом не промолвитесь?

— Вот тебе мое честное слово...

— Верю: вы не из тех панов, которые обещают и не держат слова; вы даже прежде дадите на водку, чем обещаете... Только... как вы думаете: пан мой не узнает об этом? — Как же он может узнать, если я не скажу? А я уж дал тебе слово молчать.

— Не вы, а этот проклятый жид: он может

отгадать по звездам и по воде, что я проговорился об этом деле.

— Небось, не отгадает; у меня есть на это свой заговор, против которого жид не устоит со всем его колдовством.

— Право?.. Так мне и бояться нечего. Только вы не будете нам мешать в нашем деле?

— Нисколько; а напротив, еще буду помогать твоему пану, когда в деле этом нет ничего худого.

— И, какое тут худо! Ведь, кажется, нет греха выкапывать клады, зарытые в земле и у которых нет хозяина, кроме иногда — наше место свято! — кроме лукавого. А вырвать у него добычу, не погубя души своей, мне кажется, не грех, а доброе дело.

— Точно. Так майор ищет кладов?.. Да нашел ли он хоть один из них?

— Ну, до сей поры мы не видали еще ничего, кроме земли да подчас старых черепьев и обломков того-сего; а мы перерыли уже добрых десятка три мест в разных урочищах, которые записаны в тетрадке у моего пана.

— Какая ж это тетрадка?

— В ней, видите, как по пальцам высчита-

ны все груды золота и серебра, закопанные разбойниками и колдунами в нашем краю. Да, видно, эти колдуны были посмышленнее нашего жида: сколько он ни кудесит, а все мало проку от его заговоров и ворожбы. Чуть ли он не морочит и нас, и нашего пана.

Этих известий было достаточно для Левчинского. Теперь он ясно видел, что догадки его насчет легковерности простодушного Максима Кирилловича были основательны. Сев на коня своего, поручик отпустил Ридька и тихо поехал домой, рассуждая о слышанном и сожалея о странном заблуждении доброго своего соседа. Вдруг ему пришло на мысль, подделаться к любимому коньку Майорову для двух причин: во-первых, чтобы сим способом еще более приобрести дружбу и доверие Максима Кирилловича и чрез то заготовить себе дорогу к его сердцу, когда дело дойдет до искания руки Ганнусиной; а во-вторых, чтобы, если можно, излечить майора от суетной мечты обогащения кладами, показав ему на деле несбыточность этой мечты. План Левчинского тотчас был составлен и одобрен собственным его умом: помощь жида в этом слу-

чае была необходима; и поручик, зная по опыту, приобретенному им в походах и квартировании по разным местам Польши и Литвы, — зная, сколько сии всесветные торгошники падки к деньгам, решился подкупить Ицку Хопылевича и тем склонить его на свою сторону. Это не трудно было сделать: Левчинский, по приезде домой, тотчас отправил своего Власа в шинок еврея, чтобы позвать Ицку в хутор и сулить ему хорошее награждение.

Влас, человек Левчинского, тот самый, которого мы уже видели на минуту в доме майоровом, был молодой, видный и проворный детина, усердный к своему господину и готовый по одному знаку исполнять его приказания, хотя бы в этом видел для себя опасность. В платье денщика он как будто бы переродился: из тихого, робкого малороссийского хлопца сделался в короткое время развязным и лихим офицерским слугою, перенял все ухватки солдатские и гордился тем, что считал себя военным человеком. Он знал по пальцам все замашки и плутни евреев и радовался душевно, если удавалось ему перехитрить жида или сделать опыт полувоин-

ской своей сметливости, не поддавшись в обман. Привыкнув к этой игре ловкости ума, к этой, так сказать, междоусобной войне хитростей, обыкновенно ведущейся у постояльца-солдата с хозяином-жидом, Влас очень обрадовался поручению, которое дано ему было от господина, предполагая, что ему опять удастся провести жида. Бездействие однообразной жизни в уединенном хуторе уже наскучило нашему молодцу: он давно искал случая снова развернуть свои природные и приобретенные способности ума, которых он никогда не изведывал над своим господином, может быть оттого, что не видал к сему никакого повода; или мы охотнее согласны думать, что Влас не хотел нарушать честности и верности, которые питал в душе к своему барину.

Не расседывая поручикова коня, Влас мигом вскочил на него и полетел по дороге к шинку Ицки Хопылевича. Он вошел в шинок как такой человек, которому местности подобных заведений и употребительные в них приемы знакомы как нельзя более, сел на первое место и проговорил громко и бойко:

«Здорово, еврей!»

— Кланяюсь униженно вашей чести, господин служивый! — отвечал Ицка польским приветствием своего перевода, исподлобья поглядывая на приезжего и как будто бы из глаз его стараясь выведать причину столь позднего и неожиданного посещения.

— Мне надобно с тобою переговорить, — сказал Влас тем же голосом. — Эй, ты, смазливая жидовочка! вынеси этим землякам кружки и чарки в клеть или куда хочешь, только чтоб никого здесь не было. А вы, — продолжал он, обратясь к запоздалым гулякам, — проворней отсюда за порог, не дожидаясь другого-прочего.

Все мигом выскочили за дверь, потому что малороссияне не любят или, правду сказать, не смеют спорить с москалем — так они называют всякого военного человека, особенно пехотных полков. Оставшись наедине с евреем, который в нерешимости и с тайным страхом ожидал первых слов своего собеседника, Влас в одну минуту сделал свои стратегические соображения. Он видел ясно, что ничего нельзя было от Ицки получить без важных посулов,



и потому решился сделать свою попытку привычным своим средством в таких случаях, т. е. угрозой!

— Слушай, жид, — сказал он строгим голосом. — Я приехал к тебе не бражничать, как эти ленивцы, которых отсюда выпроводил. Мне нужно не вино твое, а ты сам...

— Как? — боязливо промолвил Ицка, дрожа как осиновый лист.

— Да, ты сам; готовься сейчас ехать со мною: иначе — ты знаешь...

— Ваша честь, господин служивый! Я человек невольный, я в услугах моего пана, который поминутно меня требует, и без его ведома не смею отлучаться... дайте мне час времени! Я пойду на панский двор и спрошу позволения...

— Вздор, приятель, не рассказывай мне пуствяков! Я знаю, что старый майор теперь спит, так же как и вся его дворня; а мне нельзя терять ни минуты. Сейчас же на коня и со мною...

— Да моя лошадаенка теперь пасется в поле...

— А! ну, так беги пешком, только успевай

за моею лошадыю; не то... Я шутить не люблю!

— Воля ваша, господин служивый! у меня ноги болят: не успею.

— Так слушай же: я привяжу тебя на аркан и буду тащить за собою, как горцы таскают своих пленных. Согласен ли ты?

— Нет, уж позвольте мне лучше поискать лошаденки: может статья, какая-нибудь из соседских стоит у меня под навесом, может статья, и мою еще не угнали на пастьбу...

— Хорошо! только не думай, что можешь меня провести и улизнуть отсюда: я старый воробей, меня на мякине не обманешь. Я сам иду с тобой и ни на миг не выпущу тебя из виду. В том моя нагайка тебе порукой.

Они вышли. Жид, видя, что все покушения к побегу были бы не только напрасны, но еще и накладны для его спины, решился облегчить неведомую, но вероятно горькую свою участь совершенною покорностию. Грозный Влас шел у него по пятам, помахивая, как будто от нечего делать, ременную свою нагайкой. Под навесом нашли они лошадь еврееву. Ицка хотел было идти за седлом, все еще на-

деясь как-нибудь ускользнуть от своего жожа-того; но Влас не дал ему и договорить своих представлений: он велел жиду скинуть верхний его плащ и набросить его на лошадь вместо попоны, сам посадил его верхом, схватил поводья его лошади и, сев на свою, помчался с ним во весь дух. Все это сделано было с такою поспешностью, что жена Ицки не успела опомниться: ни она, и никто из посторонних не видели и не знали, куда исчезли и сам Ицка, и страшный, сердитый москаль. Лейка, не нашед своего мужа в шинке и не докликавшись его по двору, всплеснула руками, взвыла и закричала, что его унес Хапун, явившийся в виде солдата.

Между тем Ицка, у которого, может быть, также бродила в голове подобная мысль, скакал по дороге с неизвестным своим спутником, не зная и не понимая, куда везли его. Он никогда еще не видал Власа, потому что Левчинский приезжал в дом майора всегда верхом и без проводника; никто из людей, случившихся на тот раз в шинке, также не знал нашего удальца. Дорогою Влас попеременно то делал жиду сомнительные, наводящие

страх намеки, то наводил его на мысль о значительной награде и старался ему внушить, что не всякий тот беден, кто кажется бедным по виду и о ком идет такая молва. Несчастного Ицку порою пронимала дрожь, несмотря на духоту летней украинской ночи; иногда же кровь, отхлынув от сердца, мучительным огнем протекала по всем его членам, и окружающий воздух казался ему жарче раскаленной печи. Таково было его положение до самой той минуты, когда они подъехали к дому Левчинского. Влас немедленно ввел еврея в комнату своего господина, и жид, увидя знакомое лицо офицера, о котором наслышался много доброго, несколько ободрился и почувствовал, что как будто бы гора спала у него с плеч. Однако же, напуганный Власом и от природы недоверчивый, он все еще не был совершенно спокоен.

Поручик решил наконец его сомнения, заведя речь о майоре и разными околичностями весьма искусно доведя ее до кладов. Не трудно было Левчинскому получить желаемое от еврея; Влас такой задал ему страх, что он и безо всего согласился бы на всякие усло-

вия, а пара червонцев, данных ему поручиком, совершенно оживила упавший дух Ицки и подкупила его в пользу молодого офицера. И вот на чем они положились: честный еврей Ицка Хопылевич должен был уверить майора, что поручик Левчинский узнал от одного колдуна в Польше тайну находить и вырывать из земли самые упорные клады, если только они не были вырыты кем-либо прежде. За это Левчинский обещался наградить еврея еще более, и они расстались, быв оба весьма довольны. Поручик — тем, что предположения его принимали желаемый оборот; а жид — двумя червонцами и надеждою получить еще вдвое за свою услугу. Жид поехал домой уже не в таком расположении духа, как выехал оттуда, и только боялся, чтобы Влас не вздумал провожать его: хоть мысли сего честного иудея насчет его посольства и переменились, но все он думал, что для него было гораздо надежнее подале быть от этого удальца, у которого, по мнению Ицки, самому лукавому еврею ничего нельзя было выторговать, а только можно было вконец проторговаться.

Все исполнилось по желанию поручика. Ицка Хопылевич сплел майору весьма замысловатую сказку о колдуне, который, бегав обратном и быв пойман в виде волка, избавлен был от смерти поручиком Левчинским и, в благодарность за такое одолжение, научил Левчинского трем словам, с помощью которых он мог узнавать, в каких местах клады скрыты под землею; но колдун взял страшную клятву с поручика, чтоб этих слов никому не передавать и вслух не говорить. «Все это узнал я, — прибавил жид, — от поручичьего денщика Власа, подпоив его и разговорившись с ним под добрый час, и прошу вас, вельможный пан, держать это у себя на душе и не сказывать пану Левчинскому: иначе будет худо и мне, и нескромному денщику». Майор нисколько не подозревал обмана и принял за чистые деньги все, что жид ему рассказывал. Он обещался плутоватому еврею не говорить об этом с Левчинским и между тем твердо положил у себя на уме воспользоваться этою чудною способностью Левчинского и, если невозможно было выведать у него таинственных слов, то, по крайней ме-

ре, задобрить его всеми средствами и заманить в свои планы обогащения: т. е. склонить его вместе отыскивать клады по указанию известной тетрадки.

В первое свидание с Левчинским Максим Кириллович завел обиняками речь о том, какие богатства скрывает в себе земля украинская. Поручик, притворно не поняв его слов, отвечал, что земля сия точно богата своим плодородием и счастливым климатом; что на ней рождаются многие нежные плоды, местами даже виноград, абрикосы и проч. и что если бы не природная лень малороссиян, которые мало заботятся о полях своих и вообще плохие землепашцы, то можно б было ожидать, что плоды земные в несравненно большей степени вознаграждали бы труд поселянина. В продолжение сей речи, в которой Левчинский хотел явить опыт своего красноречия и силу убедительных доводов, Максим Кириллович оказывал явные знаки нетерпеливости: он то морщился, то пожимал плечами, то с ужимкою потирал себе руки; наконец, не в состоянии быв выдерживать долее, он вдруг вскочил с места, подошел к поручику и, по-

спешно перебив его речь, проговорил голо-  
сом, изъяслявшим, что собеседник худо по-  
нял его намерение:

— Не о том речь, Алексей Иванович! вы, молодые люди, подчас на лету слова ловите, зато часто и осекаетесь, и выдумываете за других, чего они вовсе не думали. Что мне до пашней и посевов? Это идет своим чередом, и не нам переиначивать то, что прежде нас было налажено... Тут совсем другое дело: я знаю, что хотя в нашем краю доньше не отыскивалось ни золотой, ни серебряной руды, а золота и серебра от того не меньше кроется под землею. Просто сказать, здесь живали и разбойники, и богачи-колдуны; все же они прятали любезные свои денежки и драгоценные вещи по разным похоронкам, в урочищах, которые мне ведомы. Если б бог послал мне человека, который бы знал, как эти клады из земли доставать, то я отдал бы на святую его церковь десятую долю изо всего, что добудется, другую десятую долю раздал бы нищей братии, а остальным поделился бы с моим товарищем... А ведь есть на свете такие люди, которым открывается то, что другим не дает-



ся. Есть такие секреты и заговоры, что от них никакой клад не улежит под землю и никакой злой дух не усидит над ним. Иногда два-три слова — да от них больше чудес, чем от всех колдовских затей самого могучего кудесника...

— За двумя-тремя словами не постояло бы дело, — промолвил Левчинский с видом таинственным, — но как узнать, что клад прежде не был кем-либо добыт? Силу слов истратишь понапрасну, а пользы никакой не соберешь.

— Вот теперь ты говоришь, Алексей Иванович, как истинно умный человек! — радостно вскричал майор и бросился его обнимать. — Ну, когда на то пошло, так я выставлю тебе напоказ все мои сокровища. Смотри и любуйся!

После сих слов Максим Кириллович поспешно ушел в свою комнату, схватил известную тетрадь, вынес ее и подал Левчинскому.

Поручик, едва удержавшись от смеха при сей выходке майора насчет мечтательного своего богатства, с вынужденною важностию принял от него тетрадь и пробежал ее наскоро.

— А это что за отметки? — спросил он у майора, указав на крестики, начерченные свинцовым грифелем, которым старик заменял карандаш.

— Это, сказать тебе правду, Алексей Иванович, обозначены те места, на которых я пытался уже искать кладов...

— И нашли сколько-нибудь? — подхватил поручик.

— Ну, покамест еще ничего не нашел, — отвечал Максим Кириллович с некоторым замешательством, потупя глаза в землю... — Теперь же, — продолжал он, приподняв голову, — с божией помощью и твоим пособием, надеюсь лучшего успеха.

— От души желаю вам его и готов с моей стороны служить вам всем, чем могу, — отвечал Левчинский.

— По рукам, Алексей Иванович! — вскрикнул майор вне себя от удовольствия. — Мне как-то сердце говорит, будто бы ты по скромности не все о себе высказываешь, а знаешь многое! Ну, милости прошу завтра пожаловать ко мне до рассвета: мы вместе отправимся на поиски к Кудрявой могиле. Посмотр-

ри-ка, что там!

Майор указал в тетрадке на сокровища, по сказанию о кладах, зарытые в помянутом урочище. Левчинский прочел потихоньку и как бы обдумывал что-то. Спустя несколько минут, они расстались.

Едва занялась утренняя заря, а наши искатели приключений были уже на половине дороги. Число их теперь умножилось еще двумя, потому что поручик взял с собою Власа, предупредив майора, что этот человек, быв отлично искусен в отыскивании жидовских похоронок фуража и провизии на постоях, без сомнения, покажет ту же самую сметливость и в искании кладов. «Притом же, — прибавил поручик, — он сам знает кое-что». С новою надеждою в душе остановился майор у поднвжия Кудрявой могилы. Это была довольно высокая, круглая и островерхая насыпь, принявшая от времени вид самородного холма и покрытая терновником и другими кустарниками, почему и получила она название кудрявой. Влас, соскочив с повозки, взял белый ивовый прутик с каким-то черным камнем на черном снурке и начал потихоньку подавать-

ся на вершину холма, держа прутик параллельно к земле; майор с поручиком, а позади капрал с евреем и Ридьком в молчании шли за Власом и не спускали глаз с волшебного прутика. Вдруг на полвине холма, между кустарниками и мелким валежником, Влас остановился и вскричал: «Смотрите, господа!» Все обступили вокруг и увидели, что прутик начал тихо клониться вниз и гнулся до тех пор, пока черный камень совсем лег на землю. Все вскрикнули от удивления, и майор едва не вспрыгнул от радости. Сам еврей, не веривший и, может быть, имевший причину не верить знанию Власа, стоял в немом изумлении, с глазами, бессменно устремленными на прутик. Наконец Влас объявил, что не в силах долее держать прутика, который сделался необыкновенно тяжел, и выронил его из руки. Все кинулись разгребать валежник; Влас схватил заступ и принялся рыть землю. На аршин в глубину показался слой угольев и золы, как бы смоченной водою, далее черепья, битый кирпич и песок. Майор взглянул на поручика, и в эту минуту Левчинский, тоже пристально смотревший на майора, несколь-

ко раз пошевелил губами. Вдруг что-то звякнуло, и заступ уперся в какое-то твердое тело. Мигом все было разгребено, и открылся небольшой чугунный котел, худой и ржавый. Ицка не вытерпел: бросился к котлу, схватил его обеими руками, рванул — и из котла высыпалась небольшая кучка серебряных денег да пять-шесть червонцев. Жид проворно схватил все это и начал считать; но Влас, оттолкнув его, собрал деньги и поднес их майору, который, отойдя в сторону с Левчинским, принялся рассматривать и пересчитывать свою добычу. Ицка Хопылевич подошел к своему пану и с униженным видом, весьма несвободным голосом начал представлять, что третья доля всей находки, по условию, принадлежит ему. В это время Влас, как бы поверявший в уме счет майора, вдруг обернулся и сильною рукою дал Ицке пощечину, от которой два или три червонца и несколько мелких серебряных монет выскочили изо рта его. Без дальних оговорок разгорячившийся Влас начал обеими руками трясти Ицку, приговаривая:

— Тому, кто положил клад, и в голову не

приходило набивать им карманы вашей братае!

— Так этот клад положен недавно? — вскричал майор, как будто бы поймав какую-то светлую мысль.

— Не верьте болтанью этого сумасброда! — отвечал Левчинский в смущении.

— Скажи, Алексей Иванович, — подхватил майор с чувством, но голосом, в котором прорывалась нетерпеливость, — скажи мне всю правду...

— Поедемте, — перервал речь его поручик, — я сам буду править на вашей повозке, больше с нами никого не нужно... Здесь уже нам нечего делать. Влас! собери деньги и, по приезде, вручи их Максиму Кирилловичу. — При сих словах он взял майора под руку и почти насильно увел его к повозке.

— Тут что-то не просто, — вполголоса говорил капрал, покручивая седые свои усы, — тут что-то не просто!

— Я тебе все расскажу, старая служба! — отвечал ему Влас и, отведя его в сторону, продолжал: — Вот видишь ли, помещик твой небогат и доедает последние свои крохи:

ищет кладов, а об хозяйстве и не думает — хоть трава не расти. Виданое ль это дело, запускать поля и пашни, которые наши истинные кормилицы, а рыться по-пустому в земле для того, что какому-то проказнику вздумалось подшутить над добрыми людьми и обещать им золотые горы там, где, кроме черепья да песку, ничего не бывало? Сам ты, умная голова, рассуди!

— Правда, правда! — промолвил капрал, как бы одумавшись.

— Барин мой видел, что майору скоро придется пить горькую чашу, — продолжал Влас, — для того-то он и зарыл здесь ввечеру все то, что сберег в походах и что старушка его скопила трудами своими и бережливостью лет десятка за два. Жаль было старой барыне расстаться с потовыми своими денежками, да, видишь, она сыну своему ни в чем не отказывает. Всего набралось рублей сотни две: этим поручик думал сколько-нибудь помочь майору, хоть до осени, пока хлеб уберется с поля. Он знал, что майор иначе не принял бы от него денег, из барской спеси, и для того придумал эту хитрость.

Почти то же, но с разными обиняками и возможною тонкостию, рассказывал дорогою майору Левчинский, во всем сознавшийся. Добрый Максим Кириллович сперва было посердился, приняв это за дурную шутку; но после, вполне выразумев намерение молодого офицера, глубоко был тронут благородным его поступком, и сам уже извинял его в душе своей за этот затейливый способ снабдить своими деньгами соседа. Однако же, несмотря на все убеждения Левчинского, майор решительно отказался взять эти деньги, даже и в виде займа. После долгих и жарких переговоров они перестали наконец говорить об этом деле и приехали в дом майоров оба в задумчивости.

С этого дня майор все более и более упал духом. Мечты обогащения в нем замерли; Левчинский столь верно, столь живо представил ему всю несбыточность их, что, вместо прежней лелеявшей его надежды, в нем поселились раскаяние и безотрадное уныние. Уже он не выезжал до рассвета, но бессонница опять начала его мучить. Наступила осень. Поля Майоровы, оставленные без присмотра



и небрежно возделанные ленивыми его крестьянами, принесли весьма малый запас хлеба; а другие и вовсе были без посева. К тому же докуки заимодавцев час от часу становились чаще, состояние домашних дел еще более расстроилось... Майор почти приходил в отчаяние: ни советы войскового писаря, ни утешения Левчинского и Ганнуси — ничто не помогало. Часто по целым ночам ходил он взад и вперед по своей комнате... и вот однажды снова вспало ему на мысль, для развлечения, пересмотреть остальные бумаги в дедовском сундуке. Ночью, чтобы прогнать свою бессонницу и убаюкать себя хотя, по-прежнему, новыми мечтами и надеждами, он опять выдвинул с крайним усилием сундук, отпер его и начал выкладывать из него бумаги. Дошед до того места, где попалась ему известная рукопись, он приостановился и задумался. Тяжкий вздох окончил его печальные размышления; он начал рыться далее в пыльных и пожелтелых бумагах, но, к удивлению своему, находил только белые листы. Он рассудил за лучшее разом вынуть всю кипу и пересмотреть, нет ли между нею чего-либо осо-

бенного. Каковы же были его изумление и радость, когда, приподняв сии бумаги, он увидел под ними несколько длинных узких мешков из пестряди (полосатого тика) и четыре кожаные кошелька, плотно завязанные и запечатанные! «Так вот где клад!» — громко вскрикнул майор, не в силах быв владеть собою. Тотчас он схватил один мешок, потянул его — слегшийся и перегнивший тик разорвался, и из него посыпались серебряные рубли. Нетерпеливый старик схватил другой мешок — из него также зазвенели рубли; в третьем и четвертом было то же; в трех остальных было мелкое серебро: гривенники, пятакки, копеечки. Майор был вне себя от такого неожиданного богатства: он остановился и несколько минут смотрел на него тупыми глазами. Потом, когда первые движения изумления и радости утихли, он начал рассуждать: сперва ему пришло в голову, не снова ли мечта шутит над ним и не было ли это действием горячки, приключившейся от бессонницы; далее — не искушал ли его лукавый своим наваждением? Майор перекрестился, сотворил молитву и с болезненным чувством

ожидал, что мнимый клад рассыплется прахом... но клад не рассыпался. Тогда майор с большею уверенностью, перекрестясь еще однажды, принялся за кожаные кошельки, которые уцелели еще от времени. Снурки отвалились вместе с печатями, и — новый восторг для нашего Максима Кирилловича! Из кошельков высыпал он на стол целую грудую червонцев. Некогда было и думать обо сне: майор принялся прежде всего считать червонцы: их было ровно тысяча. Между ними майор заметил выпавшую из одного мешка бумажку: он развернул ее и прочел следующие слова, написанные самым старинным почерком, на малороссийском наречии: «Сии деньги заложил аз, грешный раб божий, хорунжий Яким Нешпета, от избытков моих, на пользу и про нужду того из моих наследников, кому бог положит на сердце сберечь родовые свои документы. Не полагаю никакого на них зарока; но желаю от глубины души моей, чтобы деньги сии достались не моту, не гуляке, а человеку, терпящему недостаток, от чего, однако же, да спасет господь бог род мой и племя на долгие веки!» Этот хорунжий был

дед майоров, человек богатый и бережливый, и умер лет за сорок до того времени, в которое наш майор отыскал эти деньги. Добрый Максим Кириллович совершенно успокоился в совести насчет законности своего приобретения и безопасности владения оным.

Пересчитав свое золото, майор принялся за серебро. Вся ночь протекла в этом занятии, которого следствия были самые удовлетворительные и утешительные: майор нашел в мешках двенадцать тысяч серебряных рублей и на восемь тысяч мелкого серебра полным счетом. Этого было слишком достаточно для теперешних его желаний, которые, со времени напрасных его поисков, сделались гораздо умереннее. Оставалось одно затруднение: куда припрятать эти деньги, чтоб укрыть их от зорких глаз и неосторожного болтанья хлопцев, от алчного чутья воров и от завистливой докучливости соседей, которые поминутно стали бы просить займы у нового богача-соседа? Майор решился дожидаться утра, чтобы посоветоваться с единственным поверенным всех своих тайн, старым капралом, и, оставя дела в том порядке, в каком мы их видели, за-

пер изнутри дверь своей комнаты на замок и лег в постелю, не для того, чтобы уснуть, но чтобы насладиться в полноте новым своим счастьем и покоить волнение чувств, крайне встревоженных такою радостною нечаянностью. Груды денег, лежавшие перед ним, казалось ему, будто бы поминутно росли и наконец наполнили собою всю комнату, в которой он, от тесноты, почти не мог перевести дыхания. Не скоро мог он вздохнуть свободнее и забыться впервые после очень долгого времени сладкою дремотой.

— Кто там? — вскричал майор, услышав поутру легкий стук у двери.

— Я, ваше высокоблагородие! — раздался голос старого капрала. Майор отпер дверь, и капрал вошел.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — сказал он и остановился, остолбенев от удивления.

— Молчать, старый товарищ! — ласково молвил ему вполголоса Максим Кириллович, потрепав его по плечу. — Вот что бог посылает нам на старость.

Капрал уставил глаза на золото и серебро

и не скоро мог опомниться. «Так ваше высокоблагородие все же нашли клад», — проговорил он наконец, как будто бы не вполне еще веря тому, что видел.

— Не клад, а старинное, родовое наследство, капрал! — отвечал Максим Кириллович и в коротких словах объяснил все дело прежде-нему своему сослуживцу.

— Велик бог милостью, ваше высокоблагородие! Он утешил вас за долгое терпение! — проговорил капрал с облегчающим вздохом, которым он как будто бы перевел дыхание после продолжительного, тяжкого труда.

— Правда, правда, капрал, — отвечал майор, — и мы сегодня же отслужим благодарственный молебен с акафистом Николаю Чудотворцу, скорому помощнику в бедах. А теперь пособи ты мне советом: куда припрятать эти деньги?

— Да туда же, ваше высокоблагородие, на прежнее место. Сундук этот крепок: смотрите, как он плотно окован. Мы приедем к нему новые полосы железа, свежие петли да два-три лишних пробоя с замками, так пусть-ка попытаются в него забраться; а утащить его никто

не может: эдакой тяжести под мышкой не унесешь! Комнату станете вы тоже запирасть двойным замком; а что нужно из денег для обиходу, отложите в железную шкатулку...

— Дельно, умная голова! — отвечал ему майор. — Так, благословясь, примемся же за дело. Принеси все, что нужно, а я, между тем, отсчитаю деньги...

Целое утро майор с капралом работали над сундуком, запершись в комнате. Хлопцы слышали стук, но не могли догадаться, что там делалось. За час до обеда майор вышел и послал за священником. Ганнуса с неописанною радостью увидела веселое лицо отца своего. Все домашние, собравшись к молебну, дивились и не могли понять, за какой счастливый случай пан их так усердно благодарил бога? Но Ганнусе не нужно было знать ничего более: она видела отца своего довольным, и милая девушка, с теплыми слезами стоя на коленях, благодарила все силы небесные за избавление его от тяжкой душевной болезни.

В эту самую минуту вошли Спирид Гордеевич и Левчинский. Они стали с молящимися, и поручик, заметно было, молился с великим

усердием. По окончании молебна войсковый писарь вызвал майора в другую комнату и сказал ему без околичностей, что приехал с женихом к его дочери.

— С каким женихом? — спросил майор несколько надменно.

— Сосед! — отвечал ему Спирид Гордеевич. — Мы с тобою в таких летах, в которые ничего не пропускают мимо глаз; и ты, верно, заметил, что Алексей Иванович Левчинский и моя крестница Анна Максимовна давно любят друг друга.

— Любят! этого мало. Хорошо любить, да было бы чем жить. Куда он приведет мою дочь? У него только и есть, что ветхая хатка, которая скоро от ветра повалится.

— Откуда такая спесь, любезный кум? Сказать ли тебе всю правду: ведь ты сам немногим чем его богаче...

— Ну, бог весть! — перервал его речь майор, приосанившись и потирая себе руки.

— Но пусть и богаче, — подхватил войсковый писарь, — в чужом кармане считать я не умею и не охотник. Дай бог тебе разбогатеть; тебе же лучше. Худо только то, что ты не пом-



нишь добра, которое тебе сделано: ты позабыл уже, что Левчинский жизнью своею купил себе невесту, что для твоей дочери бросался он на верную почти смерть...

— Полно, полно, Спирид Гордеевич! — вскрикнул растроганный майор. — Вот тебе рука, что сватовство твое не пошло на ветер. Быть так! пусть Ганнуся будет женою Левчинского. Видно, на их счастье... Скажу тебе, дорогой мой кум, — продолжал он, понизив голос, — что нынешнюю ночь бог послал мне...

— Клад? — вскрикнул войсковый писарь с лукавою улыбкой.

— Пропадай они, эти проклятые клады! — отвечал майор. — Нет, друг мой, этого грех называть кладом: я отыскал дедовское наследство. — Тут майор снова рассказал о своей находке и подал найденную им записку войсковому писарю.

— Подлинно, в этом виден перст божий! — молвил Спирид Гордеевич, пробегая записку. — Сам бог благословляет наших молодых людей и посылает тебе это неожиданное счастье, чтоб не было больше никакого препятствия их союзу. Правда, и без того они богаты

не были б, а сыты были б. Ты знаешь, у меня нет ближней родни, а дальняя богаче меня вдесятеро и спесивее всотеро: ни один из этих родичей на меня и смотреть не хочет. Имение мое не родовое, а трудовое; я властен им располагать, как хочу...

— Что же ты из него хочешь сделать? — подхватил майор с обыкновенною своею нетерпеливостью.

— Я разделю его на две части, — отвечал Спирид Гордеевич, — одну при жизни еще уступаю Левчинскому, нареченному моему сыну; а другую по смерти моей завещаю своей крестнице, будущей жене его...

— Добрый, добрый сосед! милый, дорогой кум! — повторял Максим Кириллович в сильном движении души, крепко сжимая в дружеских объятиях, своего соседа.

— Пойдем же благословить наших детей, — отвечал сей последний, тихо вырываясь из его объятий, — зачем томить их долее мучительною неизвестностью!

Они вышли, держа друг друга за руки, и застали молодых людей в робком ожидании. Ганнуся сидела в углу, повеся голову; Левчин-

ский стоял подле печки, сложа руки и устремля глаза на синие изразцы, как будто бы хотел срисовывать все вычурные фигуры, которыми они были изукрашены.

— Вот, Максим Кириллович, прошу принять нареченного моего сына к себе в зятя, — сказал войсковый писарь церемониальным голосом, взяв Левчинского за руку и подведя его к майору.

— Рад хорошему человеку, — отвечал майор таким же тоном, — и уверен, что дочь моя будет с ним счастлива.

Через две недели все соседство пировало свадьбу Левчинского и Ганнуси. Брачные пиры продолжались несколько дней, и даже Спирид Гордеевич отбросил на время расчетливую свою бережливость: он, по тогдашнему понятию, пышно угостил созванных им соседних панов. Старый капрал, в день свадьбы доброй своей панянки, одевшись по-праздничному, бодро притопывал здоровою своею ногою под веселую музыку мятелицы, журавля и других плясовых малороссийских песен; а еврей Ицка Хопылевич как человек на все способный и всегда готовый угождать свое-

му помещику явился с своими цимбалами подыгрывать гуслисту и двум скрипачам, которых выписали из города.

Несмотря на все старания Максима Кирилловича, слух о быстром его обогащении скоро разнесся по всему околотку. Все узнали, что у него проявилось много денег, не узнали только, откуда он взял их. Стали доведываться у хлопцев, и те проболтались, что пан долгое время искал кладов. Ясное дело: он разжился найденными в земле сокровищами! Много нашлось охотников обогатиться этим легким способом; но все они не так счастливо кончили, как старый наш майор: не у всякого был такой добрый и предусмотрительный дедушка!

Заимодавцы Майоровы снова явились к нему, уже не с криком и угрозами, а с поздравлениями и низкими поклонами. Все они получили сполна свои деньги и от души пожелали другим своим должникам, в состоятельности коих не были уверены, так же счастливо поискать кладу.

Ицка Хопылевич также явился однажды с своею претензией, как говорил он. Честный

еврей расчел, что, по условию, ему следовала третья доля из находки майоровой; но Левчинский с смехом вызывал его отгадать посредством своей науки, где Максим Кириллович нашел свой клад; а Влас, случившийся тут же, советовал Ицке лучше прятать третью долю, которую отсчитает ему майор, нежели то серебро, которое он хотел утаить на Кудрявой могиле. «Иначе, — примолвил насмешливый Влас, — щеки твои опять рассыплются кладом. Ты знаешь, приятель, что и я отчасти смышлен в колдовстве и без волшебного прутика знаю, где отыскивать серебро».

# Оборотень

## Народная сказка

«Э то что за название?» — скажете или подумаете вы, любезные мои читатели (какому автору читатели не любезны!) И я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю что ж делать! виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе, разобрали уже по рукам все другие затейливые названия? Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры попеременно, одни за другими, делали набеги на читающее поколение или при лунном свете закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами щелканье зубов Вампира или вижу, как «от могильного белка адского глаза Ренегатова отделяется кровавый зрачок». Напуганный сими ужасами, я и сам, хотя в шутку, вздумал было попугать вас, милостивые государи! Но как мне в удел не даны ни мрачное воображение лорда Байрона, ни живая кисть Вальтера Скотта,

ни даже скрипучее перо г. д'Арленкура и ему подобных, и сама моя муза так своевольна, что часто смеется сквозь слезы и дрожа от страха; то я, повинуюсь свойственной полу ее причудливости, пушу слепо мое воображение, куда она его поведет. Скажу только в оправдание моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то новым, небывалым; а русские оборотни, сколько помню, до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту. Я мог бы вместо оборотня придумать что-нибудь другое или подменить его каким-либо лихим разбойником; но все другое новое, как я уже имел честь доложить вам, разобрано по рукам другими, а в книжных наших лавках залегли теперь такие большие шайки разбойников — не всегда клейменных (по крайней мере клеймом гения), но всегда печатных, — что если б мыши и моль не составили против них своей Santa Hermandad, то от них не было б житья порядочным людям.

Я думал написать это вступление в виде разговора кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей, но побоялся, что меня тотчас уличат в подражании; а

признаюсь, мне не хотелось бы прослыть подражателем... Свое, господа мои сподвижники на поприще бумаги и перьев, станем творить свое! Я хочу вам подать похвальный пример и для того вывожу напоказ небывалого русского оборотня.

В одном селении... Вы, добрые мои читатели, верно, не спросите, как называется это селение, в какой губернии и в каком уезде лежит оно. Удовольствуйтесь же тем, что я вам буду рассказывать, и не требуйте от меня лишнего.

Итак, дослушайте ж...

В одном селении жил-был старик по имени Ермолай. Все знали, что он умывается росой, собирает разные травы, ходя, беспрестанно что-то шепчет себе в длинные, седые усы, спит с открытыми глазами и пр. и пр. Чего же больше? он колдун, и злой колдун: так о нем толковало все селение. Надобно сказать, что селение было раскинуто по опушке большого, дремучего леса, а изба ермолаева была на самом выезде и почти в лесу. Ермолай сроду не был женат, но лет за пятнадцать до того времени, в которое мы с ним знакомимся, взял



он к себе приемыша, сироту, которого все сельские крестьяне называли прежде бобылем Артюшей; а теперь, из уважения ли к колдуну, или по росту и дородству самого дитины, стали величать Артемом Ермолаевичем: подлинного его отца никто не знал или не помнил, а и того больше никто о нем не заботился.

Артем был видный дитина: высок, толст, бел и румян, ну, словом, кровь с молоком. И то сказать, мудрено ли было колдуну вскормить и выхолить своего приемыша? Крестьяне были той веры, что колдун отпоил Артема молоком летучих мышей, что по ночам кикиморы чесали ему буйную голову, а нашептанный мартовский снег, которым старик умывал его, придавал его лицу белизну и румянец. Одного добрые крестьяне не могли добиться: каким образом старый Ермолай, так сказать, переродя Артема из тощего, бледного мальчишки в дородного и румяного парня, не научил его уму-разуму? ибо Артюша был прост, очень прост: молвит, бывало, что с дуба сорвет, до сотни не сочтет без ошибки и не всегда, бывало, впопад ответит, когда у него

спросят, которая у него правая рука и которая левая. Он так нехитро смотрел большими своими серыми глазами, так простодушно развешивал губы и так смешно переплетал ногами, когда случалось ему бежать, что сельские девушки подсмеивали его исподтишка и шепотом говаривали про него: «Красен как маков цвет, а глуп как горелый пень». В селении прозвали его вислогубым красиком, и все это не вслух, а тайком от колдуна, потому что все боялись обидеть его в лице его приемыша.

И то, однако ж, многие начали смекать, что злой старик догадывается о насмешках поселян над его нареченным сыном. В селении вдруг начал пропадать мелкий рогатый скот: у того из поселянне явится пары овец, у другого трех или четырех коз, у третьего пропадут все ягнята. Пастухи не раз видали, как из лесу вдруг выбежит большой-пребольшой волк, схватит одну или пару овец, стиснет им горло зубами, взбросит их к себе на спину — и был таков: мигом умчит их к лесу. Сколько ни кричи, ни тюкай — он и ухом не ведет; сколько ни трави собаками: они поплетутся прочь, поджав хвосты, и робко озираются на-

зад. Крестьяне тотчас взяли догадку, что это не простой волк, а оборотень; вслед же за этою догадкой пришла к ним и другая: что этот оборотень не иной кто, как сам Ермолай Парфентьевич.

Делать было нечего. Все боялись колдуна, хотя, сказать правду, до сих пор он не делал еще никакого зла селению; но все-таки он был колдун. Жаловаться на него — у кого найдешь расправу, когда и сам священник отрекался заклясть его? Самим его доконать — грешно, хоть он и колдун; притом же эти дела так пахнут торговой казнью и ссылкой, что у всякого невольно руки опустятся. Да и кто знает, что после смерти не станет он приходиться из могилы мертвецом и душить уже не овец, а людей, которые озлобили бы его преждевременным отправлением на тот свет? Как ни раскладывали крестьяне умом, сколько ни толковали на мирской сходке, э, все дело не клеилось. Пришлось им стать в тупик, горевать, здкуся губы, да молиться святым угодникам за себя и за стада свои.

В селении том жила красная девушка, Акулина Тимофеевна. Лицо у нее было, что на-

ливное яблочко, очи соколиные, брови соболиные — словом, она уродилась со всеми достоинствами и приманками красавиц, о которых перешли к нам достоверные предания в старинных русских песнях и сказках. Одна она никогда не смеялась над простаком Артюшей, а напротив того еще заступалась за него между своими подругами и уверяла их, что он детина хоть куда. Лукавая девушка смекнула, что старик Ермолай очень богат и очень стар, что жить ему на свете оставалось недолго и что после него единственным наследником его имени должен быть Артем Ермолаевич. Она так умильно поглядывала на Артема, так ласково говорила ему, встречаясь: «Здравствуй, добрый молодец!», что Артем, как ни был прост, а все заметил ее приветливость. Часто он, избочась и выступая голем, подходил к ней и заводил с нею речи — грех сказать: умные, а такие, которые, видно, нравились красавице и на которые она охотно отвечала. Короче: Акулина Тимофеевна скоро заслужила всю доверенность нелюдима Артюши: он еще чаще стал подходить к ней, облизываясь и с глупым смехом

выкрикивая: «Здорово, Акуля», отвечивал ей дружеский удар тяжелою своею ладонью по белому круглому плечу и таял пред нею... Да, таял, в полном смысле слова, потому что щеки его делались еще краснее, глаза еще мутнее и глупее, а багровые губы никак уже не сходились между собою и становились час от часу толще, час от часу влажнее, как вишня, размокшая в вине. Девушка стала уже не шутя подумывать, как бы ей пристроиться: то есть, с помощью обручального кольца да честного венца, прибрать к рукам и Артема и будущие его пожитки.

К ней-то, наконец, смышленные крестьяне обратились с просьбою помочь их горю. «Ты-де, Акулина Тимофевна, в селе у нас умный человек; а нам вестимо, что благоприятель твой Артем Ермолаевич с неба звезд не хватает, хоть и слывет сыном такого человека, у которого в седой бороде много художества. Порадей нам, а мы тебе за то чем по силам поклонимся. Одной только милости у тебя и просим: как бы досконально проведать, подлинной ли то волк душит наших овец или это — не в нашу меру будь сказано — Ермо-

лай Парфентьевич оборотнем над нами потешается?» Акулина Тимофеевна молчала несколько времени, покачивая в раздумье головушкой: с одной стороны, боялась она прогневить колдуна, который знал всю подноготную; с другой стороны, манили ее подарки... а кто к подаркам не лаком? Спросите устряпчих, спросите у судей, спросите у того и другого (не хочу называть всех поименно): всякий если не словами, так взглядом припомнит вам старую пословицу: кто богу не грешен, царю не виноват! И Акулина Тимофеевна была в этом смысле ежели не закоснелою грешницей, то, по крайней мере, не совсем чиста совестью. Она подумала-подумала — и дала крестьянам обещание похлопотать об их деле.

На другой день, встретясь с Артемом, больше прежнего была она с ним приветлива и ласкова, и больше прежнего таял бедный Артем: щеки его так и пылали, губы так и пухли. Умильно потрепав его по щеке полненькими своими пальчиками, плутовка сказала ему:

— Артюша, светик мой! молвила бы я тебе словцо, да боюсь: старик твой нас подметит. Где он теперь?

— А кто его вестъ! Бродит себе по лесу словно леший, да, тово-вона, чай дерет лыка на зиму.

— Скажи, пожалуйста: ты ничего за ним не примечаешь?

— Вот-те бог, ничего.

— А люди и невесть что трубят про него: что будто бы он колдун, что бегаёт оборотнем по лесу да изводит овец в околотке.

— Полно, моя ненаглядная: инда мне жутко от твоих речей.

— Послушай меня, сокол мой ясный: ведь тебя не убудет, когда ты присмотришь за ним да скажешь мне после, правда ли, нет ли вся та молва, которая идет о нем по селу. Старик тебя любит, так на тебя и не вскинется.

— Не убудет меня? да что же мне прибудет?

— А то, что я еще больше стану любить тебя, выйду за тебя замуж и тогда заживем припеваючи.

— Ой ли? да что же мне делать-то?

— А вот что: не поспи ты ночь да примечай, что старый твой станет кудесить. Куда он, туда и ты за ним; притаись где-нибудь в

углу или за кустом и все высматривай. После расскажешь мне, что увидишь.

— Ахти! страшно! Да еще и ночью. А когда же спать-то буду?

— Выспишься после. Зато уж как женою твоею буду, ты, мой голубчик, будешь спать вволю. Тебя не пошлют тогда ни дрова рубить, ни воду таскать: все я за тебя; а ты себе, пожалуй, поваливайся на печи да покушивай готовое.

— Ладно! будь по-твоему: стану приглядывать за моим стариком. Да скажи, он мне бока-то не отлощит?

— Не бойся ничего: он не узнает; а какова не мера, так я сама принесу ему повинную и скажу, что тебя научала.

— Ну, то-то, смотри же! чур, не выдавать меня.

— И, статимо ли дело! прощай же, дружок.

— Ин прощай, моя любушка!

При всей своей простоте, Артем не вовсе был трус: он уважал и боялся названного своего отца, а впрочем, по слабоумию ли, по врожденной ли отваге, не мог себе составить поня-



тия о страхах сверхъестественных. Может быть, и старик, воспитывая его в счастливом невежестве, старался удалять от него всякую мысль о колдунах, недобрых духах и обо всем тому подобном, чтобы не внушить ему каких-либо подозрений на свой счет и не заставить его замечать того, в чем нужно было от него таиться.

Наступила ночь. Артем, по обыкновению, лег рано в постель, укутался с головою; но не спал и прислушивался, спит ли старик. С вечера было темно; старик ворочался в постели и бормотал что-то себе под нос; но когда вошел месяц, тогда Ермолай встал, оделся, взял с собою какую-то вещь из сундука, стоявшего у него в изголовье, и вышел из избы, не скрипнув дверью. Мигом Артем был тоже на ногах, накинул на себя балахон и вышел также тихо. Притаясь в сенях, он выглядывал, куда пошел старик, и, видя, что он отправился к лесу, пустился вслед за ним, но так, чтобы всегда быть в тени... Так-то и самый простодушный человек имеет на свою долю некоторый участок природной тонкости и употребляет его в дело, когда нужно ему провести

другого, кто его посильнее или похитрее. Но довольно о тонкости простаков: посмотрим, что-то делает наш Артем.

Лепясь вдоль забора, прокрадываясь позадь кустов и, в случае нужды, ползучи по траве как ящерица, успел он пробраться за стариком в самую чащу леса. Середь этой чащи лежала поляна, а середь поляны стоял осиновый пенёк, вышиною почти вполчеловека. К нему-то пошел старый колдун, и вот что видел Артем из своей засады, которою служили ему самые близкие к поляне кусты орешника.

Лучи месяца упали на самый сруб осинового пня, и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня и при каждом обходе бормотал вполголоса такой заговор: «На море Океане на острове Буяне, на полой поляне, светит месяц на осинов пенёк: около того пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтоб они серого волка не брали

и теплой бы с него шкуры не драли». Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. После этого заговора старый колдун стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня небольшой ножик с медным черенком, перекинулся чрез него трижды таким образом, чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг Артем видит: старика не стало, а наместо его очутился страшный серый волчище. Злой этот зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми своими глазами, обнюхал воздух во все четыре стороны, завыл грозным голосом и пустился бежать вон из лесу, так что скоро и след его простыл.

Во все это время Артем дрожал от страха как осиновый лист. Зубы его так часто и так крепко стучали одни о другие, что на них можно было истолочь четверик гречневой крупы; а губы его, впервые может быть от рождения, сошлись вместе, сжались и посинели. По уходе оборотня он, однако ж, хотя и не скоро, оправился и ободрился. Простота, говорят, хуже воровства: это не всегда правда.

Умный человек на месте нашего Артема бежал бы без оглядки из лесу и другу и недругу заказал бы подмечать за колдунами; а наш Артем сделал если не умнее, то смелее, как мы сейчас увидим. Он подошел к пню, придумался, почесал буйную свою голову — и после давай обходить около пня и твердить то, что слышал перед сим от старого колдуна. Мало этого: он стал лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным черенком и за третьим разом, глядь — вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длинною, пушистою шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который тащился как метла. Дивясь такой скорой перемене своего подобья и платья, он попробовал молвить слово — и что же? вместо человеческого голоса завыл волком; попытался бежать — новое чудо! уже ноги его не цеплялись, как бывало прежде, друг за другом.

Новый оборотень не мог говорить, но не лишился способности рассуждать, то есть столько, сколько он обыкновенно рассуждал в человеческом своем виде. Мне, признаться,

никогда не случилось слышать, чтобы оборотни в волчьей шкуре становились умнее прежнего. Вот наш Артем остановился и призадумался, как ему употребить в пользу и удовольствие новую свою личину? Тут ему пришла мысль, достойная того, в чьей голове она зародилась: он вспомнил, как часто молодые парни их селения над ним смеивались. «Давай-ка, — думал он, — посмеюсь и я над ними: пойду утром в селение и стану бросаться на всякого... как же эти удальцы будут меня бояться! Однако ж прежде попытаюсь-ка выспаться: в этой шубе мне будет и тепло и мягко даже на сырой траве...» Вздумано — сделано: наш Артем, или оборотень, забрался снова в кусты орешника, лег и заснул крепким сном.

Долго ли спал он, не знаю наверное; только солнце было уже очень высоко, когда он пробудился. Он встряхнулся, посмотрел на себя, и новый его наряд при дневном свете так показался ему забавен, что смех его пронял: он хотел захохотать — но вместо хохота раздался такой пронзительный, отрывистый волчий вой, что бедный Артем сам его испу-

гался. Потом, опомнясь и видя, что он пугается собственного смеха, он захохотал еще сильнее прежнего, и еще громче и пронзительнее раздался вой. Нечего делать: как ни смешно ему было, а поневоле должно было удерживаться, чтоб не оглушить самого себя. Тут он вспомнил о вчерашнем своем намерении — потешиться над своими сверстниками, молодыми сельскими парнями. Вот он и пошел к селению. Дорогою попадались ему крестьяне, ехавшие в поле на работу; каждый из них, завидя издали смелого, необыкновенной величины волка, никак не подозревал, чтоб это был простак Артем; все думали, что то был точно оборотень, — только отец его, старый колдун Ермолай. Оттого каждый крестился, закрывал себе глаза руками и говорил: чур меня! чур меня! Это еще и больше веселило простодушного Артема, еще больше поджигало его идти в селение; никогда, никто его столько не боялся, как теперь: какая радость! Да то ли еще будет в селении? как все всполошатся, крикнут: «Волк!» — станут его травить собаками, уськать, тюкать, соберутся на него с копиями и рогатинами, а он и ухом не будет

вести: его ни дубина, ни железо, ни пуля не возьмет и собаки боятся... То-то потеха!

И в самом деле, все селение поднялось на серого забияку, Сперва встречные бежали от него, крестьянки поскорее заперли овец и коз своих в хлева, а сами запрятались в подушки: все знали, что то был не простой волк. Скоро, однако ж, нашлись удальцы, крикнули по селению, что один конец должен быть с старым колдуном, и повалили толпою: кто с дубиной, кто с топором, кто с засовом — обступили волка и давай нападать на него. Сначала он храбрился, бросался то на того, то на другого, щетинился, скалил зубы и щелкал ими; но наконец робость его одолела: он знал, что, в силу заговора, его не убьют и даже не наколотят ему боков; но могут ощипать на нем шерсть, оборвать хвост, и тогда — как он явится к строгому своему отцу в разодранном балахоне и с оторванными лапами? Беда!

Правда, не нашлось еще смельчака, который бы вышел с ним переведаться: все уськали, кричали только издали, а ни один не подавался вперед. Собак же и вовсе не могли кликать; они разбрелись по конурам и носов

не выказывали. Зато люди все стояли в кругу и прорваться сквозь них никак нельзя было. Еще новое горе бедному нашему оборотню: он ничего не ел от самого вечера и желудок его громко жаловался на пустоту. Как быть? и кто поручится, что отец его уже не в селении и не узнает о его проказах? Ахти! вот до чего доводит безрассудство! он и забыл посмотреть, каким образом отец его получит свой человеческий вид! Ну, придется горюну Артему умереть с голоду или исчахнуть с тоски-кручины в волчьей коже... Он задрожал всеми четырьмя ногами, упал, свернулся в комок и уключил голову промеж передних лап.

Крестьяне рассуждали, что им делать с оборотнем: зарыть ли его живого в яму или связать и представить в волостное правление? В это время слух о трусости оборотня разнесся уже по селению, и женщины отважились показаться на улице. Одна девушка пришла даже к кругу, составленному крестьянами около мнимого волка: эта смелая девушка была Акулина Тимофеевна. Она тотчас смекнула дело, просила крестьян расступиться, вошла в круг и повела такую умную речь:



— Добрые люди! не дразните врага, когда он сам, как видно, оставляет слово на мир. Смертью оборотня вы добра себе немного сделаете, а худа не оберетесь; в судах же, я слышала, так водится, что и оборотень с деньгами оправится почище всякого честного бедняка. Послушайте меня: разойдитесь с богом по домам, а этого оборотня я поведу к себе и ручаюсь вам, что вам же от того будет лучше.

Все крестьяне слушали в оба уха и дивились уму-разуму красной девицы. Никто из них не придумал умнее того, что она говорила: они послушались ее речей и расступились в разные стороны. Тут она выплела из косы своей цветную ленту и подошла к оборотню, который в это время потянулся и сам вытянул шею, как будто бы знал, что затевала девушка.

Акулина Тимофевна обвязала ему ленту вокруг шеи и повела его к себе в дом. По простоте и робости оборотня она тотчас отгадала, кто он таков. Введя его в пустую клеть, она накормила его, чем могла, и постлала ему в углу свежей соломы; потом начала его журить за безрассудную его неосторожность.

Бедный Артем жалким и вместе смешным образом сморщил волчье свое рыло, слезы капали из мутно-красных его глаз, и он, верно бы, заревел как малый ребенок, если бы не побоялся завыть по-волчьи и снова взбудоражить всю деревню. Девушка заперла его замком в клетки и оставила его отдыхать и горевать на свободе.

Вечером Акулина Тимофевна пошла к старику Ермолаю, кинулась ему в ноги, рассказала ему, что сама знала, и сняла всю вину на себя. Старый колдун уже знал обо всем, сердился на Артема и твердил: «Ништо ему, пусть-ка погуляет в волчьей коже!» Но просьбы и слезы печальной красавицы были так убедительны и красноречивы, что старик и сам почти от них растаял. Он заткнул за пояс известный уже нам ножик с медным черенком, взял жестяной фонарик под полу и пошел с девушкой. Вошедши в клеть, прежде всего порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривлянья, каких ни зверю, ни человеку не удавалось никогда делать, и был так звонко и пронзительно, что чуть не оглушил и старика, и девуш-

ку, и всю деревню. Вслед за сим наказанием колдун обошел трижды около оборотня и что-то шептал себе под нос; потом растянул его на все четыре лапы и колдовским своим ножиком прорезал у него кожу накрест, от затылка до хвоста и впоперек спины. Распоротый балахон упал на солому, и в тот же миг Артем вскочил на ноги, с открытым своим ртом, простодушным взглядом и очень, очень красными ушами. Отряхнувшись и потершись плечами о стену, он со всех ног повалился на землю перед нареченным своим отцом и, всхлипывая, кричал жалким голосом: «Виноват, батюшка! прости». Старик отечески потазал его снова, пожурил — да и простил.

Акулина Тимофевна очень полюбилась старому Ермолаю: он заметил в ней природный ум и расчел в мыслях, что лучше всего дать такую умную жену его приемышу, который, после его смерти, живучи с нею, по крайней мере не растратит того, что старому сребролюбцу досталось такую дорогою ценою — то есть накопленных им за грехи свои червончиков и рублевичков.

Короче: дня через три вся деревня пирова-

ла на свадьбе Артема Ермолаевича с Акулиной Тимофевной; и хотя все знали, что старик Ермолай злой колдун, но от пьяной его браги и сладкого меду немногие отказывались. Скоро после того Ермолай продал свою избу и поле и перешел вместе с молодыми, названным сыном и невесткою, в какую-то дальнюю деревню, где дотоле и слыхом про него не слышали. Сказывают, что он провел остальные годы своей жизни честно и смиренно, делал добро и помогал бедным, зато умер тихо и похоронен как добрый на кладбище с прочею усопшею братией. Сказывают также, что Артем, пожив несколько лет с умною и сметливою женою, сделался вполовину меньше прежнего прост и даже в степенных летах был выбран в сельские старосты. Каково он судил-рядил, не знаю; а только в деревне все в один голос трубили, что Акулина Тимофевна была чельшко изо всех умных баб.

## Эпилог

Многие той веры, что после всякой сказки, басни или побасенки должно непременно следовать нравоучение; что всякое повество-

вание должно иметь нравственную цель и что все печатное должно служить для общества самым спасительным антидотом от пороков. Как вы думаете об этом, любезные мои читатели, и какое нравоучение присудите мне прибрав к этой истинной или, по крайней мере, очень правдоподобной повести? Что до меня касается — я ничего не умел к ней придумать, кроме следующего наставления, что тот, у кого нет волчьей повадки, не должен наряжаться волком. Нравоучение близкое и ясное, и кажется — если, впрочем, самолюбие меня не обманывает, — оно ничем не хуже того, которое покойник Ломоносов, вечно-лирической памяти, прибрав к своей басне «Волк пастух»:

*Я басню всю коротким толком  
Хочу вам, господа, сказать  
Кто в свете сем родился волком,  
Тому лисицей не бывать*

## Кикимора

### Рассказ русского крестьянина на большой дороге

**В**от видите ли, батюшка барин, было тому давню, я еще бегивал босиком да играл в бабки... А сказать правду, я был мастер играть: бывало, что на кону ни стоит, все как рукой сниму...

— Ты беспрестанно отбиваешься от своего рассказа, любезный Фаддей! Держись одного, не припутывай ничего стороннего, или, чтобы тебе было понятнее: правь по большой дороге, не сворачивай на сторону и не режь колесами новой тропы по целику и пашне.

— Виноват, батюшка барин!.. Ну дружней, голубчики, с горки на горку: барин даст на водку... Да о чем бишь мы говорили, батюшка барин?

— Вот уже добрые полчаса, как ты мне обещаешь что-то рассказать о Кикиморе, а до сих пор мы еще не дошли до дела.

— Воистину так, батюшка барин; сам вижу, что мой грех. Изволь же слушать, мило-

стивец!

Как я молвил глупое мое слово вашей милости, в те поры был я еще мальчишкой, не больно велик, годов о двенадцати. Жил тогда в нашем селе старый крестьянин, Панкрат Пантелеев, с женою, тоже старухою, Марфою Емельяновною. Жили они как у бога за печкой, всего было довольно: лошадей, коров и овец — видимо-невидимо; а разной рухляди да богатели и с сором не выметешь. Двор у них был как город: две избы со светелками на улицу, а клетей, амбаров и хлебных закровов столько, что стало бы на обывателей целого приселка. И то правда, что у них своя семья была большая: двое сыновей, да трое внуков женатых, да двое внуков подростков, да маленькая внучка, любимица бабушки, которая ее нежила, холила да лелеяла, так что и синь пороху не даст, бывало, пасть на нее. Все шло им в руку; а все крестьяне в селении готовы были за них положить любой перст на уголья, что ни за стариками, ни за молодыми никакого худа не важивалось. Вся семья была добрая и к богу прибежная, хаживала в церковь божию, говела по дважды в год, работа-

ла, что называется, изо всех жил, наделяла нищую братию и помогала в нужде соседям. Сами хозяева дивились своей удаче и благодарили господа бога за его божье милосердие.

Надобно вам сказать, барин, что хотя они и прежде были людьми зажиточными, только не всегда им была такая удача, как в ту пору: а та пора началась от рождения внучки, любимицы бабушкиной. Внучка эта, маленькая Варя, спала всегда с старою Марфой, в особой светелке. Вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную: с вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается играя, с растрепанными волосами, с запыленным лицом; поутру старуха посмотрит — лицо у Вари чистехонько, бело и румяно как кровь с молоком, волосы причесаны и приглажены, инда лоск от них, словно теплым квасом смочены; сорочка вымыта белым-бело, а перина и изголовье взбиты как лебяжий пух. Дивились старики такому чуду и между собою тишком толковали, что тут-де что-то не гладко. Перед тем еще старуха не раз слыхала по ночам, как вертится веретено и нитка жужжит в потем-



ках; а утром, бывало, посмотрит — у нее пряжи прибавилось вдвое против вчерашнего. Вот и стали они подмечать: засветят, бывало, ночник с вечера и сговорятся целою семьею сидеть у постели Вариной всю ночь напролет... Не тут-то было! незадолго до первых петухов сон их одолеет, и все уснут кто где сидел; а поутру, бывало, смех поглядеть на них: иной храпит, ущемя нос между коленами; другой хотел почесать у себя за ухом, да так и закачался сонный, а палец и ходит взад и вперед по воздуху, словно маятник в больших барских часах; третий зевнул до ушей, когда нашла на него дрема, не закрыл еще рта — и зачоченел со сна; четвертый, раскачавшись, упал под лавку, да там и проспал до пробуду. А в те часы, как они спали, холенье и убирание Вари шло своим чередом: к утру она была обшита и обмыта, причесана и приглажена как куколка.

Стали допытываться от самой Вари, не видала ли она чего до ночам? Однако ж Варя божила, что спала каждую ночь без просыпу; а только чудились ей во сне то сады с золотыми яблочками, то заморские птички с разно-

цветными перышками, которые отливались радугой, то большие светлые палаты с разными диковинками, которые горели как жар и отовсюду сыпали искры. Днем же Варюша видала, когда ей доводилось быть одной в большой избе, что подле светелки — превеликую и претолстую кошку, крупнее самого ражего барана, серую, с мелкими белыми крапинами, с большою уродливою головою, с яркими глазами, которые светились как уголья, с короткими толстыми ушами и с длинным пушистым хвостом, который как плеть обвивался трижды вокруг туловища. Кошка эта, по словам Варюши, бессменно сидела за печкой, в большой печуре, и когда Варе случалось проходить мимо ее, то кошка умильно на нее поглядывала, поводила усами, скалила зубы, помахивала хвостом около шеи и протягивала к девочке длинную, мохнатую свою лапу с страшными железными когтями, которые как серпы высывались из-под пальцев. Малютка Варя признавалась, что, несмотря на величину и уродливость этой кошки, она все не боялась ее и сама иногда протягивала к ней ручонку и брала ее за лапу, которая, сда-

валось Варе, была холодна как лед.

Старики ахнули и смекнули делом, что у них в доме поселилась Кикимора; и хотя не видели от нее никакого зла, а все только дробное, однако же, как люди набожные не хотели терпеть у себя в дому никакой нечисти. У нас был тогда в деревне священник, отец Савелий, вечная ему память. Нечего сказать, хороший был человек: исправлял все требы как нельзя лучше и никогда не требовал за них лишнего, а еще и своим готов был поступиться, когда видел кого при недостатках; каждое воскресенье и каждый праздник просто и внятно говаривал он проповеди и научал прихожан своих, как быть добрыми христианами, хорошими домоводцами, исправно платить подати государю и оброк помещику; сам он был человек трезвенный и крестьян уговаривал отходить подальше от кабака, словно от огня. Одно в нем было худо: человек он был ученый, знал много и все толковал по-своему:

— А разве крестьяне ему не верили?

— Ну, верили, да не во всем, батюшка барин. Бывало, расскажут ему, что ведьма в бе-

лом саване доит коров в таком-то доме, что там-то видели оборотня, который прикинулся волком либо собакой; что в такой-то двор, к молодежи, летает по ночам огненный змей; а батька Савелий, бывало, и смеется, и учнет толковать, что огненный змей — не змей, а... не припомню, как он величал его: что-то похоже на мухомор; что это-де воздушные огни, а не сила нечистая; напротив-де того, эти огни очищают воздух; ну, словом, разные такие затеи, что и в голову не лезет. Это и взорвет прихожан; они и твердят между собою: батька-де наш от ученья ума рехнулся.

— Глупцы же были ваши крестьяне, друг Фаддей!

— Было всякого, милосердый господин: ум на ум не приходит; были между ними и глупые люди, были и себе на уме. Все же они держались старой поговорки: отцы-де наши не глупее нас были, когда этому верили и нам передали свою старую веру.

— Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надобно б было толковать сельским ребятам с тех лет, ко-

гда у них еще молоко на губах не обсохло; а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий.

— Как вашей милости угодно, — проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами.

— Что ж ты замолчал? рассказывай дальше.

— Да, может быть, мои простые речи не под стать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут?.. Мы, крестьяне, всегда спроста сохрем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру.

— И, полно, приятель: видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты доброю волею отступишься от гривенника на водку, который я тебе обещал?

— Ин быть по-вашему, батюшка барин, — промолвил Фаддей, веселее и бодрее прежнего. — Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью, чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Савелий и давай их журить: толковал им, что и старикам, и девочке, и всей семье только мерещилось то, чему они будто бы сдуру верили; что Кикимор нет и не

бывало на свете и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабьим сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед богом и недостойны сана священнического. Старики, повеся нос, побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимору.

В селении у нас был тогда управитель, не ведаю, немец или француз, из Митавы. Звали его по имени и по отчеству Вот-он Иванович, а прозвища его и вовсе пересказать не умею. Земский наш Елисей, что был тогда на конторе, в Дреком доме, называл его еще господин фон-барон. Этот фон-барон был великий балагур: когда, бывало, отдыхаем после работы на барщине, то он и пустится в рассказы: о заморских людях, ростом с локоть, на козьих ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят глазами, щелкают зубами и свистом пугают прохожих, о жар-птице, о больших морских раках, у которых каждая клешня по полуверсте длиною и которых он сам видал на краю света... Да мало ли чего он нам рассказывал: всего не складешь и в три короба.

Говорил он по-русски не больно хорошо: иногда в речах его, хоть лоб взрежь, никак не выразишь; а начнет, бывало, рассказывать — так и сыплет речами: инда уши развесишь и о работе забудешь; да он и сам на тот раз не скоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той веры, что у Вот-он Ивановича было много в носу; что до меня, я ничего не заметил, кроме табаку, который он большими напойками набивал себе в нос из старой, закоптелой тавлинки. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молотьбы хлеба; только молотильня его чуть было самому ему не размолотила головы, и сколько ни бились над нею человек двенадцать — ни одного снопа не могли околотить; а сеяльная машина на одной борозде высеяла столько, сколько на целую десятину в нее было засыпано. Однако же крестьяне все по-прежнему думали, что в нем сидит беговица и что его не достанет только на путное дело. К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с поклоном и просьбою, чтоб он избавил его дом от вражьего наваждения.

Пантелеич с старухою пустились в барский двор, где жил тогда Вот-он Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке, да того-сего прочего, примером сказать, рублей десятка на два. Наш иноземец было и зазнался: «Сотна рублиф, менши ни копейка». Насилу усовестили его взять за труды беленькую, и то еще — отдай ему деньги вперед. Да велел он старикам купить три бутылки красного вина: его-де Кикиморы боятся; да штоф рому и голову сахару — опрыскивать и окуривать избу с наговором. Нечего было делать; старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками, и к вечеру как тут все явилось. Пошли с докладом к Вот-он Ивановичу, он и приплелся в дом к Панкрату, весь в черном. Сперва начал отведывать вино, велел согреть воды, отколол большей кусок сахару, положил в кипяток и долил ромом; и это все он отведывал, чтоб узнать, годятся ли снадобья для нашептыванья. Вот как выпил он бутылку виноградного да осушил целую чашку раствору из рому с сахаром, — и разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как начал кри-



чать на каком-то неведомом языке, — ну, хоть святых вон неси! Велел подать четыре сковороды с горячими угольями, всыпал в каждую по щепотке мелкого сахара и расставил по всем четырем углам; после того шептал что-то над бутылками и штофом, взял глоток рома в рот, пустился бегать по избе да прыскать на стены, ломаться да коверкаться, кричать изо всей силы, инда у всех волосы дыбом стали. Так он принимался до трех раз; после сказал, что все нашептанные снадобья должно вынести из дому в новой скатерти и никогда ничего этого не вносить снова в дом; что с ними-де вынесется из дому Кикимора; велел подать скатерть, положил в нее бутылки, штоф и сахар, поздравил хозяев с избавлением от Кикиморы и понес скатерть с собою, шатаясь с боку на бок, надобно думать, от усталости.

— Что же, Кикимора больше не оставалась в доме Панкратовом?

— Вот то-то и беда, сударь, что вышло наоборот. Видно, что колдовство нашего фон-барона было не в добрый час, или он кудесник только курам на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой

счет; только вышло, как я вам сказал, наоборот. Доселе Кикимора делала только добро: холила ребенка и пряла на хозяйку, никто ее за тем ни видал, ни слышал; а с этих пор, видно ее раздражили шептаньем да колдовством, она стала по ночам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит на потолке, словно вся изба рушится; то впотьмах подкатится клубом кому-либо из семейн под ноги и собьет его как овсяный сноп; то, когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то середь ночи запрыгает по полу синими огоньками...

Словом, что ночь, то новые проказы, то новый испуг для семьи. Одну только маленькую Варю она и не трогала; и ту перестала обмы-вать и чесать, а часто на рассвете находили, что ребенок спал головою вниз, а ногами на подушках.

Так билась бедная семья круглый год. В один день пришла к ним в дом старушка нищая, вся в лохмотьях, и лицо у нее сжалось и сморщилось, словно сушеная груша или прошлогоднее яблоко от морозу. Тетка Емельяновна, как вы уже слышали, сударь, была ста-

руха добрая и любила наделять нищую братию. Посадила она божью странницу за стол, накормила, напоила, дала ей денег алтын пять и наделила ее платьишком. Вот нищая и начала молить бога за всю семью; а после молвила: «Вижу, православные христиане, что господь бог наградил вас своею милостью: дом у вас как полная чаша; только не все у вас в дому здорово». — «Ох! так-то нездорово, что и не приведи бог! — отвечала тетка Марфа. — Посадили к нам, зная недобрые люди из зависти, окаянную Кикимору; она у нас по ночам все вверх дном и ворочает». — «Этому горю можно помочь; у вас не без старателей. Молитесь только богу да сделайте то, что я вам скажу: все как рукою снимет». — «Матушка ты наша родная! — взмолилась ей Емельяновна. — Чем хочешь поступимся, лишь бы эту нечисть выжить из дому». — «Слушайте ж, добрые люди! Сегодня у нас воскресенье. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни... Да, дровни; не дивитесь тому, что нынче лето; этому так быть надобно... Запрягите вы дровни четом, да не парой...» — «Как же этому можно быть,

бабушка? — спросил средний внук Панкратов, молодой парень лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал. — Ведь что чет, что пара — все равно!» — «Велик, парень, вырос, да ума не вынес, — отвечала ему старуха нищая, — не дашь домолвить, а слова властно с дуба рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову, или наоборот: корову в корень, а лошадь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю, и подвезите дровни вплоть к сеням; расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: „Честен дом, святые углы! отметаите вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века. Вон, окаянный!“ Да трижды перебросьте горсть земли чрез плечо из сеней к дровням, да трижды сплюньте; после тогосвезите дровни этою ж самую упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу: увидите, что с этой поры вашего

врага и в помине больше не будет». — Старикки поблагодарили нищую, наделили ее вдесятеро больше прежнего и отпустили с богом.

В эти трое суток, от воскресенья до среды, Кикимора, видно почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила и проказила пуще прежнего. То посуду столкнет с полка, то навалится на кого в ночи и давит, то лапти все соберет в кучу и приплетет их. одни к другим бичевками так плотно, что их сам бес не распутает; то хлебное зерно перетаскает из сушила на ледник, а лед из ледника на сушило. В последний день и того хуже: целое утро даже не было никому покою. Весь домашний скарб был переверочен вверх дном, и во всем доме не осталось ни кринки, ни кувшина неразбитого. Страшнее же всего было вот что: вдруг увидели, что маленькая Варя, которая играла на дворе, остановилась среди двора, размахнув ручонками, смотрела долго на кровлю, как будто бы там кто манил ее, и, не спуская глаз с кровли, бросилась к стене, начала карабкаться на нее как котенок, взобралась на самый гребень кровли и стала, сложа ручонки, словно к смерти приговоренная. У

всей семьи опустили руки; все, не смигивая, смотрели на малютку, когда она, подняв глаза к небу, стояла как вкопанная на самой верхушке, бледна как полотно, и духу не переводила. Судите же, батюшка барин, каково было ее родным видеть, что малютка Варя вдруг стремглав полетела с крыши, как будто бы кто из пушки ею выстрелил! Все бросились к малютке: в ней не было ни дыхания, ни жизни; тело было холодно как лед и заостенело; ни кровинки в лице и по всем составам; а никакого пятна или ушиба заметно не было. Старуха бабушка с воем понесла ее в избу и положила под святыми; отец и мать так и бились над нею; а старик Панкрат, погоревав малую толику, тотчас хватился за ум, чтоб им доле не терпеть от дьявольского наваждения. Велел внукам поскорее запрягать дровни, как им заказывала нищая, и подвезти к сням; а сам приготовил все, как было велено, и ждал назначенного часа. На старика и внуков его, бывших тогда на дворе, сыпались черепья, иверни кирпичей и мелкие каменья; а женщин в избе беспрестанно пугал то рев, то гул, то вой, то страшное урчанье и мяука-

нье, словно со всего света кошки сбежались под одну крышу. То потолок начинал дрожать: так и перебирало всеми половицами и сквозь них на голову сеяло песком и золою. Все бабы, лепясь одна к другой, сжались около тела маленькой Вари и дух притаили. Так прошло не ведаю сколько часов. Вот на барском дворе зазвонили в колокол. Это бывало всегда ровно в полдень, когда садовых работников сзывали к обеду. Пантелеич опрометью кинулся в избу, схватил метлу — и давай выметать да твердить заговор, которому нищая его научила. Проказы унялись; только мяуканье, и фырканье, и детский плач, и бабий вой раздавались по всем углам. Скоро и этого не стало слышно: обе избы, светлицы, потолки и сени были выметены; старик трижды бросил через плечо землю горстями, трижды плюнул и велел двоим внукам взять лошадь и корову под уздцы да вести их с дровнями со двора, вон из деревни, через выгон и к лесу. На дворе и по улице столпились крестьяне целой деревни, все, от мала до велика, и провожали Кикимору до самого леса...

— И ты был тут же?

— Как не быть, батюшка барин. И теперь помню, что меня в жаркую пору такой холод пронял со страху, что зуб на зуб не попадал; а за ушами так и жало, словно кто стягивал у меня кожу со всей головы.

— Да видел ли ты Кикимору?

— Нет, грех сказать, не видал. Видал только дровни, а на них тулуп овчиной вверх; больше ничего.

— Кто ж ее видел?

— Да бог весть! Сказывала мне, правда, тетка Афимья, спустя после того годов с десяток, будто она слышала от соседки, а та от своей золовки, что была у нас тогда в селе одна старуха, про которую шла слава, что она мороковала колдовством и часто видала то, чего другие не видели; и что эта-де старуха видала на дровнях большую-пребольшую серую кошку с белыми крапинами; что кошка эта сидела на тулупе, сложа все четыре лапы вместе и ощетиня шерсть, сверкала глазами и страшно скалила зубы во все стороны. Как бы то ни было, только с сей поры ни в Панкратовом доме, ни в целой деревне и слыхом не слышали больше про Кикимору.



— Радуюсь и поздравляю вашу деревню...  
А что ж было с малюткою Варей?

— Бедняжка все лежала как мертвая. Старики и вся семья поплакали над нею и хотели ее похоронить. Позвали отца Савелья. Он посмотрел на тело и сказал, что малютке сделанся младенческий припадок, словно от испугу, и ни за что не хотел ее хоронить до трех суток. Через три дня, в воскресенье, та же старушка нищая постучалась у окна в Панкратовом доме; ее впустили. Емельяновна рассказала ей всю подноготную и повела ее в светлицу, где лежало тело Варюши. Нищая велела его переложить со стола на лавку, поставила икону подле изголовья, затеплила свечку, села сама у изголовья, положила голову ребенка к себе на колени и обхватила ее обеими руками. После того выслала она всю семью из светлицы, и даже вон из избы. Что она делала над ребенком, она только сама знает; а через несколько часов Варя очнулась как встрепанная и к вечеру играла уже с другими детьми на улице.

— Ну, что же далее?

— Да больше ничего, сударь. Все пошло с

тех пор подобру-поздорову.

— Благодарствую, друг мой, за сказку: она очень забавна.

— Гм! какая вам, сударь, сказка; а бедной-то семье вовсе было не забавно во время этой передряги.

— Но послушай, приятель: ведь ты сам не видал Кикиморы?

— Нет. Я уж об этом докладывал вашей милости.

— И Петр, и Яков, и все крестьяне вашей деревни тоже ее не видали?

— Вестимо, так!

— Что же рассказывал о ней сам старик Панкрат?

— Ничего, до гробовой своей доски. Еще, бывало, и осердится, старый хрен, как поведут об этом слово, и вскинется с бранью: «Вздор-де вы, ребята, мелете, только на мой дом позор кладете!» И детям и внукам, видно, заказал об этом говорить: ни от кого из них, бывало, не добьешься толку... Так она, проклятая, напугала старика.

— Так я тебе объясню все дело; слушай. Старые бабы или завистники Панкратовы

взвели на дом его небылицу, потому что на семью его нельзя было выдумать какой-либо клеветы. Эту небылицу разнесли они по всей деревне; вам показалось то, чего вы на самом деле не видели, а поверили чужим словам. Молва эта удержалась у вас в селении; старухи твердят ее малым ребятам, и, таким образом, она переходит от старшего к младшему... Вот и вся истерия твоей Кикиморы.

— Моей, сударь? Упаси меня бог от нее...

Тут Фаддей перекрестился и вслед за тем прикрикнул на лошадей, замахал кнутом и помчал во весь дух. Со всем моим старанием я не мог от него добиться более ни слова. В таком упрямом молчании довез он меня до следующей станции, где так же молчаливо поблагодарил меня поклоном, когда я отдал ему условленные сверх прогонов деньги.

# Сказка о медведе Костоломе и об Иване, купецком сыне

*Посвящается баронессе С. М. Дельвиц*

**В** старые годы, в молодые дни, не за нашею памятью, а при наших дедах да прапрадедах жил-был в дремучих лесах во муромских страшный медведь, а звали его Костолом. Такой он страх задал люду православному, что ни душа человеческая, бывало, не поедет в лес за дровами, а молодые молодки и малые дети давным-давно отвыкли туда ходить по грибы аль по малину. Нападет, бывало, супостат-медведь на лошадь ли, на корову ли, на прохожего ли оплошального — и давай ломить тяжелою своею лапою по бокам да в голову, инда гул идет по лесу и по всем околоткам; череп свернет, мозг выест, кровь выпьет, а белые кости огложет, истроцит да и в кучку сложит: оттого и прозвали его Костоломом. Добрые люди ума не могли приложить, что это было за диво. Иные говорили: это-де божье попущение, другие смекали, что то был колдун-оборотень, третьи, что леший прики-

нулся медведем, а четвертые, что это сам лукавый в медвежьей шкуре. Как бы то ни было, только хоть никто из живых не видал его, а все были той веры, что когда Костолом по лесу идет то с лесом равен, а в траве ползет — с травой равен. Горевали бедные крестьяне по соседним селам; туго им приходилось: ни самим нельзя стало выезжать в поле на работы, страха ради медвежьего, ни стада выгонять на пастьбу. Сильных могучих богатырей, Ильи Муромца да Добрыни Никитича, не было уже тогда на белом свете, и косточки их давно уже сотлели; а мечи их кладенцы, сбруи ратные и копья булатные позаржавели: так избавить крестьян от беды и очистить муромский лес от медведя Костолома было некому.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Прошло неведомо сколько времени, а медведь Костолом все по-прежнему буянил в лесу муромском. Вот забрел в одно ближнее к лесу селение высокий и дюжий парень, статен, бел, румян, белокур, лицо полно и пригоже, словно красное солнышко. Все девицы и молодницы на него загляделися, а молодые

парни от зависти кусали себе губы. За плечами у прихожего была большая связка с товарами, а в руках тяжелый железный аршин, которым он, от скуки, помахивал, как павлиньим перышком. «Здравствуй, добрый молодец, — повел с ним речь Вавила, сельский староста, издалека ли идешь, куда путь держишь?» — «Не больно издалека, дядя: города я Коврова, села Хворостова, прихода Рождества Христова; а путь держу к Макарьеву на ярманку». — «А с какими товарами, не во гнев тебе будь сказано?» — «Да с разными крестьянскими потребами и бабьими затеями: ино платки да кумачи, ино серьги да перстенъки». — «А как величать тебя, торговый гость?» — «Зовут меня: Иван, купецкий сын». — «И ты не боишься один ходить по белу свету с товарами?» — «Чего бояться, дядя? на дикого зверя есть у меня вот этот аршин, а с лихим человеком я и просто своими руками справлюсь». — «Зверь зверю не чета, удалый молодец. Вот, недалеко сказать, и у нас завелась экая причина в муромском лесу: медведь Костолом дерет у нас и людей, и всякий крупный и мелкий скот». — «Подавайте мне его! —

вскрикнул Иван, купецкий сын, засуча рукава красной александрийской своей рубашки. — Я с ним слажу, будь хоть он семи пядей во лбу. Давно уже слышу я слухи про этого медведя, а хотел бы видеть от него виды. Меня сильно берет охота с ним переведаться... Что же вы распустили горло, зубоскалы? — примолвил он с сердцем, оборотясь к молодым парням, которые смеялись до пологу, потому что сочли его за хвастуна. — Ну вот отдайте-ка сил со мною: не поодиночке, такого из вас, вижу, не сыщется, а ухватитесь сколько можете больше за обе мои руки». Вот и налегли ему на каждую руку по четыре человека, и держались изо всех сил. Иван, купецкий сын, встряхнулся — и все попадали как угорелые мухи. «Это вам еще цветики, а вот будут и ягодки, — сказал Иван, купецкий сын, — кто из вас хочет померяться моим аршином? Возьмите». Только кто ни брался за аршин, не мог и приподнять его обеими руками. «И не диво, — проговорил Иван, купецкий сын, — в нем двенадцать пуд счетных. Теперь смотрите же». — Он взял аршин в правую руку, размахнул им, инда по воздуху зажужжало, и

бросил вверх так, что аршин из глаз ушел, а после с свистом полетел вниз и впился в землю на полсажени. Иван, купецкий сын, подошел к тому месту, выхватил аршин из земли как морковку и, поглядев на насмешников таким взглядом, что у каждого из них во рту пересохло, молвил: «Смейтесь же, удалцы! или вы только языком горы ворочаете?.. Ну, смелее, дайте окрик на самохвала». — «Молодец! силач!» — крикнули в один голос и старый, и малый. Староста Вавила повел Ивана, купецкого сына, в свой дом, истопил баню для дорогого гостя, накормил его, напоил и спать уложил.

Вот на другой день, еще черти в кулачки не бились, Иван, купецкий сын, встал, умылся, богу помолился и, оставя связку с товарами в доме у старосты, взял только свой аршин и пошел к лесу. Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли ходил он — мы не станем переливать из пустого в порожнее: скажем только, что все крестьяне не пошли в тот день на работу, а сошлись на площади перед церковью, молились богу за Ивана и за то, чтоб он одолел медведя Костолома, и забыли



о еде и питье. Щи выкипели в горшках у баб, каша перепарилась, и хлебы в печи пригорели, а никто и не думал идти обедать. Ждать-пождать — Ивана нет как нет! Вот и солнышко пошло на закат; все крестьяне, осмелясь, вышли из деревни, стали около огородов и не сводя глаз смотрели к лесу; жалели о купецком сыне, думали, что он на беду свою расхрабрился; а красные девушки и вздыхали тайком в кумачные рукава свои не ведаю, об Иване или о медвежьей шкуре: не время было тогда выпытывать. Вдруг послышался из лесу такой страшный рев, что у всех от него головы пошли ходенем. Смотрят — из лесу бежит большой-пребольшой черный медведь, а на нем сидит верхом Иван, купецкий сын, держит медведя руками за уши и толкает подбока каблуками, которые подбиты были тяжелыми железными подковами; аршин Иванов висит у него за поясом и от медвежьей рыси болтается да тоже постукивает по медведю. Спустя малое время медведь с седоком своим прибежал прямо к деревне и упал замертво у самого того места, где собрались крестьяне. Иван, купецкий сын, успел соскочить

вовремя, схватил свой аршин и единым махом раскроил череп медведю. «Вот вам, добрые люди, живите да радуйтесь, — молвил купецкий сын крестьянам, — видите ли, у вашего Костолома теперь и у самого кости переломаны». После того зашел он к старосте, выпил чару другую зелена вина, наелся чем бог послал, сказал спасибо хозяину и, вскинув связку за плеча, пожелал всему сельскому миру всего доброго. «Чем же мы тебе поплатимся за твою службу?» — спрашивали крестьяне. «Добрым словом да вашими молитвами», — отвечал Иван, купецкий сын. «А шкура-то медвежья? ведь она твоя!» — взговорили ему крестьяне. «Пусть она при вас останется: берегите ее у себя в деревне да вспоминайте про Ивана, купецкого сына!» За сим поклон — и был таков. Крестьяне пировали три дня и три ночи по уходе Ивана, купецкого сына, на радостях о своей избеаве от медведя Костолома. И я там был, мед-пиво пил: по усам текло, а в рот не попало... А к этой сказке вместо присловья любезной нашей имениннице желаю доброго здоровья: дай ей бог жить да поживать, худа не знать, а добро наживать да

пиры пировать!

## Сказка о Никите Вдовиниче

**Н**ачинается сказка от сивки, от бурки, от вешней каурки; рассказывается не сзади, а спереди, не как дядя Селиван тулуп надевал. А эта сказка мною не выдуманна, из старых лык не выплетена и заново шелком не выстрочена: мне ее по летним дням да по осенним ночам рассказывал Савка-Журавка долгоног, железный нос.

Савка-Журавка по двору ходит, черным глазом поводит, с ноги на ногу переступает, долгую шею через плетень перегибает, острым носом друга и недруга допекает. А как крыльями встрепенется да звонким голосом озовется: «курлы-курлы!» — так у всякого и ушки на макушке, и слюнка изо рта потечет... Савка-Журавка голосную песню затягивает, умную речь заговаривает и такую сказку рассказывает... курлы-курлы!

Во славном городе во Чухломе жила-была старушка горемычная, вдова человека посадского, а имя ей Улита Минеевна. Муж ее Авдей Федулов, не тем покойник-свет будь по-

мянут! большой был гуляка: торг повести да на счетах раскинуть не его было дело; а пиры пировать, да именины справлять — его подавай. Так и все свои животы прогулял да пропил, а не в добрый час и его самого подняли мертвого в царевом кружале под лавкою. Бедная вдова после его смерти обливала горячими слезами не столько могилу своего друга сердечного, сколько свое вдовье платье и сиротские недоимки. Не было у нее, что называется, чем собаки из двора выманить; а которых крох не растерял покойный ее сожитель, и те пошли по его же душе, на похороны да на поминки. Худо быть человеку семейному горьким пьяницей: и перед богом грешит, и людей смешит, и чужой век заедает.

Не на радость остался и сыночек бедной вдове горемычной, единое ее детище, Никита: и тот по отцу пошел. Пить не пришла еще ему пора, потому что после отца он остался молоденьк, годов о двенадцати; зато к работе его, бывало, не присадишь. Мать бедная перебивалась кое-как своими трудами, из того кормила его и одевала; а он только с утра до ночи рыскал по улицам да играл в бабки с чужими

ребятами. Этого дела, нечего сказать, был он мастер; а как, по пословице, всякое дело мастера боится, то и бабки словно его боялись и слушались. Не выискивалось еще молодца, кто б обыграл Никиту Вдовинича: такое в насмешку дали ему на улице прозвание вместо Никиты Авдеича.

Никитино уменье не полюбилось соседним ребятам, которых он день при дне дочиста обыгрывал, так что они не могли у себя напастьсь бабок. Не раз они щипали Вдовинича за его удачу и однажды стакнулись ворваться всей гурьбой к нему в дом и отъемом отнять у него все бабки. Шепнул ли кто Никите, сам ли он догадался, — только он как-то об этом спроведал. «Постой же! — молвил он сам про себя. — Я упрячу мои бабки в такое место, куда из этих сорванцов ни один не посмеет просунуть нос». Сказано и сделано: как наступила ночь, Никита Вдовинич собрал все свои бабки, склал их в запол и снес на кладбище. Там отыскал он могилу своего отца и принялся рыть в ней яму, чтобы туда спрятать любимую свою потеху до поры до времени. Видно, Никита, хоть и слыл дурачком и служил по-

смешищем всему соседнему миру, а был-таки себе на уме: небось не стал же рыться в чужой могиле! Он смекнул, что и после смерти свой своему поневоле друг.

Вот как он раскапывал землю, вдруг слышался ему голос из могилы: «Кто тут?» Никита не оробел и смело ответил: «Я, батюшка!» — «Сын мой любезный, дитя мое милое! тяжело мне под сырой землей! — простонал ему тот же голос. — А еще мне тяжеле оттого, что тебя с матерью, по грехам моим, покинул при недостатках. Слушай же: я знаю, что тебя вовсе не тянет к работе; ты весь в меня, и личиком и станком, и разумом и умом. Я тебе помогу, детище мое желанное, и вызволю тебя из бедности; только приходи по три ночи сюда, ко мне на могилу, в глухую полночь, за час — за два до первых петухов. Что бы здесь ни деялось, не робей; станут играть в бабки — играй, только старайся весь кон сбивать и все бабки к себе забирать. Теперь же покамест ступай себе с богом! прощай!»

Никита смекнул делом, в какую честную компанию звал его родной батюшка и с какими игроками должно ему было тянуться; од-

нако ж как малой не трус он вздумал пойти наудалую и отведать своего счастья. Вот, пришедши домой, молвил он своей матери, Улите Минеевне: «Благослови, государыня матушка, на доброе дело: меня зовут лавочники по три ночи стеречь лавок, а сулят за то гривну медью, да хлеба вволю, да новые рукавицы». Улита Минеевна была рада-радешенька, что бог надоумил ее детище жить на белом свете трудовую копейкою; она чуть не прослезилась от доброй вести. Матери за благословением не в ларец ходить: не раздумывая, не разгадывая, благословила Улита Минеевна своего Никиту и отпустила его с крестом и молитвой. Только он, вместо лавок, поплелся на кладбище, раскидывая умом-разумом, что-то из этого будет.

Вот и прилег он на отцовой могилке, ни шкнет, ни чихнет и ни ухом поведет. Не спится ему, правду сказать: да ведь батюшка родимый не за сном же и звал его туда. Долго ли, коротко ли было дело, только вдруг подул и пронесся полуночный ветерок по кладбищу и запрыгали огоньки над могилами, словно клады из-под земли выскакивали морочить

люди православный, либо затейник какой, стоя на кладбище, сеял по нем гнилушкой. Вдовиничу послышалось, что под землею мертвец мертвеца спросил: «Пора?», а тот ему ответил: «Пора!» И пошла трескотня по могилам: каждый мертвец упирался ногами и руками в гроб, сшибал долой крышку вместе с земляной насыпью и выходил на белый свет в белом саване. И все они сходились на поляну перед кладбищенской часовней, здоровались, кланялись друг другу, будто люди путные из миру крещеного. Никита Вдовинич все лежал по-прежнему и смотрел на такие предивные диковинки; вдруг его невесть что-то отбросило: он скатился с могилы вместе с ворохом земли, и перед ним как лист перед травой очутился его батюшка Авдей Федулович. «Сын мой любезный, дитя мое милое! — возговорил он детищу своему желанному. — Слушай в оба, а не в полтора, что я тебе говорить буду. Наши честные покойники в эту пору встают да от скуки потешаются в бабки; не робей, играй с ними. Если в игре будешь удачлив, так и в житье будешь счастлив и талантлив; а нет — на себя пеняй. Помни же, сын



мой любезный, дитя мое милое: что ни есть на кону — все сбивай, ничего не оставляй; особливо в третью ночь почтись и весь последний кон сорви, — не то с тебя сорвут твою буйную головушку. Пуще всего, не робей. Теперь пойдем, благословясь».

Не любо было Никите Вдовиничу слышать, какой был зарок на игре положен; да нечего делать: взявшись за гуж, не ворчи, что не дюж! Вот и пошли они к гурьбе покойников; а там крик, гам, беготня, толкотня, хохотня. Никиту мороз по коже подирал, когда он воззрился да вслушался, что там было. Иной мертвец, вытянув костлявую шею и выставя свой череп из-под савана, страшно скалил зубы и грохотал, как из пустой бочки; видно, по русской поговорке, он и на том свете чудак был покойник: умер, да зубы скалил. Другой — бледен как полотно, глаза как плоски, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый... Ну да бог им судья! все они были на ту же статью.

Вот и завопила вся гурьба покойников: «Давай в бабки!» Поставили на кон бабок видимо-невидимо, да у каждого было в заполе савана по целому вороху. Опять запрыгали огоньки на могилах, скок да скок — и столпились в два ряда вокруг поляны, что перед часовней, наподобие как, если кто видал из вас, люди добрые, зажигаются площадки для потешных огней по большим праздникам и ими, словно бисером да каменьями самоцветными, унижаются городские улицы и площади. Нашему Вдовиничу сызнава стало жутко, когда он с отцом вошел в середину сходбища. Все мертвецы заорали не своим голосом: «Чужой! чужой!» как будто собаками на него усыкали. Добро бы тем и кончилось; так нет! они косились на него глазами, моргали бровями, щелкали зубами, морщили носы, щетинили усы и кривляли рты, словно не они, а он был покойником. Вот один и подкатился и молвил отцу Никитину: «А ты, дядя Авдей, что ж не играешь в бабки? поставил бы своего мальчика на кон, авось бы мы его срезали». — «Где вам мякинникам, со мной тягаться! — ответил Авдей Федулов. — Вот гляди-ка на мо-

его мальчика: он, кажись, и невзрачен, и не нашего еще лесу кочерга, а дайте-ка ему бабки в руки — всех вас за пояс заткнет!» — «Хвастливого с богатым не распознаешь! — завопили мертвецы в один голос. — Не в похвале б сила, а в деле. Ну-ка, ин выпусти своего щенка на наших волков. Только, знаешь: уговор лучше денег. Его выигрыш — его и счастье, а проиграет головой отвечает; да и ты на свою долю столько добудешь совков да пинков, что всех не уложишь к себе в могилу». — «Ладно! — сказал Авдей Федулов. Грозите богатому, авось-либо копейку даст; а с меня-то вам взятки гладки». «Ну-ну! пустого не болтать и делу не мешать! — крикнул-гаркнул один долговязый мертвец, который был у них в игре старостой и уставщиком. Начинать так начинать; а то вы, пожалуй, и до петухов прокалякаете». — Тут он схватил Никиту за оба плеча, толкнул вперед, уткнул носом чуть не в землю, указал на груду бабок и примолвил: «Бери, да ставь, да заметывай!» Никите не любя была такая грубая поведенция, он осерчал; однако прикусил язык, набрал бабок и пустился в игру. Хвать да хвать, глядишь — и

весь кон сбил; поставили другой — и тот будто рукою снял; поставили третий — и того как не бывало: не дал мертвецам, что называется, ни росинки подобрать. Дивовались покойники такой удаче и захлопали глазами да заскрыпели зубами пуще прежняго. Никите сдавалось, что ему не сдобровать; ан вот как тут по посадку раздалось: кукареку! Никита глядь — ни огоньков, ни мертвецов не стало, могилы заровнялись так, что не было ни следа, ни приметы; с той стороны, откуда солнышко всходит, занималась утренняя заря, и перед нашим Вдовиничем лежала груда сбитых им бабок, чуть не с головой его в уровень. Он подрылся под часовню и туда запрятал свои бабки; видно, отец-батюшка родимый шепнул ему, что тут-де ни мертвый, ни живой их тронуть не посмеет. Еще православные в городе глаз не продрали, а Никита приплелся домой, залез на полати и такую дал высыпку, что чуть обеда не проспал.

На другую ночь было ему поваднее идти на кладбище. Опять прилег он на отцовской могиле; опять чуть только повеял полуночный ветерок, заиграли огоньки на могилах и

опять пошла трескотня и хлопотня по кладбищу. Батюшка Никитин, Авдей Федулович, снова встал и повел его на сходбище разгульных покойников, а там по-вчерашнему — крик, гам, беготня, толкотня, хохотня; только уж на этот раз Вдовинич наш не робел и раскланивался что ни с самыми лихими мертвецами, будто со старыми знакомыми. Все вскрикнули, увидя его: «Подавай сюда молодца! подавай игрока!» — инда гул пошел по кладбищу; а Никита кинулся к своим вчерашним бабкам, набрал их сколько надо было и поставил на кон. Хвать да хвать — бабки валяются, инда пыль столбом идет; глядь-поглядь — трех конов как не бывало. Зашевелилось и загуло племя покойничье, зачесалась буйная головушка у Никиты Вдовинича; а петухи как тут: кукареку! Никита глядь — все по-прежнему: мертвецов не стало, огоньки потухли, могилы заровнялись, а перед ним опять бабок несметная сила. Никита убрал их в свою старую похоронку, под часовню; а сам был таков; прибежал домой, залез на полати и давай отхрапывать, инда бревенчатые переборы задрожали.

Вот наступила и третья ночь. Никита наш соколом полетел к погосту, и уж ему невтерпеж лежать на могиле: так ему слюбилось обыгрывать покойников. «Есть же простяки на том свете! — смекал он про себя. — Да мне их обыграть как пить дать...» Не успел он додумать своей думы про покойников и их простоту, как вдруг, вместо тихого полуночного ветерка, взвыла буря, закрутился вихорь, и пошел дым коромыслом по кладбищу. Благо, что на Никите не было шапки, да и не наживалось; а то бы ее занесло за тридевять земель; чуть и головы-то с него не сорвало. Огоньки лениво выпархивали из могил, и те такие тусклые, что чуть брезжились. Трескотня да возня поднялись по кладбищу, что хоть святых вон неси. Все мертвецы вскакивали как одаренные, встрепывались и бегом бежали на поляну, облизываясь, как кот перед куском мяса. Словно нехотя поднялся вдовиничев батюшка, Авдей Федулович, и повел такую речь с сынком своим: «Сын мой любезный, дитя мое милое! наши честные покойники на тебя зубы вострят и губы разминают, за то что ты в бабках с них спесь посбил.

Смотри же, дитяtko мое желанное! не положи охулки на руку. В эту ночь, а особливо за последним коном, будут тебе всякие помехи и страсти; только ты скрепись и не бойся: гляди зорко, бей метко и старайся пуще всего снять на последнем кону черную бабку; в ней-то вся сила. Кто этой бабкой завладеет, тот чего ни похочет — мигом все у него уродится; надо только знать, как с нею водиться. Коли ты эту бабку сшибешь да к рукам приберешь, так тебе стоит только ударить ею о землю да приговаривать: „Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу“, а затем и примолвить, чего ты от ней добыть хочешь; вот оно и явится перед тобой как лист перед травой. Да смотри, береги эту бабку пуще своего глаза: у тебя будут ее выручать всякими хитростями, только ты не давайся в обман». — Тут Авдей Федулович взял сына за руку и повел на поляну. Загула вся ватага мертвецкая, что пчелы в улье: «Давай его, давай!» — а наш Вдовинич и ухом не ведет; набрал бабок, поставил на кон и начал пощел-

кивать. Только теперь было не по-прежнему: то гром прогремит, то дождь зашумит, то свист пробежит; огоньки чуть брезжутся и все тусклее да тусклее; а на Вдовинича выпустили игроков что ни самых удальцов. Никита все-таки не унывал; он прищуривался то с правого глаза, то с левого, приглядывался и прицеливался — и сбил два кона дочиста. За третьим стало еще хуже: поднялась метель; ветер так и рвал, и крутил, и сдувал огоньки на сторону; свету не было и настолько, чтобы доброму человеку ложку мимо рта не пронести, а снег хлопьями так глаза и залепливал. Никита взял догадку: он левою рукою сделал себе кровельку над глазами, выглядывал, высматривал — и заметил на кону черную бабку, к самому левому краю. Давай в нее бить: раз, два... а буря-то пуще злится, а гром так и трещит, что словно небо расседается, а молния так и сверкает сзади и с боков, и смаывает глаз на сторону, чтобы смигнул, а снег так и застилает глаза... Это еще цветики, а ягодки будут впереди. Два раза промахнулся наш Вдовинич: приладился совсем, ему бы только ударить; ан тут гром и грянет, а мол-



ния да снег так и заслепят его очи ясные. За третьим разом показались ему разные страхи: то змеи Горынычи, то Полканы-богатыри с казачьими усами и конскими хвостами, то Чуда-Юда, железные зубы, то лешие, то водяные... ну, в добрый час молвить, в худой промолчать — вся нечисть подземная, вся тма крошечная. Никита оторвал клочок рукава, расщипал и заткнул себе по охлопку в оба уха, правый глаз зажал, левую руку свернул в трубку и приставил к левому глазу, чтоб ему не слышать никакого шума и не видеть ничего, кроме черной бабки. Тут он начал причитывать в уме-разуме все посты и все заговенья, среды и пятницы, понедельники и честные сочельники, а родительскую субботу помянул чуть не трижды; навел на черную бабку глаз с левою рукою, приладился правою, замахнулся, хватить — и вдруг что-то хряснуло, инда нашему Вдовиничу небо с овчинку показалось. Он со всех ног бросился к кону: глядит, а перед ним черная бабка лежит, сбитая его метким молодецким ударом. Он за нее — и схватил в обе руки; а мертвецы к нему сыпнули всею гурьбою, а петухи как тут: кукареку! — и

не стало ни мертвецов, ни огоньков, заровнялись могилы, и на погосте наступила тишь да гладь, да божья благодать. Никита Вдовинич зажал черную бабку у себя под мышкой, остальные пометал в свое упрятище под часовней, поклонился еще однажды батюшкиной могилке, пришел домой и улегся на полатах. «Теперь, — смекал он, — вольно мне спать вплоть до вечера; а захочу поесть, так найду кусок полакомее да посытнее матушкиных ленивых щей, где крупинка за крупинкой не угоняется. Они уж и так мне бока промыли!»

Никита Вдовинич был крепок на слово: он спал богатырским сном вплоть до вечера. Матушка его, Улита Минеевна, не будила его и к обеду: намаялся-де, сердечушко, на стороже, третью ночь не спал. В сумерки Вдовинич проснулся, встал, встрепенулся, умылся, богу помолился и опрометью вон из избы пустился; прибежал на огород, ударил бабкой оземь и приговаривал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: дай

мне с начинкой пирог в сажень длиной, да в охват толщиной». — Не успел он глазом смигнуть, а уж перед ним лежал пирог в сажень длиной и в охват толщиной. «Ладно! — молвил Никита. — Дело-то так, да сладить-то как?» Пытался он разломить пирог, так не под силу, а целиком донести до избы — и того пуще. Думал-думал наш Вдовинич и вздумал: отыскал под навесом старые дровнишки, прикатил их в огород; опять беда: как поднять пирог на дровни? «Эх ты, моя нечесаная башка! не разумна, хоть и велика! — вскрикнул Вдовинич, схватя свою буйную голову за кудри кольчатые и встряхнув их, как злая мачеха своего пасынка. — Ну что я стал в пень? Велико диво, как пирог снести! Вот побольше того, коли одному его съесть». — Тут он, не разгадывая и не откладывая, ударил черною бабкой о земь, протвердил как зады свой заученный наговор: «Бабка, бабка, черная лодыжка!» — и примолвил: «Взвали мне пирог на дровни». Пирог очутился на дровнях, а Никита впрягся в оглобли и ну тащить изо всех жил, да не тут-то было! тпру не едет и ну не везет. Опять принялся он за черную бабку:

«Помоги-де мне пирог в избу привезти», и дровни покатались сами собою; Никита чуть успевал бежать, чтоб они ему в сугорбок пинков не надавали. Прикатились к дверям, а двери-то узеньки да низеньки; только ведь у нас не по-вашему, хоть тресни, а полезай: двери расступились, дровни вкатились и свалили пирог на дубовый стол, а сами тем же следом назад, на попятный двор, под навес, — и опять все стало по-старому, по-бывалому. И возговорил Никита Вдовинич своей матушке, Улите Минеевне: «Вот тебе, государыня матушка, гостинец от гостей торговых; кушай себе на здоровье». Улита Минеевна, увидя пирог, от радости руками всплеснула и голосом взвыла, словно покойницу свекровь хоронила. «Ах они мои батюшки, купчики-голубчики! потешили меня, вдову горемычную! Пошли им, господи, втрое того за их добродетель». Тотчас взяли топор, разрубили пирог на куски и принялись вдвоем уписывать; куда! и сотой доли съесть не могли. Никита наелся так, что инда пить ему захотелось. Вот он выбежал в присенок, ударил бабкой о землю и сказал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! слу-

жила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне браги ушат, чтобы стало со днем на неделю, пусти в него красный ковш и поставь здесь в уголку». Махом проявился в углу ушат браги, полнехонек и с краями ровнехонек, а посередине плавал гоголем красный ковшик. Опять Никита сказал своей матушке, что это купцы дали ему за добрую сторожу, и Улита Минеевна так обрадовалась, что всех купцов чухломских чуть заживо в угодники не причла. «А куда же ты, мое дитяtko, девал свои новые рукавицы да гривну денег? — спросила она у Никиты. — Аль потерял да потратил?» — «Нет, государыня матушка, не потерял, не потратил, а в теплое местечко попрятал». Тут он опять выскочил в присенок и хватил бабкой о земь: «Чтобы, дескать, уродились мне рукавицы новые строченые да денег семь алтын с деньгой». Все это поспело как за ухом почесать. Рукавицы новые строченые, на них коймы золотые тисненые, сами наделись на руки, а семь алтын с деньгой, в цветной калите шелку шемаханского, висели у Вдовинича за

поясом. Опять матушка его, вдова горемычная Улита Минеевна, диву дивовалась и дарами любовалась, да молила бога за своего сына ненаглядного, который сам теперь стал ей кормильцем.

На другой день Улита Минеевна пошла звать старушонок-соседок да кумушек-голубушек попить даровыми пирогами да брагой; а они, дело домышленное, лакомы на то, что не на свои грош куплено: пили, ели, чуть не лопнули, а все еще пирога да браги осталось на добрую неделю.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наш Никита Вдовинич, черной бабкой о земь постукивая да того-другого, прочего попрашивая, как сыр в масле катался и рос не по дням, по часам. Прошло семь лет с походом, и он стал таким молодцом врачным да ражим, что все на него заглядывались: лицо кругло и полно, что светел месяц, бело и румяно, что твое наливное яблочко; а сила у него проявилась такая, что с одного щелчка между рог быка убивал. Двор у него был как город, изба как терем, и в ней всякой рухляди да богатства, что и в три года не счесть. Ма-

тушка его Улита Минеевна в одну ночь охнула, вздохнула, да и ножки протянула, обкушавшись на имянинах своего детища возлюбленного яств сахарных да опившись меду сладкого. И стал наш Никита Вдовинич сам себе старшим, сам себе хозяином, и вошел он в честь и славу великую, в те поры как Пошехонье поднялось войною на Чухлому. А той войне была такова вина: чухломский богатырь Куроцап Калинин напоил на молодецком разгулье пошехонского богатыря Анику Шибайловича сонным зельем да обрил ему половину головы, половину бороды и вытравил его заповедные луга своими конями богатырскими; вот и взорвало это пошехонцев, и вздумали они отсмеять насмешку чухломцам. Зашумела рать-сила несметная, началась битва кочережная, поднялась стрельба веретенная, наступили на твердыни крепкие, на жернова мукомольные. И взмолились чухломцы всею громадой Никите Вдовиничу, чтобы вступился за своих земляков-однокашников. Никита Вдовинич все дело разом порешил: как выехал он на борзом коне в полстяном колпаке да крикнул-гаркнул молодецким

голосом, богатырским покриком на сильных могучих пошехонских витязей, Анику Шибайловича да Шелапая Селифонтьевича: «Что вы, мелкие сошки, сюда носы показали? много ли вас и на одну руку мне? Куда вы годитесь? вас бы только спаровать да черту подаровать!» Аника Шибайлович да Шелапай Селифонтьевич прогневались на такие речи обидные и бросились с двух сторон на Никиту Вдовинича; только он был не промах: одного взял за ус, другого за бороду и подбросил их выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Тут пошехонцы оробели, дрогнули, побежали и давай прятаться: кто в гору, кто в нору, а иные, поджав хвосты, в часты кусты.

В те поры жила-была в Чухломе дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная; жила она в неге и в холе, в девичьем раздолье, пока батюшка ее не проторговался дочиста. Добрые молодцы по дням не едали и по ночам не сыпали, заглядевшись на ее очи соколиныя, на ее уста кар-мазинныя; красные девицы завидовали ее русой косе, девичьей красе да ее парчевым шубейкам и золотым повязкам; а старые старухи поговаривали,



что она спесива, причудлива и своеобразлива, — в пологу спать не ляжет, в терему шить не сядет: в пологу-де спать душно, в терему шить скучно. Полюбилась нашему Никите Вдовиничу дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная, заслал он свах к ее батюшке, и те свахи наговаривали столько добра о Никите Вдовиниче, а пуще о его житье-бытье и богатстве, что отец и мать Макриды Макарьевны, да и сама невеста, рады-радешеньки были такому жениху. Никите Вдовиничу не пиво варить, не меды сластить: все мигом уродилось; так веселым пирком да и за свадебку. Вдовинич задал пир на весь мир; а после стал жить да поживать со своею молодой женой Макридою Макарьевной, красотой ненаглядною.

Скорая женитьба — видимый рок: наш Никита Вдовинич женился как на льду обломился. Солона пришлась ему жена, красавица ненаглядная; ни днем, ни ночью покоя не знай, все ей угождай. Уж ей ли не было неги и во всем потехи! да правда, что прихотливой и сварливой бабе сам черт не брат. Никита Вдовинич, сказать не солгать, из рук не выпускал

черной бабки; извелся совсем, швыряя ее о  
земь на женины прихоти. Все было не по  
Макриде Макарьевне: то дом тесен — ставь  
хоромы; то углы не красны — завесь их ков-  
рами узорчатыми; то посуда не любя — пода-  
вай золотую да серебряную; то наряды не к  
лицу — подавай парчи золотые да камки до-  
рогие. А даровал им бог детище желанное,  
сынка Иванушку, — так чтобы колыбель бы-  
ла диковинная, столбы точеные, на них ма-  
ковки позолоченые. Ну не то, так другое; а  
бедному Вдовиничу не было ни льготы, ни  
покоя.

Так бился он с годом трижды три года; не  
раз заносил он черную бабку, чтобы стукнуть  
о земь да и сказать: «Бабка, бабка, черная ло-  
дыжка! унеси ты мою женушку в тартарары,  
во тму кромешную, чертям на беду, сатане на  
мученье», да всякий раз у него руки опуска-  
лись и язык прилипал: жаль ему было жены,  
красавицы ненаглядной, хотя она и мучила  
его с утра до вечера; а пуще жаль ему было де-  
тище желанного, сынка Иванушки, чтоб он в  
сиротстве не натерпелся горя. Правду мол-  
вить, и сынок Иванушка пошел по батюшке

да по дедушке: на дело не горазд, а все бы ему гули да гули, все бы ему рыскать по улице да играть в бабки с соседними ребятишками.

Вот под конец Никита Вдовинич совсем из сил выбился от причуд и свар жениных. Вышел он на широкий двор, ударил бабкой о сыру землю и приговаривал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: чтоб у жены моей были полны ларцы золота и полны лари серебра; пусть ее тратит на что пожелает, только моего века не заедает. А мне чтоб было ровно на семь лет зелена вина да меду пьяного, запивать мое горетяжкое!» — Сказано и сделано. Макрида Макарьевна почала без счету сыпать серебро и золото на свои затеи женские; а Никита Вдовинич с утра до вечера у себя в светлице посиживал, да хмельное потягивал, и втянулся так, что у него лицо раздулось как волюнка, глаза стали красны, как у вора, и от него несло сивухой, как из винной бочки. Ведомо и знаемо, что русский человек напивается от двух причин: на радости да с горя; а есть у нас

добрые люди, у которых что день — то радость, что день — то горе, либо день при дне радость и горе с перемежкой. У Никиты же Вдовинича было все горе, да горе, да при горе горе. Ни о чем он не хлопотал, не заботился, на все смотрел, спустя рукава. И то сказать, у горького пьяницы одна заботушка: напиться да выспаться, а после опохмелиться, чтобы снова напиться.

Женушка его ненаглядная, Макрида Макарьевна, тою порою творила свою волю и не думала о своем сожителе, а так про себя смекала: «Пусть его с пьянства околет; мне же руки развяжет». — Детищу его желанному, сынку Иванушке, исполнилось двенадцать годков и пошел тринадцатый; он по-прежнему не знал себе иного дела, кроме того чтоб воробьев поддирать да в бабки играть. И нашел он однажды в батюшкиной светлице под лавкой черную бабку, которую Никита Вдовинич спьяна обронил, да и не спохватился: ведь пьяный свечи не поставит, а разве дюжину повалит. Иванушка рад был своей находке, побежал играть с соседними ребятами и все, что на кону ни стояло, как рукой

подгробал.

Спустя малое время проявился в Чухломе черненький мальчик. Он был черен как жук, лукав как паук, а сказывался Четом-Нечетом, бобылем безродным. Такого доки в бабки играть еще и не видывали: всех ребят дочиста обобрал. Вот и взяла Иванушку зависть: «Что-де за выскочка, что всех обыгрывает? Посмотрю, как-то он потянется против моей черной бабки!» И схватились они играть вдвоем, рука на руку. Черненький мальчик, Чет-Нечет, бобыль безродный, сперва проиграл Иванушке кона два-три; а после вынул красную бабку с золотой насечкой, так хорошо изукрашену, что, как свет стоит, такой бабки еще и во сне не видывали и слыхом о ней не слыхивали. Красная бабка как стекло лоснится, ярким цветом в глаза мечется, золотую насечкой как жар горит и всякого на себя поглядеть манит; а черненький мальчик, Чет-Нечет, бобыль безродный, Иванушку ею призаривает и такие речи заговаривает: «Ну-ка ты, Иванушка, буйная головушка, синяя шапка! посмотри, какова моя красная бабка? уж не твоей черной чета! Выиграй-ка ее у меня, так бу-

дешь молодец и на все удалец; а не выиграешь — будешь мерзлый баран, обгорелый чурбан. Лих тебе не видать ее, как ушей своих!» Иванушка озлился, чуть бобылю в черные кудри не вцепился и так на него забранился: «Ах ты, смоляная рожа, цыганское отродье, материн сын, отцов пасынок! Тебе ль со мной тягаться? я так тебя облуплю, что станут и куры смеяться». — «Ну, что будет, то будет, — молвил вполсмеха черненький мальчик, — ставь черную бабку, а я поставлю свою красную, да и померяемся, кому первому бить». — «Изволь, коли тебе не жаль своей красной бабки!» — отвечал Иванушка. Только он не в пору расхвастался. Поставили бабки, черную да красную, стали меряться на палочке — верх остался за черненьким мальчиком. Чет-Нечет, бобыль безродный, приладился, хватить — и снес обе бабки. «Моя!» — крикнул он таким голосом, что в ушах задребезжало, кинулся вперед, схватил черную — и мигом не стало ни его, ни черной, ни красной бабки. Иванушка с горя побрел домой; смотрит: отцовских хором как не бывало, а наместо их стоит лачужка, чуть углы держатся, и от вет-

ра пошатывается. Матушка его Макрида Макарьевна сидит да плачет, голосом воет, жалобно причитает, уж не в золотой парче, не в дорогой камке, а просто-запросто в крестьянском сарафане; батюшка лежит пьяный под лавкою в смуром кафтане. Оглянулся Иванушка на себя — и на нем лохмотье да лапти! Не знал он, не ведал, отчего такая злая доля приключилась? а вся беда неминуемая приключилась оттого, что он проиграл заветную черную бабку, а выиграл ее чертенок, который подослан был старшими чертями да проклятыми колдунами и сказывался Четом-Нечетом, бобылем безродным. Так-то от лукавого сатаны, да от сумбурщицы жены, да от сынка дурака, да от своего хмеля беспутного, беспросыпного Никита Вдовинич потерял все: и счастье, и богатство, и людской почет, да и сам кончил свой живот, ни дать ни взять, как его батюшка, в кабаке под лавкой. Макрида Макарьевна чуть сама на себя руки не наложила и с горя да с бедности исчахла да изныла; а сынок их Иванушка пошел по миру с котомкой за то, что в пору да вовремя не набрался ума-разума.

Вот вам сказка долгенька, а к ней присловье коротенько: избави боже от злой жены, нерассудливой и причудливой, от пьянства и буянства, от глупых детей и от демонских сетей. Всяк эту сказку читай, смекай да себе на ус мотай.

## **Сказание о храбром витязе Укрометабунщике**

### **Картина из русских народных сказок**

**Е**сть ли у нас на Руси богатырь, кто бы вышел силой со мною помериться и на булатных мечах переведаваться?

Так перед ратью половецкою кричал великан Баклан-богатырь. А у того Баклана голова была, что пивной котел; брови, что щетина; борода, что камыш: ветер в нее дунет — инда свист пробежит. В руке у него был меч-кладенец, такой широкий, что на нем хоть блины пеки; а всех его доспехов ратных, когда он их снимал с себя и складывал на телегу, три пары волов и с места не могли тронуть.

— Что ж, или нет бойца со мною переве-



даться? — крикнул-гаркнул Баклан-богатырь громче прежнего. Все князья и воеводы и храбрые могучие витязи приумолкли и дух притаили: все знали нечеловечью силу бакланову и слышали про него молву, что он-де одним пальцем до смерти быка пришибает. Вот и выискался из обоза Укрома-табунщик, стал перед князьями и воеводами и повел к ним слово: «Государи князья и воеводы! не велите казнить, а дозвольте мне речь говорить. В прежние годы бывалые важивалась и у меня силишка: случалось, медведишка ли, другой ли косматый зверь повстречается мне его сломать, как за ухом почесать. Благословите, государи князья и воеводы, и на этого дикого зверя руку поднять». Вот князья и воеводы и сильные могучие витязи пожали плечами и ответили Укроме-табунщику, что если он на белом свете нажился и богу во грехах своих покаялся, то они ему на вольную смерть идти не мешают. И пошел Укрома-табунщик на великана; Баклан же богатырь только его завидел — и засмеялся молодецким хохотом, инда у воевод и витязей в ушах затрещало: «Что-де это за бойца на меня вы-

сылаете? мне таких полдюжины и под одну пядь мало!» — «Не чванься, бритая башка половецкая, — молвил ему Укрома-табунщик. — Добрые люди говорят: не сбил — не хвались. Хочешь ли со мною переведаться рука на руку? так вот кинь свое посечище: у моего батюшки много такого лому, только им у нас не храбрые витязи дерутся, а на ночь ворота запирают». — «Будь по-твоему», — отвечал Баклан-богатырь и бросил свой меч-кладенец на сыру землю. «А это что на тебе? — сказал ему Укрома. — У моего батюшки из такого чугунного черепья собак кормят, а не храбрых витязей в него наряжают». — «И это сниму, когда тебе не любо», — со смехом промолвил Баклан-богатырь и снял с себя высок булатный шолом. «А это что на тебе? — опять ему говорил Укрома. — У моего батюшки малые дети в такие сетки мелких пташек ловят, а не храбрых витязей в них наряжают». — «Пожалуй, и это сниму, коли ты боишься запутаться, как синица», — с тем же смехом отвечал великан и скинул с себя стальную кольчугу переборчатую. Так Укрома-табунщик расценил на великане все доспехи ратные: не оста-

вил ни щита, ни рукавиц, ни поножей, ни поручей железных, все было им на смех поднято; а Баклан-богатырь снимал с себя доспех за доспехом и все смеялся злым хохотом, смекая себе на уме: «Я-де и без этого раздавлю тебя, как мошку!» Вот и крикнули-гаркнули оба бойца и бросились друг на друга, словно два дикие зверя. Великан схватил Укрому в охапку, сжал его и хотел задушить; только Укрома был крепок, словно мельничный жернов: как ни бился с ним великан, у него ребра не подавались; наш табунщик только пыхтел да пожимался. Сам же он впился в Баклана, как паук, уцепился за него обеими руками подмышки, запустил пальцы, рванул и выхватил два куска мяса. Великан заревел от боли как бешеный и руки опустил, а Укрома стал на ноги, как ни в чем не бывал, и, не дав великану опомниться и с силою справиться, схватил его за обе ноги, потрянул и повалил, как овсяный сноп. Вся дружина православная вскрикнула от радости, а рать-сила половецкая завопила, словно душа с телом разлучилась. Укрома-табунщик дослужил свою службу князьям и воеводам: он схватил великанов меч-кладе-

нец и одним махом отсек Баклану-богатырю буйную голову. Тогда рать-сила басурманская дрогнула и побежала с поля, инда земля застонала; а русские князья и воеводы три дня пировали на месте побоища, честили да выхваляли Укрому-табунщика, снарядили его доспехами богатырскими и нарекли сильным могучим витязем Укромою, русских сердец потехою, а половецких угрозю.

## **В поле съезжаются, родом не считаются**

**Ж**ил-был на святой Руси близ каменной Москвы мужичок богатенек, а норовом крутенек, звали его Сидором Пахомовым; а у того Сидора был работник Елеся, ходил губы развеса. Люди крещеные толковали, что Елеся был простоват; красные девушки над ним подсмеивались, и прослыл он по всему миру сельскому дурачком бессчетным. Вот однажды сбежали у хозяина его Со двора кони, и послал он Елесю тех коней перенять и во двор пригнать. Вышел Елеся за село чуть на дворе рассвело, еще и красное солнышко не взошло; и видит Елеся: пасется аа селом на

выгоне клячонка попа Ерофея. И взмолил Елеся: «Не прогневайся, поп Ероха, пешком идти доброму молодцу плохо: за борзыми конями не угоняешься, а только упреешь да умаешься». И взнуздал Елеся попову клячонку, сел на нее, едет да погоняет, да песенки попевает; и выехал он на чистое поле, на широкое раздолье; трюх да трюх, скачет на волю божью куда глаза глядят. Взял он из дому пук веревок, чтобы стреножить хозяйских коней, коли отыщет; и те веревки повесил он себе на шею, топор заткнул за пояс, а косу перекинул через плечо. И вот едет да погоняет, да песенки попевает; и наехал он на такое место, откуда три дороги разбегались в три разные стороны: одна шла направо, другая налево, а третья посредине. И взяло раздумье доброго молодца: по какой путь-дороге ему пуститься? Думал, думал и пустился по средней; едет да погоняет, да песенки попевает. Вот навстречу ему скачет и пылит, инда небо коптит басурман Калга Татарской; крикнул-гаркнул молодецким покриком: «Прочь с дороги, мужичишка серый! не то — у меня коротка расправа: хвачу тебя слева да справа, так и дух вон,

и башка долой». И возговорил ему Елеся: «В поле съезжаются, родом не считаются. Коли ты богатырь, а не мыльный пузырь, так выходи со мной переведаться и силами померяться». И крикнул-гаркнул басурман Калга Татарской: «Ох ты серый мужичишка, глупый твой умишка! Когда такие дива бывали, чтоб крестьяне богатырей на бой вызывали? Да я тебя и саблей не уважу, одной нагайкой слажу». А Елеся ему на то ответил: «Ах ты неразумная бритая башка татарская! Идти на рать — не песню орать: хвались тогда, как сможешь; а бог даст, и сам буйную голову положишь». И взбесился сердитый Калга-богатырь, бровью моргнул, усом шевельнул и саблей взмахнул; а Елеся перекрестился, с клячонки на землю спустился, к басурману подскочил, косою по шее хватил, словно былинку скосил; и пал богатырь Калга на сыру-землю как овсяный сноп, а Елеся его как липку облупил и белое его тело под кустом схоронил; сам в басурманово платье оделся и на борзом калгином коне уселся; едет да погоняет, да песенки попевает. И видит: среди поля раскинуты шатры мурзовецкие и в тех шатрах рать-сила вели-

кая, а вокруг шатров пасутся коней табуны несметные. И крикнул-гаркнул Елеся молодецким покриком на всю рать-силу басурманскую: «Гой-еси вы, татаре ордынские! Я ваш воевода Калга-богатырь. Чтобы мигом-летом готово мне было что ни лучших коней три дюжины, со всею сбруей золоченою; а гнали бы их за мною два татарина в смирном платье, без доспехов богатырских». Вот поехал Елеся впереди, а татаре позади коней за ним гонят и перед ним буйные головы клонят. И привел их Елеся в свое село, в ту пору как мир крещеный шел от службы божией; и кликнул Елеся знакомых крестьян, своим именем сказался и честным крестом ограждался; и по его слову крестьяне тех двоих татар схватили, связали да в темный погреб посадили. А из добытых коней подарил Елеся тройку своему прежнему хозяину Сидору Пахомову, да пару попу Ерофею; остальных же и со всей сбруей продал в каменной Москве и на те деньги стал жить да поживать, худо сбывать, да добро наживать.

# Алкид в колыбели

**П**рекрасный младенец Алкмены лежал в колыбели. Бодрый, крепкий, спокойный — он уже показывал в себе будущего героя. Все детские движения его запечатлены были силою; в самом крике его было нечто повелительное. Но вот: шипя и извиваясь, два ужасные змия ползут в колыбель его; вот уже кровавые, пересохшие пасти их зияют, чуя верную добычу. Уже они обвились кольцами вокруг тела младенцева: еще миг — и юные кости его затрещат в их убийственных извивах. Но младенец привстал, мощными руками сжал обоих змиев, разорвал их и подбросил к горнему Олимпу, как бы посмеиваясь завистливой Юноне, с наслаждением взиравшей на чаемую гибель дитяти, ей ненавистного.

Таков был Алкид в колыбели! Уже в нем виден был грядущий сокрушитель гидры Лернейской и Льва Немейского, победитель разбойника Какуса и смиритель адского пса Цербера.

Отечество мое! Россия! твою судьбу пред-



рекала сия замысловатая басня древности. Еще в колыбели ты растерзало змиев злобы и зависти; мощными руками разорвало тяжкие, удушающие кольца оков Ордынских... Кто ныне в тебе не узнает Алкида возмужалого? И Лев смирен тобою, и много-зевный Цербер — гордый владыка, мечтавший покорить весь мир — пал под твоими ударами, и толпы какусов разноплеменных исчезли от руки твоей, и гидра крамол стоглавая издыхает под твоею пятою.

Не останавливайся на распутий, подобно Алкиду древнему, Отечество мое, Россия прекрасная! иди прямым путем, путем просвещения истинного, гражданственности нешаткой, незыблемой; презирай вой твоих буйных завистников и вознеси чело твое над странами мира как символ искупления, символ благодати неба к сынам земли!

# Рассказы путешественников

## Приказ с того света

Однажды, минувшим летом, провел я день на даче, в нескольких верстах от города. Красивое местоположение, прекрасный сад, с одной стороны взморье и пруды, с другой рощи, холмики и долины — все обещало мне один из тех приятных дней, о которых долго, долго и с удовольствием вспоминаешь. Хозяин — пожилой весельчак, хозяйка — добрая жена, добрая мать и умная, приятная женщина, сын их, молодой человек, образованный и скромный, и две милые дочери, расцветшие, как розы, живые, как сама жизнь, умные, как мать их, и веселые, как отец, были притяжательною силой для собиравшегося у них общества. Гостей было немного, всего восемь человек; но этот небольшой круг был так разнообразен, что удовлетворил бы вкусу самого безусталого наблюдателя

Утро неприметно у нас пролетело. Мы гуляли по садам и окрестностям, катались по

заливу и между тем шутили, смеялись и не видели, как время прокралось до обеда. Погода с утра была ясная; но мы еще не успели встать из-за стола, как небо стемнело, тучи набежали и гром начал греметь по сторонам. Спустя немного, наступила со всею свитой, как водится, гроза, и гроза самая шумливая: молнии заблестали со всех сторон, гром на раздолье прокатывался по воздушному пространству; гонимый ветром дождь пролил, как из ведра. Нечего было и думать о вечерней прогулке, потому что небо кругом обложилось густыми слоями туч и обещало воздушную потеху по крайней мере часов на пять. Если бы гостеприимные хозяева и не унимали от души гостей своих, то в такую погоду, когда, по пословице, и собаку жаль выгнать на двор, — каждый из нас без зазрения совести конечно бы сам вызвался остаться.

В доме, к удовольствию одних и к крайнему прискорбию других, карт не бывало и в помине, кроме одной старой, исключившейся колоды, которою старушка няня раскладывала гранд-пасьянс. Хозяева сами остались в гостинной, и те из гостей, которые любили

уснуть после обеда, на этот раз посовестились зевать и дремать. Разговор шел, однако ж, в такт по грозе или, лучше сказать, в промежутках громовых ударов, как в мелодраме между музыкой. Все, особливо молодые девицы, поминутно вставали и подходили к окнам полюбоваться, как молнии разгуливают по тучам и как крупный дождь сечет в стекла. Не было и надежды скоро разделаться с грозой: одна туча сменяла другую, один гром отдалялся, другой заступал его место; за мелким дождем шел другой, посильнее. Таким образом время длилось до вечера.

— Как бы весело теперь стоять на вахте, — сказал один моряк, — особливо когда паруса все убраны и когда спрятаться можно только под ванты или под грот-бом-брам-брасс.

— Хорошо и пехотному офицеру на походе, — подхватил молодой гвардеец, сын хозяев, — особливо если идешь не по петергофскому шоссе, а по какой-нибудь проселочной деревенской дороге. Промочит тебя до костей, и ноги уходят в грязь по колено.

— Да, не худо и кавалеристу, — примолвил один улан, покручивая усы свои, — сверху то

же, что и вам, господам пехотинцам, а снизу того и жди, что лошадь или увязнет, или поскользнется и отпечатает формы твои в вязкой глине.

— Я помню одну такую грозу, заставшую меня на дороге в Германии, — сказал один неутомимый охотник путешествовать и рассказывать, смотревший в окно и обернувшийся к нам с скромною улыбкою самодовольствия. — Гроза и повесть о духах, которую слышал я вслед за нею, слившись в мыслях моих с развалинами старого замка, который я видел в тот вечер, всю ночь меня тревожили самыми странными и непонятными снами.

— Ах! расскажите нам повесть о духах, — подхватила хозяйка, желая чем-нибудь занять гостей своих.

— Повесть о духах! повесть о духах! — вскричали девицы и за ними все гости почти в один голос.

Путешественник подвинул кресла к круглому столику, за которым сидели дамы, сел, обвел глазами все общество, как будто бы желая измерять на лице каждого слушателя сте-

пень внимания, какую он готовил для чудной повести, очистил голос протяжными «гм! гм!» и начал свой рассказ:

— Лет несколько тому, возвращался я из Франции в Россию, чрез Мес, Сарбрюк, Майнц... и так далее. У меня была крепкая, легкая и укладистая коляска, со мною веселый товарищ, француз, отставной капитан наполеоновской службы, ехавший в Россию отведать счастья и употребить в пользу сведения и дарования свои в том звании, которое он называл л'утшитель. Он... позвольте мне в коротких словах рассказать о нем. — И не дожидаясь согласия или несогласия слушателей, рассказчик мой продолжал:

— Он облетал почти всю Европу за Наполеоновыми орлами: прошел даже Россию до Москвы, но оттуда насилу унес голову с малыми остатками большой армии. Часто, в коляске, для прогнания скуки спорил он со мною о минувшем своем идоле и упорно доказывал, что разрежение рядов французской армии было следствием особых соображений Наполеоновой стратегии. Со всею французскою самонадежностью уверял он меня, что знает со-

вершенно и свободно изъясняется по-итальянски, по-испански и по-немецки, и, вероятно, только зная, что я русский, не прибавил к тому языка российского. Впрочем, хотя он и выговаривал ик мак и макенэй, но все-таки немного лучше знал немецкий язык, нежели те из его земляков, которые в прошлую войну на каждой квартире твердили добрым немцам: «Камрад! манжир. бювир, кушир, никл репондир» — и сердились, почему немцы их не понимали. Мой товарищ мог, по крайней мере, выразуметь, что ему говорят, а при нужде и сам мог сказать слов несколько... Да не о том дело: чувствую, что я слишком заболтался о своем товарище...

— Ничего, продолжайте: я все слушаю, хотя, признаться, и не очень понимаю немецкого-то! — сказал очень простодушно один пожилой и добрый провинциал.

Все засмеялись, и путешественник, нисколько не смутясь, первый захохотал от всего сердца. Отдохнув после смеха, он начал рассказывать далее:

— Кто переезжает французскую границу и вступает в Германию, тот с первых шагов за-

мечает крайнюю перемену в способе переноситься с места на место и невероятную разницу между почтальонами французскими и немецкими. Первые, в огромных своих ботфортах, иногда в сапог сверх куртки и вообще с не слишком опрятною наружностью, перепрягают в три минуты, мигом вспрыгивают в стремя, захлопают бичами и пошел хорошо рысью с горки на горку; а если дашь им порядочный *pour boire* сверх положенного по почтовой книжке, то понесут тебя на крыльшках, точно как русские ямщики. Немецкие почтальоны одеваются чисто, играют на рожках; зато утомительная их флегма и несносный лангсам мучат путешественника. С ними, кажется, лопнет терпение и самого труженика. Так, сердясь и бранясь, я и товарищ мой проехали с ними от Гомбурга до Кайзерслаутерна: но ни брань, ни ласки, ни увещания, ни гладкое шоссе, по которому можно бы катиться как по маслу, ни прибавка тринкгельда — ничто не шевелило закостенелые сердца наших мучителей. Погода стояла прелестная во всю нашу дорогу от Парижа до красного городка Кайзерслаутерна, — крас-



ного в самом буквальном смысле, ибо все домы его построены из самородного красного камня; но когда мы оттуда выехали, то заметили, что тучки начинали набегать, и слышали в стороне гром. Как назло еще, лошади попались нам ленивее, а почтальон упрямее обыкновенного. Сколько мы ни толковали с ним — все понапрасну! Он поминутно вставал с седла, заходил то пить пиво, то закуривать трубку, оставался в шинках по четверти часа и более, а чтобы свободнее курить табак, не садился на лошадь, шел пешком подле коляски и на все наши увещания твердил: «Aber der Weg ist sehr schlecht,» — хотя дорога была истинно прекрасная. Лошади, как будто б условясь с ним, шли с ноги на ногу, спустя головы и хлопая ушами, как ослы. Между тем небо мрачилось час от часу более, гром трещал сильнее и сильнее, молнии змейками завивались над нашими го ловами; а с последней станции начал накрапывать дождь. Он постепенно усиливался и, спустя полчаса, зашумел таким же ливнем, как сегодняшней. Нечего было делать! мы, хоть и великие любители сельской природы, то есть любители

от безделья зевать по сторонам, на горы и доли, принуждены были закутаться в коляске, чтоб не промокнуть до последней нитки. Признаюсь, что я радовался этому крупному, частому дождю, потому что он, в лице нашего почтальона, мстил за нас всей его братье; только жалел я, что это был не тот, который вез нас от Кайзерслаутерна. Однако ж жажда мести проходит, как и все другие страсти, а моя с избытком напоена была дождевыми потоками, текшими со шляпы на спину бедного почтальона. Скоро дождь наскучил мне и начал выводить из терпения моего товарища. «Oh quel ctimat!» — ворчал он, сердясь ни за что ни про что на благословенный климат средней Германии.

Однако ж гроза не унималась, несмотря на заклинания моего француза. Гром как будто спорил с гневными его междометиями и наотрез перерывал длинные периоды, в которых он честил и климат и почтальонов немецких. Наконец, устав сердиться и видя, что гром трудно перекричать, француз мой сперва замолчал, потом начал насвистывать *la pipe de tabac*, потом зевать и потягиваться,

а в заключение всего дремать. При каждом ударе грома он вздрагивал, выглядывал полусонными глазами в оконце, ворчал по нескольку слов — и снова голова его упала на сафьянную подушку коляски, и снова качалась и свешивалась на грудь, так что нос его чертил дуги и кривые линии на воротнике фрака. Что до меня, я не мог вздремать: частью оттого, что из самолюбия не хотел раздражать французу, частью же оттого, что не люблю спать при огне и стуке; а молния светила нам почти без промежутков, и гром перерывался только громом; притом же дождь стучал со всех сторон в коляску. Так, сидя и мечтая, чрез несколько часов заметил я, что мы начинали подниматься в гору; я выглянул в окно и увидел, что гора, на которую мы ехали, покрыта густым столетним лесом, а на вершине ее стоит древний, полуразвалившийся замок. Эта вершина выдалась круглым холмом из середины леса, и только узкая, почти заглохшая тропинка вела к замку. Он был огромен: уцелевшие стены с круглыми пробоинами, башни, зубцы и другие вычурные средних веков показывали, что он принадлежал

какому-нибудь знаменитому владельцу времен рыцарских. Я толкнул моего товарища и указал ему на замок; француз протер глаза, смотрел долго и со вниманием по направлению моего пальца и кончил свои наблюдения протяжным «tiens!» В это время въезжали мы в местечко Гельнгаузен, лежащее на полугоре и на весьма живописном местоположении. Почтальон наш, видя конец своих страданий, приставил мокрый рожок к мокрым губам и, как лебедь на водах Меандра, изо всей груди заиграл последнюю свою песню; лошади вторили ему ржанием, радуясь близкому своему освобождению от упряжи и отдохновению в уютной конюшне, за тормом. В таком порядке, с музыкой и аккомпанементом, въехали мы в трактир Золотого Солнца.

Ловкий молодой мужчина с черными усами и загорелым, выразительным лицом, а каком-то полувоенном наряде, отпер дверцы нашей коляски и, вслушавшись, что мы говорим по-французски, сказал нам довольно хорошо на этом языке приветствие и приглашение войти обогреться в трактире. Сходя по измокшей ступеньке, я поскользнулся и чуть

было не упал; судите ж о моем удивлении, когда тот же молодой человек чистым русским языком, немного сбивающимся на украинское наречие, спросил у меня:

— Вы, сударь, из России?

— Земляк! — вскрикнул я, обрадовавшись.

— Нет, сударь; я поляк, из Остроленки, но часто бывал с русскими, был даже в плену и выучился вашему языку.

— Как же сюда зашел?

— О, сударь! мало ли куда я заходил на своем веку: был и в Италии, и в Испании, и в России; а немецкую землю так измерил, как только может измерить лихой улан на коне своем. Теперь служу гауз-кнехтом в здешнем трахтире.

Француз мой, подслушав название Испании и Италии и радехонек случаю выказать свое языкознание, начал делать ему вопросы по-итальянски и по-испански; но поляк, не запинаясь, отвечал ему на обоих сих языках гораздо чище и правильнее; так что француз принужден был ударить отбой на природном своем языке похвальным словом храбрости и понятливости поляков.

Нас ввели в общую комнату, довольно просторную и очень теплую; двое приезжих сидели там за особым столиком и разговаривали вполголоса, а человек шесть жителей местечка, собравшись у большого стола, за огромными кружками пива и с трубками в зубах, спорили между собою и чертили пивом по столу план Люценского дела. В углу молодая, белокуренькая пригоженькая немочка сидела за рукодельем и по временам нежно взглядывала на статного немчика лет около двадцати пяти, который, облокотясь на ее стул, что-то ей нашептывал. Хозяин, человек лет за пятьдесят, с самым добрым старонемецким лицом, чинно похаживал с трубкою вокруг стола и как будто бы при каждом шаге хотел приподняться поближе к потолку, ибо природа поскупилась дать ему рост, приличный важной его осанке. На нем был наряд особого покроя, который можно назвать средним пропорциональным между халатом и камзолом: рукава преширокие, а полы спускались немного пониже колен. Эта нового рода туника сшита была из ситцу с большими разводами ярких цветов, каким у нас обиваются ме-

бели, и застегивалась сверху донизу огромными пуговицами. Седоватые волосы нашего трактирщика прикрыты были черным шелковым колпаком. Увидя нас, хозяин подошел и преважно поклонился; мы заняли места и, расположившись провести здесь ночь, потребовали ужин, лучшего вина и особую комнату с двумя постелями.

Неоспоримая истина, что вино веселит человека. За бутылкою доброго гохгеймского согрелось сердце и ожила веселость во мне и в моем товарище. Хозяин, полагая, что мы не простые путешественники, потому что требуем много и, конечно, заплатим хорошо, увидался около нас и раз двадцать величал нас наугад и баронами, и графами, и князьями, по мере того, как наши требования на его счет увеличивались. Я должен вам признаться, что принадлежу к числу путешественников систематических, то есть тех, которые не проезжают ни одного местечка, ни одной деревушки без того, чтобы не выведать у первого встречного всей подноготной о месте его жительства. Знаю, что многие называют это суетным любопытством людей праздных; но вы

не поверите, как этим увеличивается и дополняется сумма сведений, собираемых нашим разрядом путешественников, о нравах, обычаях, местностях и редкостях проезжаемого края. Так и здесь, то есть в Гельнгаузене, пришла мне благая мысль потребовать другую бутылку гохгеймского, подпойть доброго нашего хозяина и пораспросить его о том, о другом. Он не заставил долго себя упрашивать. Стаканы и разговоры зазвучали, и в полчаса мы так были знакомы, как будто бы вместе выросли и вместе изжили век.

— Позвольте познакомить вас, милостивые государи и знаменитые странствователи, с первостатейными членами здешнего местечка, — сказал наш хозяин; с этою речью встал он и подошел к гостям своим, сидевшим у стола за пивными кружками. Мы пошли вслед за ним, чтобы поближе всмотреться в этих первостатейных членов.

— Вот высокопочтенный и именитый г-н пивовар Самуель Дитрих Нессельзамме, — продолжал трактирщик, указывая на первого из них. Пивовар, небольшой, плотный мужчина, с круглым и красным лицом, с носом,



раздувающимся как кузнечный мех при каждом дыхании, с плутовскими глазами под навесом густых рыжих бровей и с самой лукавою улыбкою, встал и поклонился нам очень вежливо.

— Прежде всего, любезный сосед, — сказал он трактирщику, улыбнувшись как змей-искуситель, — позвольте мне от лица общих наших друзей, здесь находящихся, довести до сведения почтенных ваших посетителей, с кем они имеют удовольствие беседовать в особе вашей.

— Начало много обещает, — подумал я; и, взглянув на трактирщика, заметил, что он невольно приосамился, но вдруг, приняв на себя вид какого-то принужденного смирения, отвечал оратору только скромным поклоном

— Почтенный хозяин здешнего дома, — продолжал хитрый пивовар, — есть г-н Иоган Готлиб Корнелиус Штауф, смиренная отрасль древней фамилии Гогенштауфен.

При сих словах, хозяин наш, казалось, подрос на целый вершок. Он то потирал себе руки, то под какою-то странною ужимкою хотел затаить улыбку удовольствия, мелькнувшую

на лице его, словом, был вне себя. Наконец язык его развязался: он, со всею благородною скромностью сельского честолюбца, сказал нам;

— Точно так, милостивые государи! под эту убогою кровлею, в этом, могу сказать, почти рубище, видите вы потомка некогда знаменитого рода... — Голос его дрожал, и сколько он ни усиливался, не мог докончить этого красноречивого вступления.

Товарищ мой кусал себе губы и чуть не лопнул от смеха, который готов был вырваться из его груди громким хохотом. Что до меня, то я удержался как нельзя лучше; такие выходы были для меня не в диковинку: еще в России знал я одного доброго немца, который причитал себя роднею в тридцать седьмом колене князю Рейсу сорок осьмому. Между тем француз мой, пересилив смех, спросил у меня на своем языке: «Что за историческое лицо Оанстофен?» — и я в коротких словах дал ему понятие о Георге Гогенштауфене, сколько сам знал о нем из романа Шписова. Хозяин наш в это время, как видно было, искал перерванной в нем сильным волнением

чувств нити разговора. Несколько минут смотрел он в землю с самым комическим выражением борьбы между смирением и чванством, к которым примешивался какой-то благоговейный страх. Но чванство взяло верх в душе честолюбивого трактирщика, и он вскричал торжественным голосом:

— Так! предки мои были знамениты: они беседовали с славными монархами и жили в замках. Скажу больше: они — только другой линии — были в родстве с великими и сильными земли; а некоторые даже сами... Но что вспоминать о минувшей славе!.. Один из них, — прибавил он вполголоса и робко озираясь, — один из них, бывший владелец двадцати замков, и теперь в срочное время посещает земное жилище своих потомков...

— Неужели? — сказал я с видом удивления, — и не тот ли замок, что здесь стоит на горе?

— А прогос, — подхватил мой товарищ, — скажите на милость, высокопочтенный г-н Штауф, чей это замок?

— Замок этот, милостивые государи, — отвечал трактирщик, — замок этот принадле-

жал некогда славному императору Фридриху Барбароссе. Здесь совершались дивные дела, и теперь иногда совершаются. Иногда, говорю; потому что срок уже прошел и не скоро придет снова.

Торжественный голос, таинственный вид и сивиллинские ответы нашего трактирщика сильно зашевелили мое любопытство. Я просил его рассказать о дивных делах замка, потребовал еще несколько бутылок гохгеймского — на всю честную компанию — и сам подсел к кружку добрых приятелей нашего хозяина. Товарищ мой сделал то же. Белокуренькая немочка подвинула свой стул, а статный немчик переставил ее столик с работою поближе к нам.

Во все это время трактирщик как будто бы колебался или собирался с мыслями. Наконец лукавый пивовар решил его. «Что, любезный сосед, — сказал он, — таить такой случай, который служит к чести и славе вашего рода и сверх того известен здесь целому околотку? Ведь вас от того ни прибудет, ни убудет, когда эти иностранные господа узнают то, что все мы, здешние, давно знаем».

— Решаюсь! — возгласил трактирщик, как бы в припадке вдохновения. — Высокопочтенные и знаменитые слушатели! одного только прошу у вас — снисхождения к слабому моему дару и безмолвного внимания, потому что я как-то всегда спутываюсь, когда у меня перебивают речь.

Все движением голов подали знак согласия; и вот, сколько могу припомнить, красноречивый рассказ скромного нашего трактирщика.

Год и пять месяцев тому назад Эрнст Герман, этот молодой человек (тут он указал на статного немчика), возвратился сюда, окончив курс наук в Гейдельбергском университете. Вы видите дочь мою Минну (тут он указал на белокуренькую немочку): не в похвальбу ей и себе, ум ее и сердце ничем не уступят смазливенькому личику. После матери своей осталась она на моих руках по седьмому году. Я сам старался ее образовать, платил за нее старому школьному учителю, наставлял ее всем добродетелям, особливо порядку и домоводству; а чтобы познакомить ее с светом и доставить ей приятное развлечение, покупал ей

все выходявшие тогда романы Августа Лафонтена<sup>17</sup>. Вы, верно, догадываетесь, в чем вся сила? Герман полюбил Минну, Минна полюбила Германа; оба они не смели открыться друг другу, не только мне или кому бы то ни было; а мне самому, со всею моею догадливостью, и в голову того не приходило. Дело прошлое, а сказать правду, когда старый кистер, дядя Германа и школьный наш учитель, пришел ко мне сватать Минну за своего племянника, обещаясь уступить ему свое место, — меня это взорвало. «Как! — думал я да, кажется, и говорил в забытьи с досады, — дочь моя, Вильгельмина Штауф, отрасль знаменитого рода Гогенштауфен и самая богатая невеста в здешнем местечке, будет женою бедного Эрнста Германа, у которого вся надежда на скудное учительское место его дяди!» — Короче, я отказал наотрез; выдержал пыл и представления старика кистера, видел, как Эрнст бродил по улицам, повесив голову, подмечал иногда две-три слезинки на голубых глазах Минны — и оставался непреклонен. Слушал длинные увещания соседа Нессельзамме и поучения нашего пастора о гордости и тщете бо-

гатств — и оставался непреклонен. Так прошло несколько месяцев. Минна, из румяной и веселой, сделалась бледною и грустливою; Эрнст похудел, как испитой, и поглядывал из-под шляпы на наши окна, как полоумный. «Ничего, — думал я, — время все сгладит и залечит!» Тогда мне и не грезилось, какой конец будет делу.

Между тем, по моему расчету, приближалось роковое двестилетие, когда тень Гогенштауфена является одному из его потомков, для устроения фамильных дел. Сколько мне известно, здесь, поблизости от замка, налицо из всего потомства мужеского пола был только я. Часто говаривал я об этом с соседом Нессельзамме, и всегда меня мучило какое-то темное предчувствие. Сосед всякий раз вводил речь на то, чтобы, каковале мера, если Гогенштауфен на меня обратит свое внимание, выполнить все, чего он потребует, и не раздражать грозного предка отказом или изменением его поведений. Я совершенно соглашался с мнением соседа и с страхом и надеждою ждал призывного часа.

В одну ночь — это было ровно за три дни

до известного вам срока — лег я в постелю раньше обыкновенного, чтоб успокоить волнующиеся ожиданиями мои чувства. Ночная моя лампада бросала с камина слабый, тусклый свет. Стенные часы пробили полночь, и я, кажется, начинал дремать. Вдруг — я не спал еще, милостивые государи, клянусь, что не спал, — вдруг дверь в моей комнате тихо и без скрипа сама собою отворилась... Я приподнял голову с подушки... Не вздохнул ли кто из вас, милостивые государи? не шумит ли ветер?.. Меня всегда обдает холодным потом, когда вспомню про тогдашние свои приключения. Однако ж я не трус, милостивые государи, я не трус в решительные минуты, и вы скоро это увидите.

Видали ль вы, почтенные мои слушатели, тень отца Гамлетова? Я ее видел в Лейпциге на ярмарке; сосед Нессельзамме тоже видел. Помнишь ли, сосед, сколько раз я с тобою спорил, что мертвецы и тени именно так ходят: ступают одною ногою и после тихо и с расстановкой приволокут к ней другую, как в мэнюэте? Ты смеялся тогда и не хотел мне верить. Точно так, шаг за шагом, вошел ко мне чер-



ный рыцарь, в черных доспехах с черными перьями; из-за черной решетки его шлема торчали курчавые, черные бакенбарды, ни дать ни взять как у моего гауз-кнехта. Казимира Жартовского. Да и ростом привидение, кажется, было с него, немного разве пошире в плечах и потолще. В левой руке держало оно огромный черный меч; в правой, которую протягивало ко мне, как телеграф, — был сверток пергамена, перевязанный черною лентою и запечатанный черною печатью. Видя, что я не тороплюсь принять от него сверток, привидение уронило его на пол, потом медленно опустило руку свою в черной перчатке, медленно протянуло указательный палец, как будто приказывая, чтоб я поднял это чудное послание. И когда глаза мои, как заколдованные взглядом василиска, следовали за указательным его пальцем и остановились на пергамене, — привидение вдруг исчезло, и дверь сама собою захлопнулась.

Не скажу, чтоб я сильно испугался, потому что я не кричал и не упал в обморок; однако ж, признаться, мне было жутко: меня то холод пронимал до костей, то бросало в такой

жар, что на дыхании моем можно б было — изжарить фазана; дух захватило и голосу не стало. Так провел я, без сна и почти в оцепенении, всю ночь до самого рассвета. Утром я поуспокоился; тут вспомнил о пергамене и наклонился, чтобы поднять его; но в глазах у меня двоилось, словно у пьяного: я то не дотягивал руки до свертка, то перетягивал ее через свертки; когда ж удавалось мне до него дотронуться, то руку мою всякий раз отталкивало, как будто б я брался за раскаленное железо. Долго я возился с свертком; наконец ухватился за него, и пальцы мои с судорожным движением к нему прильнули. Собравшись с силой, я сорвал черную ленту и печать, развернул пергамен... в нем было написано красными чернилами, и чуть ли не кровью; но долго, долго писанные строки сливались в глазах моих в одни кровавые полосы, а когда начал вглядываться в буквы — они, казалось, перескакивали то вверх, то вниз, то двигались, как живые. Я выпил стакан воды, сел, отдохнул и потом прочел следующее послание, написанное самым старинным почерком, но четкими и крупными буквами:

«Потомку моему в двадцать девятом колене, Иоганну Готтлибу Корнелиусу Штауфу из рода Гогенштауфен, я, Георг фон Гогенштауфен, рыцарь и барон, желаю здравия и свидетельствую почтение.

Чрез три дни, в час по полуночи, явись в нагорный замок, без проводника и фонаря, для получения моих приказаний. Податель сего, бывший мой оруженосец Ганс, будет тебя ожидать у ворот замка и введет куда следует. Пребываю нежно тебя любящий...»

Под этими строками подписано было размашистою рукою: «Георг фон Гогенштауфен», а внизу письма:

«Дано на пути моем в воздушном пространстве, на пределах обитаемого мира». Далее год и число.

Посудите, каков был приказ с того света? Ступай на свидание с мерт... с тенью, хотел я сказать! Но делать было нечего; отказаться нельзя; а если б я и подумал не выполнить приказа, то кто знает, сколько у грозного моего предка запасных средств, и пожаров, и болезней, и смертных случаев? да когда б и сам он вздумал навестить меня, то уж бы не по-

шутил за неявку. Тоска залегла мне на сердце: я бродил, как нераскаянный грешник, уныл и мрачен; отказался от хлеба, а за пиво и брантвейн и взяться не смел. В местечке у нас пошли на мой счет шушуканья: одни говорили, что я обанкрутился и что скоро дом и вся рухлядь пойдут у меня с молотка; другие — что у меня на душе страшное злодейство и что какой-то призрак с пламенными глазами и оскаленными зубами поминутно меня преследует; иные — что я рехнулся ума или, по крайней мере, у меня белая горячка. Этих мыслей, кажется, была и Минна: она все плакала и грустила, призывала даже доктора; но я его не принял и отправил его баночки и скляночки из окна на мостовую. Так прошло двое суток; наступили роковые третьи. С самого утра заперся я в своей комнате и не пускал к себе ни души; приготовился ко всему, как долг велит доброму и исправному человеку; написал даже духовную, в которой завещал Минне все мое имение и заклинал ее поддерживать честь нашего рода и славу трактира Золотого Солнца. Соседу Нессельзамме отказывал на память мои очки и дю-

жину доброго рейнвейна, а старому кистеру бутылку самых лучших голландских чернил. В таких хлопотах я и не заметил, как наступил вечер. Вот тут-то стало мне тяжело! Каждый чик маятника отзывался у меня на сердце, как будто стук гробо вого молота, а звонкий бой часов слышался мне похоронною музыкой; каждый час налегал мне на грудь, как новый слой могильной земли. Наконец пробил и двенадцать. Все в доме стихло; нигде ни свечки; на мое счастье, месяц взошел и был полон и светел, как щеки соседа Нессельзамме под веселый час. Я начал одеваться в самое лучшее праздничное свое платье, взбил волосы тупеем, перевил косу новою черною лентою и, посмотревшись в зеркало, видел, что могу явиться на поклон к почтенному моему предку в довольно приличном виде. Это меня ободрило. Пробил и час. Быстро пробежал у меня мороз по жилам, но я не лишился бодрости; пошел к замку и в мыслях приготовлял речь, которую хотел произнести к тени славного Георга фон Гогенштауфена.

Не знаю, что-то подталкивало меня в спину, когда я вышел из местечка; месяц светил

так, что можно было искать булавок по тропинке; тени от деревьев и кустов, казалось, протягивали ко мне длинные руки и хотели схватить за полу; совы завывали по рощам и как будто напевали мне на душу все страшное. Я шел, скрепя сердце, стараясь ничего не видеть и не слышать и ощупывая наперед бамбуковою своею тростью каждый шаг по тропинке. Так прибыл я к воротам замка или, лучше сказать, к тому месту, где они когда-то стояли; там, на груде камней, увидел я обещанного проводника, черного латника; он отсалютовал мне черным мечом и пошел перед мною. Мы вошли в узкие, сырые переходы, освещаемые только слабою лампою, которую нес мой проводник; ноги мои подкашивались и невольно прилипали к помосту, но я их отдергивал и шел далее; мне что-то шептало: «Надейся и страшися!», — и я с полною уверенностью к знаменитому предку переступал шаг за шагом. Мы остановились у одной двери, за которою слышны были многие голоса; черный латник поставил лампу на пол и ударил трижды мечом своим в дверь: она отворилась, мы вошли... и здесь-то я увидел, ко-

гда, опом нившись, мог видеть и понимать... Посередине стоял стол, покрытый черным сукном; за столом, на старинных, позолоченных креслах, сидел Гогенштауфен, в собственном своем виде. Он, по наружности, казался бодр и свеж, даже дороден; но смертная бледность и что-то могильное, которое как белая пыль осыпалось с его лица, ясно показывали, что это не живой человек, а тень или дух. Волосы на нем были белые и курчавые, как шерсть на шпанском баране; борода длинная и мягкая, как лен: эта борода закрывала ему всю грудь и падала на колена. Только серые глаза его бегали и сверкали как живые. На нем была белая фланелевая мантия особенного покроя: шлейф от нее лежал далеко по помосту, а полы закрывали все ноги, так что я не мог видеть, какая была обувь у моего предка. Перед ним была раскрыта роковая книга, в черном сафьянном переплете, с золотым обрезом и медными скобками. По обе стороны его, на помосте, что-то пылало в двух больших черных вазах и разливало бледный, синеватый свет и сильный спиртовой запах. Чем далее я всматривался в лицо старого Ге-

орга, тем больше находил в чертах его что-то знакомое... и, как хочешь спорь, друг Нессельзамме, а я все-таки не отступлюсь, что между предком моим и тобою есть какое-то сходство... Не скажу, чтобы большое, потому что вид его гораздо важнее и благороднее; а есть что-то... Недаром во мне всегда было к тебе некоторое непонятное, сверхъестественное влечение

— Полно, полно! — подхватил пивовар, покусывая себе губы с какою-то принужденною ужимкою, — тебе так показалось... Ночь, слабое освещение, невольный страх и тревога чувств... словом, тебе так показалось.

— Ну, как тебе угодно, а я все на том стою. Да полно об этом: мы вечно будем спорить и вечно не согласимся, и я по всему вижу, что тебе крайне нелюбо сходство с выходцем из того света.

Во все то время как я его рассматривал, старый Гогенштауфен не спускал глаз с своей книги и как будто бы не замечал меня. Должно думать, что он с намерением давал мне досуг оправиться от страха и удивления: ему хотелось, чтоб я с свежею по возможности голо-



вою выслушал его слова, мог их обдумать и отвечать порядком. Наконец он поднял глаза с книги, оборотил их ко мне и сказал глухим и протяжным голосом, в котором было что-то нетелесное:

— Иоган Готлиб Корнелиус, потомок заглохшей отрасли рода Гогенштауфен! Я заботился о тебе. Здесь вызывал я из гробов тени минувших потомков моих и спрашивал их совета, как восстановить и прославить твоё поколение. Внемли приговор их и мой: у тебя одна дочь; с нею потомство твоё должно перейти в род посторонний; но род сей должен быть достоин столь блестящего отличия. Я избрал ей супруга, и все потомки одобрили мой выбор. Это — Эрнст Герман. Он, как и ты, отрасль рода славного, кроющаяся в тени безвестности. Родоначальник его древнее всех нас, и есть знаменитый Герман, давший имя своё всем племенам германцев, тот Герман, которого полудикие завоеватели, римляне, своевольно в летописях переименовали Арминием. Не стыдись и не презирай бедности Эрнста Германа: я его усыновил; потомству его, чрез несколько колен, предопределены

судьбы славные. Обилие и слава будут его уделом, и Золотое Солнце воссияет лучами непомрачаемыми. Прощай! время мне отправиться в путь далекий и устроить жребий других моих потомков. Будь счастлив и успокой дух свой.

Я отдал земной поклон великому моему предку и от полноты чувств не мог сказать ни слова, даже долго не мог приподнять головы; когда же встал, то ни его, ни книги уже не было; пламя в вазах погасло, и надо мною стоял черный латник с своею лампою. Он подал мне знак идти за ним; мы вышли из-под сводов; он остановился на том самом месте, где я нашел его при входе в замок, указал мне дорогу черным мечом своим — и вдруг мелькнул куда-то, так что я больше его уже не взвидел. Одинок пошел я по тропинке. Голова у меня кружилась, чувства волновались; бессонница, произвольный пост, чудное видение... словом, все это вместе было причиною, что я без памяти упал на половине дороги...

Когда я очнулся, то увидел, что лежу на постеле, в своей комнате. Минна сидела у моего изголовья и плакала; Эрнст Герман стоял пе-

редо мною с скляночкой лекарства и ложкою; старик кистер поддерживал мне голову, а доктор наш, Агриппа Граберманн, щупал пульс и смотрел мне в лицо с самою похоронною рожей. Сосед Нессельзамме печально сидел сложа руки на моих креслах и о чем-то думал; а Казимир, тоже не с веселым лицом, стоял у дверей, как на часах, и, видно, ждал приказаний. Я оборотился к Минне, улыбнулся, взял ее за руку, сделал знак Эрнсту, чтоб и он подал мне свою руку, — сложил их руки вместе и слабо проговорил: «Соединяю и благословляю вас, дети!» — «Это все бред!» — подхватил доктор. — «Сам ты бредишь, г-н при-спешник латинской кухни», — отвечал я ему таким голосом, который всех уверил, что я в полной памяти. Надобно было видеть общую радость! Минна, Эрнст, старик кистер, сосед Нессельзамме, Казимир Жартовский — все бросились ко мне и задушили было своими поцелуями. Один доктор Граберманн оставался холодным зрителем и упрямо твердил, что я в бреду и что горячка еще не миновалась.

Остальное доскажу вам в коротких словах. Сосед Нессельзамме, вышед рано из дому за

каким-то делом, нашел меня без памяти на тропинке, тотчас позвал Казимира и еще двоих соседей, и общими силами принесли меня домой. Чтобы не испугать Минну, они положили меня тихонько в моей комнате, потому что второпях я не запер ее перед уходом. Позвали доктора, который заметил во мне признаки горячки и, рад случаю, начал в меня лить свои лекарства. Когда я опомнился, то был уже девятый день моей болезни. После Минна мне рассказывала, что в бреду я беспрестанно твердил о Георге фон Гогенштауфене, о черном латнике, о ней самой, об Эрнсте Германе, и, не знаю по какому странному смешению понятий, о соседе Нессельзамме и о Казимире Жартовском. Я скоро оправился от болезни и скоро пировал свадьбу Минны с Эрнстом Германом, которого принял к себе в дом как сына и наследника. Вот уже восемь месяцев, как мы живем вместе, счастливы и довольны своим состоянием и благословляем память и попечения о нас великого Георга фон Гогенштауфена.

Трактирщик кончил свой рассказ. Минна и Эрнст Герман взглянули на нас такими гла-

зами, в которых можно было прочесть сомнения их насчет чудной повести и желание знать, как мы ее растолкуем? Но ни я, ни товарищ мой, по данному от меня знаку, не показали на лицах своих ничего, кроме удивления; словом, мы делали вид, что поверили всему сполна. Я заглянул в лицо лукавому пивовару: он очень пристально смотрел на свою трубку и как будто бы глазами провожал вылетающий из нее дым. Гроза утихла, тучи разошлись, луна вошла в полном сиянии, и мы, взяв себе проводником Казимира Жартовского, ходили осматривать замок...

— И теперь гроза утихла, — сказал кто-то из гостей, посмотрев на часы.

— Половина одиннадцатого: пора пожелать доброго вечера почтенным нашим хозяевам.

Гости встали с мест и велели подавать свои экипажи.

— А что ж ваши сны, которые так вас тревожили ночью? — спросил у путешественника любопытный провинциал.

— Сны мои были, как и все сны, — отвечал он, — смесь всякой небылицы с тем, что я ви-

дел и слышал.

— Что же вам говорил о трактирщицковом видении поляк, когда провожал вас к замку?

— Он притворился, будто ничего не знает и всему верит.

В это время слуга вошел сказать, что лошади готовы. Мы простились с хозяевами и разъехались в разные стороны.

### **Примечание**

Нужно ли отдавать отчет читателям в побуждениях или причинах, заставивших написать какой-либо роман или повесть? Многие большие и малые романисты, люди, без пощады строгие к самим себе и своим читателям, полагают, что это необходимо, и для того пишут длинные предисловия, послесловия и примечания. Чтобы не отстать от многих, и я хочу здесь в коротких словах сказать по крайней мере о том, что подало мне повод написать помещенную здесь повесть, и о том, сколько в ней правды и неправды.

В 1820 году, проезжая чрез Гельнгаузен, нашел я там в трактире Золотого Солнца объявление, что за девять гульденов продается в

нем: Замок Фридерика Барбароссы, близъ Гельнгаузена, исторический роман, в коем выводится на сцену тень Гогенштауфена. Я тогда же записал это, и недавно отыскал сию записку в путевой моей книжке. Замок стоит точно на таком местоположении, какое описано мною в повести. Поляк гаукнехт, говорящий по-русски и на разных других языках, есть также лицо невымышленное. Не знаю, так ли точно честолюбив хозяин трактира Золотого Солнца; но знаю, что общая страсть всех путешественников — прикрашивать свои рассказы: и мой не вовсе свободен от этой страсти.

Что касается до тени Гогенштауфена, то я в отношении к ней не слишком придерживался исторической истины Шписовой, а — вижюсь — выдумал нечто похожее на предание или поверье народное, будто бы насчет ее существующее. Таким образом, она не перестает у меня посещать здешний мир, и не в начале каждого столетия, а через двести лет. Оставляю на выбор, верить Шпису или моему трактирщику.

# Вывеска

## Рассказ путешественника

**Х**лоп, хлоп, хлоп! Бич моего почтальона раздался в воздухе и перервал утреннюю мою дремоту, наведенную пасмурною, дождливою погодой и однообразным качаньем коляски по весьма не живописной дороге. Почтальон соскочил с седла, отпер дверцы коляски и, почтительно снимая шляпу, сказал мне: «Милостивый государь! Вы благополучно прибыли в Верден; где вам угодно будет остановиться?»

— Где сам знаешь, друг мой; по мне все равно.

— В таком случае я приму смелость рекомендовать вам трактир на почте. Это лучший в городе: все иностранные принцы, все знатные путешественники в нем останавливаются.

Я кивнул головою в знак согласия; почтальон снова вскочил на седло, бич его снова захлопал и звонко отдавался по узким улицам города. Через несколько минут мы остановились у почтового двора, и хозяин трактира, вызванный на улицу со всею своею челя-



дью приветливым стуком бича, подошел ко мне, приподнял свой черный шелковый колпак и, рассыпаясь в учтивостях, просил сделать честь его заведению.

Хозяин, сухой, как ученые разыскания некоторых антиквариетов, и блдный, как муза некоторых элегических поэтов, повел меня в общую залу, засыпая на каждом шагу градом вопросов, догадок, предположений и тому подобного; а между тем он находил еще досуг отдавать приказания трактирному слуге, служанке и двум поваренкам. Все это говорил он с необыкновенною скоростью, как бы боясь, чтобы кашель и удушье, которым он был подвержен, не пресекли у него речи. Вот его-го без греха можно было назвать, по поговорке его единокровцев, словесною мельницей (*moulin a paroles*): отроду я не видывал такого словоохотного и несносного болтуна и распросчика, даже и из его братьи трактирщиков.

В первой комнате, за щеголеватую конторкой красного дерева с бронзовыми прикрасами, сидела молодая, пригожая девушка с прелестными черными глазами, в которых све-

тился огонь чувства. Она была одета не нарядно, но очень к лицу и так ловчо, как только умеет одеться двадцатилетняя француженка. Если б были еще в моде чувствительные путешествия во вкусе женева Верна, то я описал, бы вам все складочки ее платья, все стибы, уголки и наклон ее тока и во всем этом искал бы ключа к душе, склонностям и привычкам красавицы; но теперь, на беду нам, путешественникам, настает век взыскательной существенности, и от писателя требуют поменьше мечтательности и побольше дела.

— Дочь моя! — сказал трактирщик, оборотясь к пригожей конторщице. — Постарайся, чтобы требования этого господина выполнялись с возможною точностию и поспешностию. Смее спросить, милостивый государь, о вашем достоинстве: вы граф или маркиз?

— Ни то, ни другое, господин хозяин. Я просто русский путешественник, дворянин, если вам нужно это знать, и вот все, что могу вам объявить о себе.

— О, разумею! Вы, господа русские князья, изволите утаивать высокий ваш род по тонкому чувству снисхождения, чтоб уволить

нас, бедных мещан, от должных вам почестей. Но мы тоже знаем свой долг.

— Я вам сказал о себе сущую правду. Прошу вас не величать меня теми титулами, которых не имею, если не хотите меня огорчить.

— Вижу, что вам угодно соблюдать строгое инкогнито. Извольте, пусть будет по-вашему: я тоже умею кстати быть скромным.

Несмотря на это обещание, когда он ввел меня в залу, то по всему видно было, что он готов был спустить с языка какую-нибудь нелепость вроде сказанных им прежде. К счастью, я взглянул на него вовремя, и мой взгляд наложил на него отрицательную скромность.

В зале сидел толстый, рыжеватый англичанин, с багровыми щеками и носом, с лицом, на котором рука покойной г-жи дю-Дефан также легко могла бы обмануться, как и на лице соплеменника его Гиббона. Голова его, за недостатком шеи, покоилась на груди; лучи света скоплялись на величавой его лысине, как будто в фокусе зажигательного стекла. Расставя врозь мясистые свои ноги, уку-

таннные в длинные штиблеты дикого казимира, англичанин преспокойно и безответно выслушивал льстивые приветствия и корыстны предложения малорослого итальянца, бродячего художника, который вертелся и прискакивал около него, как кошка около жирного куска говядины. Рядом с англичанином сидела, и также безмолвно, его сожительница, высокая, сухая, с одним из тех холодных женских лиц, на которые боишься смотреть, чтоб не простудить себе глаза. По всему видно было, что эта чета, которой итальянец так щедро расточал названия: Signor milordo и Signora milorda, — была чета купцов из лондонского City, переехавшая на твердую землю поважничать перед чужеземцами и вымещать на них спесь и презрительные взгляды, какими с избытком и мужа и жену дарили в Лондоне богатые их сограждане. Четвертое лицо из находившихся в зале был француз самой подозрительной наружности. Он похаживал по комнате, поглядывал то на того, то на другого, останавливался, прислушивался и изредка пожимал губами.

Дурная погода производит на меня весьма

сильное влияние: она совершенно владеет нравственным моим расположением. То, что в ясный день забавляло бы меня и смешило, в пасмурный и дождливый выводит из терпения. По сему-то и в верденской гостинице все было не по мне, все досадно: и болтливость хозяина, и спесь англичан, и низость итальянца, и приглядыванье и подслушиванье неблаговидного француза. Это пагубное влияние усилилось даже до того, что красота молодой конторщицы начала мне казаться самою обыкновенною, а скромный ее вид жеманством провинциальной кокетки. Наконец, не в состоянии был долее сносить сего досадного ощущения, схватил я шляпу и, не сказав никому ни слова, назло погоде и своему здоровью, пустился бродить по улицам.

Я за правило себе положил в моих путешествиях везде осмотреть, разведать и отведать, чем славится какое-либо место. Особливо последнее наблюдал я во всей строгости, и не без причины: в винах, плодах и лакомствах, которые отвеживал я на местах, где они родятся или делаются, — признавал я вкус, склонности и досужество жителей и тем рас-

пространял круг моих нравственно-экономических наблюдений. И здесь, едва вышел я на улицу, как вспомнил, что Верден славится своими конфетами, известными во Франции под именем *dragese de Verdun*. Нетрудно мне было их отыскать: в редком доме, особенно на главных улицах, не было вывески конфетчика; я заходил к каждому, покупал по целому пакету и все это складывал в огромный боковой карман широкого моего страннического плаща. Нагрузясь таким образом, возвратился я в свой трактир с хорошим запасом для послеобеденного моего десерта в коляске.

Уже я всходил на лестницу, как, оборотясь назад, увидел на другой стороне улицы очень замысловатую вывеску. На ней было намалевано обыкновенное цирюльничье блюдо с такою надписью: «Солнце светит для каждого» («*Le soleil luit pour tout de monde*»). Воображение тотчас сказало мне, что хозяин этой вывески должен быть человек необыкновенный, человек... человек... словом, другой Фигаро; любопытство подтакнуло воображению, прибавя, что мне непременно надобно с ним познакомиться. Я остановился на минуту, в

раздумье снял шляпу и повел рукою по волосам, после по бороде, нашел, что и те и другая отросли и что мне нельзя продолжать путешествие в таком виде, если не хочу пугать собою встречных: самая основательная причина зайти к цирюльнику и продлить у него мое заседание! Не будь этой причины — я нашелся бы в великом затруднении: любопытство мое было сильно, и я избаловал в себе эту склонность тем, что всегда слепо выполнял ее прихоти; к тому же, не в похвальбу сказать, я человек совестливый: не люблю даром отнимать у людей время, особливо у художников. В таком борении двух враждующих между собою чувств, не знаю, на что бы я решился: может быть — до чего не доведет обладающая страсть! — может быть, я решился бы вовсе без нужды пустить себе кровь или вырвать зуб, лишь бы только в угоду любопытству познакомиться с цирюльником и вывести его похождения.

Уже я перескочил через улицу — и в этом должны мне поверить: не только в провинциальных городах Франции, но даже и в самом Париже есть такие улицы, через которые без

труда можно перепрыгнуть в один скачок. Короче: я в лавке цирюльника. Ко мне подошел высокий, статный молодой мужчина, с приятным лицом, кудреватыми черными волосами и большими бакенбардами, подравненными волосок к волоску. «В чем нужны вам мои услуги, милостивый государь?» — спросил он; и я без дальних околичностей ука зал ему на свою бороду и голову.

— А, понимаю, сударь! Вас нужно обрить, остричь, завить и причесать по самой последней моде, не правда ли?

Я мигом сделал свои соображения: все, что предлагал мне цирюльник в своих догадках, взятое вместе, займет его долее и, следовательно, даст мне более времени поразговориться с ним и порасспросить его.

— Правда, друг мой; ты отгадал.

— Ребята! Бастьен, Жано, Блез! — И три мальчика, в белых фартучках и с волосами в бумажках, явились на зов своего хозяина.

— Мигом: горячей воды, бритвенный прибор, ножницы, гребни; чтобы завивальные щипцы были на жару... Я сам буду иметь честь убирать господина.



Покуда мальчики управлялись, я окинул глазом вокруг себя. Комната была убрана очень опрятно и даже с некоторою роскошью: столы, стулья и прочая мебель красного дерева, на окнах чистые кисейные занавески. Большое зеркало висело между двумя окнами; под ним, на столике, разостлана была синяя салфетка с красивыми узорами, а на ней разложены были бритвы в разных футлярах. Другое большое зеркало (psyche) стояло у глухой стены, а на другой стороне, у стены же — шкаф со стеклами, задернутыми тафтою; на шкафу лежала гитара. Хозяин стоял предо мною в платье тонкого сукна и довольно новом, с тонким чистым фартуком, который нашел он тайну как-то щеголевато опоясать вокруг тела.

— По всему видно, друг мой, что ты доволен своим состоянием, — сказал я ему.

— Не жалуясь, сударь я инею довольно обширную практику. Господин мэр здешнего города никому, кроме меня, не хочет вверить головы и бороды своей, все, кто познатнее и побогаче, также ко мне идут или за мною присылают, не считал молодых и пожилых

модниц, которых и здесь, как и во всяком другом городе Франции, можно бы набрать порядочный легион. И вот недавно еще была у меня депутация от отцов иезуитов, чтобы я взял на свое попечение их головы, когда они оснуют свое пребывание в нашем городе.

— Берегись, мой друг, ты возбудишь во мне зависть.

— Ах, сударь! Участь моя точно была бы завидна, если б не вмешались сердечные обстоятельства...

— Ты несчастлив, мой друг, — вскрикнул я, не дав ему кончить, — в твои лета, с твоею наружностью, с твоим талантом — несчастлив в любви... Можно ли это? Кто ж эта жестокая? Расскажи мне печальнее твою повесть.

Многие, конечно, подивятся таким восклицаниям; но это с моей стороны был тоже небольшой расчет. Я знал, что ничем нельзя легче растрогать и задобрить француза, как участием и будто бы неволью сказанными приветствиями — и не ошибся. Цирюльник мой приосанился, слегка пощипал себя за бакенбард и сказал:

— Вы напрасно назвали девицу Селину

Террье жестокою: скажу вам, что она неравнодушна была к тем небольшим достоинствам, которые вам угодно было во мне найти. Нет, милостивый государь! Возьмите назад свое обвинение! Моя Селина имеет не каменное сердце. Вы ее видели, вы должны были ее видеть; скажите, похожа ли она на жестокую?

— Как! Это?..

— Это дочь старого, удушливого скряги Террье, содержателя гостиницы, что на почте, где верно и вы остановились.

— А, а!., поздравляю: ты умел выбрать по себе.

— Не правда ли, сударь?.. Скажу вам больше: и повесть моя не так печальна, как вы думаете. В ней есть, конечно, темные пятна, зато есть целые полосы и других цветов, по светлее и повеселее.

— Любопытен бы ее слышать: эта пестрота обещает в ней что-то очень цветистое, и я давно уже предубежден в пользу повествователя.

— О, сударь! Вы слишком милостивы, — примолвил он тихим голосом, с скромным, но

довольно в себе уверенным видом. — Впрочем, чтоб вам не скучно было сидеть, — слабые мои дарования в рассказе к вашим услугам.

В сердце у меня стало тепло от удовольствия, как у ребенка, которому подарили любимую игрушку; однако ж я по возможности скрыл свою радость, чтобы не подать рассказчику моему подозрения насчет корыстных видов моего прихода. Я отвечал ему простым уверением, что мне приятно будет узнать его жизнь и подвиги. Вот почти слово в слово собственный его рассказ, за исключением только некоторых междометий, когда ему случалось, заговорившись, делать не то, что надобно; и некоторых коротких выходов против его мальчиков, за то что вода не довольно горяча, а щипцы слишком раскалены, и т. п.

Я уроженец здешнего города. Отец мой был парикмахером и в старинные годы славился здесь тем, что с отличною ловкостью и приятностию начесывал голубиные крылышки (*ailles de pigeon*) на головах здешних модников и взбивал огромные шиньоны на величайших челах здешних красавиц. Он считался

очень достаточным человеком, имел обширное волосочесальное заведение и мог бы со временем сделаться важным капиталистом; но революция все оборотила вверх дном: парики слетели с голов, пудра рассеялась по воздуху, как дым славы, голубиные крылышки опустились и огромные шиньоны пали на зыбких своих основаниях. Место их заступили не только не чесаные, но еще нарочно всклокоченные головы; целые толпы парикмахеров, за неимением лучшего дела, пошли по миру, в том числе и отец мой разорился. Однако ж, как человек сметливый, он не утопился с горя и не сделался пьяницей от нечего делать; но, припрятав гребенки и завивальные щипцы, из прежних своих принадлежностей оставил при себе один фартук и определился служителем в один славный по тогдашнему времени кофейный дом, носивший не помню какое-то грозное революционное имя. Хозяин этого дома славился своею изобретательностью и тою применчивостью к обстоятельствам, которую в нынешнее насмешливое время называют флюгерством (*le giroquetisme*): он придавал самые патриотиче-

ские в тогдашнем смысле названия своим мороженым, питьям и сладостям; от этого дом его был беспрестанно полон, а карман и того полнее. Здесь отец мой умел снова составить себе посильный капиталец из крох и опивок многочисленных посетителей кофейного дома; и как сыну неприлично клеветать на память отца своего, то я не скажу положительно, чтобы как-нибудь, ошибкою, западало иногда к нему в карман что-либо хозяйское. Девушка Флора, молодая конторщица, была крайне дружна с отцом моим, который, сколько я мог судить по остаткам, был детина видный и очень не дурен лицом: мудрено ли, что они вместе вели счет исправно? Хозяин был доволен, они не жаловались, а мне и того меньше причин жаловаться, потому что взаимной их дружбе я обязан бытием моим. Короче: лет через пять отец мой — и девушка Флора пришли к хозяину, объявляя, что не могут более служить ему, разочлись с ним, получили сполна выслуженные у него деньги и в тот же день заключили брачный свой союз пред лицом муниципального сословия. Девушка Флора, ставшая г-жею Жак, имела тоже за собою не

одно ремесло: еще до вступления своего в кофейный дом, она прошла полный курс воспитания в разных модных магазинах и выучилась искусно делать цветы и головные уборы, шить дамские платья и...всего не припомнишь. Молодые супруги наняли уютную и опрятную квартиру. Мадам Жак снова принялась за иголки, проволоки, шелка и разноцветные обрезки; мосье Жак снова отыскивал свои щипцы и гребенки и начал завивать модные головы а-ла Титюс; они прибили над дверьми своей квартиры красивую вывеску, на которой написаны были римляне с курчавыми головами и римлянки в новомодных тюниках и с цветочными уборами в волосах; замысловатая надпись на вывеске: «Aux tetes romaines: Citoyen Jacques, coiffeur, et sa femme, fleuriste et marchande de modes» — еще более придавала цены магазину в понятиях тогдашних патриотов. По этому заманчивому названию магазина, а еще более по новости, модники и модницы налетали роями, и если не мед, то деньги оставляли в нем. Дела моих родителей пошли как нельзя лучше: к довершению их счастья, небо укрепило еще более со-

юз их, послав им меня. Отец мой хотел назвать меня просто Жаком, чтоб увековечить это имя в нашем роду, но мать моя доказала ему, что такие имена были тогда не в моде и что мне должно было дать какое-нибудь громкое имя греческое: отец мой и тут, как и во всем, послушался жены своей — меня называли Ахиллом.

Не стану вам рассказывать истории первых лет моей жизни и перейду к моему воспитанию. На восьмом году возраста меня отдали в школу, где я многому кое-чему учился; иное понимал и теперь помню, другого не понимал и теперь вовсе не знаю. Но, признаюсь, понятнее всего были для меня романы, которые читывал я украдкою. Они с самых ранних годов показывали мне свет сквозь розовое стеклышко, которое теперь, с прибавкою лет и опытности, хотя отчасти и потускнело, но все еще не изменило прежнего своего цвета. В школе, куда я ходил целые семь лет почти каждый день, обучались также и девушки. Не понимаю, почему многие чужестранцы дивятся ловкости и развязности французов в общении с женщинами и той светскости, то-



му знанию приличий, которые замечаются у нас между людьми почти всякого состояния. Разве эти чужестранцы не знают, что у нас оба пола с молодых лет привыкают быть вместе; что воспитание, игры детства и проч. доставляют нам к тому беспрестанные случаи? От этого мы привыкаем к вежливости в таком еще возрасте, когда у других народов дети низших званий не имеют о ней ни малейшего понятия; от этого мы рано приобретаем тонкое чувство приличия, которое назначает должные границы между позволительным и непозволительным в обращении с прекрасным полом и отмечает все грубое, резкое и непристойное в речах и поступках. И вот где, милостивый государь, должно искать источника светскости и обходительности французов.

Я сказал уже вам, что в той же школе обучались и девушки. Иные были старше меня, а из тех, которые были одних со мною лет или моложе, ни одна мне не нравилась: следовательно, я не мог еще молодым моим воображением сделать поверки тому, что читал в романах. Пять лет уже сидел я на школьной

скамье, был первым в ученье и в играх и тем заслуживал уважение от мальчиков; девушки часто заглядывались на меня, и, без хвастовства сказать, monsieur Achille слыл первым учеником, первым затейником и первым красавцем, словом, Фениксом своего училища. Около этого времени привели к нам в школу милую семилетнюю девочку с таким пригоженьким личиком, с такими черненькими, блестящими глазками, с таким умильным, сиротливым взглядом, что я в одну минуту почувствовал к ней жалость И какое-то непреодолимое влечение. Вы, конечно, знаете, сударь, школьную повадку, по которой всякого новобранца принимают на искус, т. е. старые ученики придираются к нему, щиплют его, дразнят и подсмеивают; и если он выдержит это испытание, т. е. если не плачет и не жмурясь вытерпит щипки, толчки и насмешки, или если он такой смельчак, который, несмотря на неравенство сил, станет драться со всяким и покажет удальство и проворство в ручном бою, — тогда его больше не трогают и объявляют добрым товарищем. Такой искус при вступлении моем в школу вы-

держал я с успехом, и это отчасти было немаловажною причиною, по которой школьные товарищи начали меня уважать.

Девушкам тоже бывают испытания, хотя и полегче: их не заставляют терпеть толчки и щипки. Так было и в этот раз: увидя, что бедное дитя робко и сиротливо поглядывало на всех и не смело мешаться в наши игры, все — и девочки и мальчики, начали над нею подшучивать, пугать строгостию школьной жизни, темною комнатою и разными наказаниями. Малютка расплакалась, и за это ее пуще прежнего начали дразнить. Я тотчас за нее вступился, стыдил девушек, особливо взрослых, и объявил мальчикам, что дерусь со всяким, кто станет обижать ее. Видя, что я взял маленькую ученицу под свое покровительство, и зная на деле, как верно я держал свое слово, в один миг все от нее отстали; я подошел к ней, утешал ее, приласкал и уверил, что это была только шутка новых ее товарищей. Милая малютка положила свои ручонки ко мне на плечи, подняла прелестную свою головку вверх и поблагодарила меня таким умильным взором, с такою радостною улыб-

кой сквозь слезы, что у меня сердце забилося сильнее обыкновенного и я тут же поклялся быть всегдашним ее другом и защитником. Вы, может быть, уже догадались, сударь, что эта малютка была Селина Террье.

Два года еще после того оставался я в школе. Селина подрастала на моих глазах и час от часу более ко мне привязывалась. В играх она старалась быть как можно ближе ко мне; обижал ли ее кто — она тотчас подбегала ко мне и жаловалась. Вы не можете вообразить себе того удовольствия, которое чувствовал я, когда она, бывало, сядет подле меня, ласкается ко мне, гладит меня по лицу маленькою своею ручонкой и называет меня своим другом, своим единственным другом. Наконец родители взяли меня из училища. Это стоило многих слез Селине, и, признаюсь, мне самому было грустно ее оставить. Однако ж я под предлогом, чтобы повидаться с прежними моими школьными товарищами, каждый день заходил в училище и всегда выбирал те часы, которые ученикам даются для отдыха и для игр. Селина выбегала ко мне навстречу, весело и приветливо кричала мне еще издали:

«Здравствуйте, добрый мой друг!», рассказывала мне обо всем, что с нею случилось: о своем ученье, забавах и детских горестях. Всякий раз приносил я ей или куклу или лакомства, и милая малютка благодарила меня за них, как за самые драгоценные подарки.

Между тем годы неслись вперед. Селина все подрастала и с каждым годом становилась стройнее и пригожее. Уже я видел в ней не резвое, игривое дитя, но прелестную девушку, расцветавшую как юная роза в весеннее утро; уже в обращении со мною она показывала более скромности и даже некоторую застенчивость, хотя и не отбросила прежней своей доверчивости; уже я видел в ней будущую подругу моей жизни и наперед сулил себе блаженство в союзе с нею, не предполагая и не воображая никаких препон. Вместо кукол и лакомств начал я носить ей мадригалы, экспромты и триолеты, которые кропал для нее на досуге, и, скажу откровенно, сударь, — некоторыми из них сам был очень доволен. Селиса принимала их с такою ласкающею улыбкой, с таким блеском радости в глазах и читала их с таким умильным выражением

голоса, что я считал себя, по крайней мере, наравне с нашими Буфлерами, Доратами, Леонарами и другими стихотворными поклонниками прекрасного пола и признавал в себе решительный дар поэзии.

Я позабыл вам сказать, что отец мой не мог устоять против приманок обольстительной мысли — скоро обогатиться. Что делать! Видно, человек создан с этой беспокойною наклонностью беспрестанно желать больше и больше: она погубила многих честных людей, и даже славных людей; этому служит доказательством еще недавний пример Наполеона. Кто бы сказал лет за десять до нынешнего, что маленький наш капрал<sup>1</sup> променяет французскую империю за тесный уголок на полудиком острове? И вот как. сударь, оправдывается наша пословица: желание лучшего — враг добру (*le mieux est l'ennemi du bien*). Так и мой отец наскучил верными доходами от своего ремесла и от модного магазина, вздумал вдруг сделаться богатым капиталистом, пустился в подряды и в торговые спекуляции, а что хуже всего, завел большой трактир в здешнем городе, нэзло старому Террье, отцу

Селины. Завистливый этот ханжа старался всячески вредить нам, подкупал почтальонов, чтоб они завозили к нему проезжих, всякими неправдами переманивал от нас постоянцев и посетителей, печатал препышные объявления о своей гостинице не только в здешних, но и в заграничных листках — и успел в адских своих расчетах: его трактир постоянно был набит жильцами, проезжими путешественниками и здешними гуляками, а к нам редко-редко кто заглядывал, и то разве за недостатком места в гостинице Террье. К довершению своей злобы, узнав, что я люблю Селину и каждый день с нею вижусь, он взял ее из школы и запретил ей принимать меня. Все мои старания, все убеждения остались без пользы: Селина плакала, я горевал, и в это время отец мой с каждым днем получал самые огорчительные известия. Все его спекуляции лопались как мыльные пузыри, подряды оставались в чистый наклад, и наконец он, скрепя сердце, принужден был объявить себя банкротом.

Я побежал сказать Селине о нашем несчастье, думая, что как-нибудь прокрадусь в

приемную комнату трактира, куда отец посадил ее конторщицей и где мне иногда удавалось с нею видаться. В самых дверях столкнулся со мною старый Террье. «А, любезный господин Ахилл, — сказал он мне с самою злою улыбкою, — вы, верно, отыскиваете здесь кого-нибудь из комиссионеров или торговых товарищей почтенного вашего батюшки?.. Жалею, очень жалею о ваших неудачах. Впрочем, это послужит полезным уроком для других выскочек — не братья не за свое дело. Теперь же я попрошу вас уволить мой дом от ваших посещений; смею вас уверить, что даже прогулки ваши по здешней улице будут напрасны и только вам же могут нанести неприятности. Без дальних околичностей — вот ступеньки вниз и на мостовую!»

Я готов был стиснуть горло старому насмешнику так, чтобы слова замерли в чахлой его груди; но вспомнил, что он отец Селины, — и удержался. Вместо всяких возражений я бросил на него убийственный взгляд, в ответ на это он подобрал плоские свои губы с такою ужимкой, которая ясно говорила. «Я не боюсь твоего гнева и презираю твои угрозы».



Вслед за этим он хлопнул дверью почти перед самым моим носом и оставил меня выветривать свою досаду на улице.

С пылавшим лицом и кипевшею кровью побрел я домой — уже не в большой и богатый трактир, а в скудную, тесную квартиру на конце города. Здесь ожидали меня новые неприятности, вместо прежних нарядных мебелий увидел я самые только необходимые и самые бедные; отец и мать моя, сидя по разным углам, вели между собою страшную перебранку: мать укоряла отца за его нерасчетливость и безрассудные спекуляции, а отец делал ей упреки за ее мотовство, страсть к нарядам и неумеренную роскошь. Эти домашние междоусобия возобновлялись у них каждый день, и не было способа помирить или унять их. Мать моя сделалась крайне гневлива, криклива и слезлива и оттого нажила себе чахотку, отец мой, уже несколько лет познакомившийся с подагрой, стал чаще прежнего чувствовать припадки сей болезни. Таким образом они поминутными своими ссорами все глубже и глубже рыли друг для друга могилу. В один день мать моя до того раскричалась и

закашлялась, что с криком и кашлем переселилась из здешнего мира... бог весть куда; у отца моего от досады и огорчения (потому что из последнего должно было отправить похороны) подагра поднялась вверх и задушила его. Я распродал остальное, убогое свое наследие и похоронил родителей моих в одной могиле: там мирно они почивают вместе, как бы в доказательство тому, что гроб примиряет всякую вражду житейскую. Я поплакал на их гробе, потом начал думать о будущей своей участи. Отец мой, в последнее время своей жизни, от нечего делать учил меня прежнему своему ремеслу, т. е. брить бороду, завивать и чесать волосы. Стыдно мне казалось явиться с бритвой и гребенкой в том городе, где некогда все знали меня как достаточного молодого человека и где несчастное безрассудство отца моего было еще у всех в свежей памяти. Как перенести все толки и пересуды? Как выдержать лицемерное сожаление бывших друзей и знакомых, которых, вероятно, довелось бы мне брить или чесать? А Селина? Каково было бы ее сердцу?.. Нет! лучше уйти из здешнего города, переселиться туда, где меня ни-

кто не знает, — думал я — и исполнил.

Я бродил из города в город. В одном убирал волосы модников и модниц, в другом определялся в какой-нибудь трактир или кофейный дом; и на это, сударь, была у меня своя мысль: может быть, думал я, со временем буду я счастливым обладателем Селины и наследственного ее трактира; тогда мне нужно будет знать все хозяйственные подробности таких заведений. Между тем тоска подчас грызла мое сердце; иногда даже, признаюсь, закрадывалась в него и ревность: Селина молодая и богата, за нее найдутся многие женихи, почему знать? Может быть... и кто поручится за сердце тринадцатилетней девушки? Она скромна, чувствительна, нежна; но эти чувствительность и нежность могут обратиться и к другому какому-нибудь воздыхателю, а по нашей пословице — отсутствующие всегда виноваты. Сии грустные думы не беспрестанно, однако ж, меня тревожили; самолюбие в некоторых случаях есть одна из самых утешительных склонностей человеческой души: оно часто, для разогнания моей тоски, подводило меня к зеркалу, показывало лицо мое в

приятнейших видах, нашептывало мне сладкие слова о моем уме, нраве и способностях и прикрепляло ко мне — по крайней мере в моем воображении — самым крепким, неразрывным узлом любовь и постоянство Селины. В такой смене мыслей и занятий, занятий и мыслей протекало мое время; всего огорчительнее было для меня то, что я не получал известия о Селине, да и сам не смел писать к ней, боясь подвергнуть ее гневу отцовскому.

Я все больше и больше приближался к Парижу, куда издавна влекла меня мысль — усовершенствоваться в моем искусстве и устроить будущее свое благосостояние; но человек обдумывает, а бог определяет! Я накопил десятка три наполеондоров и решился, не останавливаясь уже ни в каком городе, прямо идти в столицу. Под вечер одного прекрасного весеннего дня пришел я в Мо; там все было в движении, как будто на каком-нибудь празднике: шумные, веселые толпы молодых воинов то прогуливались по городу с песнями и громкими радостными разговорами, то сходились в кружки на улицах, то, выглядывая из окон трактиров и кофейных домов, ласково

привечали пригоженьких девушек и подшучивали над степенными старушками. Откровенная веселость, беззаботность о будущей своей участи, пылкая, неутомимая страсть ловить каждый миг наслаждения и братское согласие, казалось, одушевляли этих добрых воинов. Я позавидовал их счастливой беспечности; подошел к одному кружку, хотел спросить одного молодого солдата о том, о сем, взглянул на него и вскрикнул: «Это ты, Жорж?» — «Это ты, Ахилл?» — был ответ его, и мы обнялись как братья: в молодом солдате узнал я школьного своего товарища. «Да, — продолжал он, — это я, Жорж, бывший твой соученик, теперь же с маленькою солдатской добавкой — Жорж Ламитраль, к твоим услугам». — «Ужели?..» Жорж не дал мне докончить: «Прибереги свои ужели до другой поры, — сказал он, — а теперь милости просим со мною в ближайший трактир выпить кружку доброго вина в память старой нашей дружбы. Товарищи! кому угодно со мною, поспрашивать вместе встречу с старинным другом?» Товарищи мигом нашлись: человек с десять молодых, бойких солдат окружили нас, и чрез

минуту мы очутились в особой комнате трактира, за столом, уставленным бутылками и стаканами.

Между шутками и смехом, которыми сопровождалась каждая выходка казарменного остроумия, Жорж рассказал мне свои похождения. Он также был влюблен по выходе из школы; богатый и скупой дядя, от которого надеялся он получить наследство, отказал ему в своем согласии и во всякой помощи, невеста изменила — и он с отчаяния сделался солдатом. Видно, однако ж, что отчаяние доброго Жоржа не было неисцелимо: в толпе веселых товарищей он скоро забыл все свое горе, и любовь, и потерю богатого наследства; си пел, пил вино и проказил за четверых.

Я слушал рассказы, каламбуры и песни и тянул рука на руку с этими весельчаками. В голове у меня шумело против обыкновения, потому что, не в похвальбу скажу, сударь, — я всегда был воздержан; а в молодости, до этой встречи, не помню, чтобы когда у меня в глазах двоилось от хмеля.

— Послушай, любезный Ахилл, — сказал мне Жорж, — ты, мне кажется, пьешь за здо-

ровье своей красавицы и пьешь, как красавица.

— Нет, мой друг; ты видишь, что я не отстаю от других...

— Не отстаешь! и только-то?.. Ведь ты у нас гость, и мы тебя потчует; так ты должен пить за честь нашего полка и за здоровье каждого из собеседников.

Рюмки снова зашевелились, я видел, что мне не отделаться ничем от этой пирушки, и пустился пить наудалую все, что в меня нили. Пирушка делалась шумнее и шумнее; начались взаимные уверения и клятвы в вечной, неразлучной дружбе...

— Эх, друг Ахилл, — сказал мне Жорж, ударя меня по плечу, — для чего ты не будешь с нами на поле чести?.. Сказать ли тебе за тайну то, что и сам я слышал за тайну: полк наш идет с большою армией в Московию; ты помнишь, еще в школе учитель географии сказывал нам, что там-то золотые горы, особливо в Сибири, немного в сторону от Москвы. В этом городе есть даже огромные колокола из чистого серебра, а куполы церквей покрыты кованым золотом. Я ведь знаю твою историю:

ты любишь в нашем городе Селину Террье и прочее и прочее — все знаю. Послушайся меня: в Москве мы столько накуем наполеондоров, что каждый из нас, верно, возвратится в карете, которая до верху будет набита золотом; притом же, офицерские чины, которые вольноопределяющимся легко схватить, знаки отличия, раны, славное имя... Кого это не сведет с ума? Не только старый Террье — сам Великий Могол за честь себе поставит иметь такого зятя.

Товарищи Жоржевы, вслушавшись в наш разговор, также пристали ко мне и начали меня подговаривать и сулили воздушные замки, льстили моему самолюбию... Короче, сударь: хмель, золотые надежды, пробужденное честолюбие, желание теснее сблизиться с такими славными молодцами... короче, сударь: на другой день я проснулся с тяжелою головою, но в легком солдатском мундире. Новые товарищи поздравили меня, рассказали, что я накануне сам доброю волею записался в их полк и был у командиров, что имя мое внесено в полковой список и проч. и проч. Делать было нечего: уйти я не мог и не



думал, потому что считал побег бесчестным и не хотел подать худого о себе мнения новым моим сослуживцам. Я остался солдатом и ревностно принялся за неожиданную мою должность.

Полк наш через день после того отправился в поход, прошел всю Германию, где все клонилось тогда перед нами; наконец увидели мы берега Немана. «Так вот Россия; так здесь-то мы попируем, здесь-то будем тонуть по горло в золоте и возвратимся крезами!» — думали мы. Вы помните, сударь, как сбылись наши пышные надежды... Но не стану забежать вперед и расскажу вам главные со мною случаи в этом походе, который и теперь еще часто пугает меня воспоминанием, как недавний, тяжкий сон.

С самого перехода чрез Неман мы увидели, что не все так хорошо шло, как нам обещали. Мы, правда, довольно скоро дошли до Смоленска; но здесь нам должно было каждый шаг вперед покупать нашею кровью.

Поле Бородинское встретило нас такую потехою, какой и самые старые служивые, по их признанию, сроду не видывали. Здесь уже

некоторые из наших солдат вспомнили и начали потихоньку напевать старый романс:

*Худо, худо, о французы,  
В Ронсевале было вам...*

Но мы все еще не лишались бодрости: высокое мнение о воинских познаниях Наполеона и его генералов, уверенность в непобедимости наших войск и двадцать лет постоянной славы одушевляли даже самых робких из нас... Так шли мы от Можайска к стенам Москвы. С одной горы засияли перед нами куполы церквей и башен московских; сердце каждого из нас распрыгалось от радости: еще одно, положим, самое упорное сражение — и мы в стенах столицы русской! По знаку, войско наше остановилось: из колонны в колонну, из ряда в ряд пронесся слух, что уже никакого войска не было в Москве и что здесь явится к Наполеону депутация и поднесет ему городские ключи. Ждем несколько времени — никто не является: в обширном городе мертвая тишина, как будто бы ужасный мор в одну ночь истребил всех жителей, как будто бы эти высокие башни, эти огромные здания

стояли теперь надгробными памятниками отжившего населения!.. Впереди нас и поодаль от всех генералов, Наполеон расхаживал с явными знаками нетерпеливости: он то расстегивал, то застегивал свой сюртук, то быстрым движением срывал с руки перчатку, то снова надевал ее; поминутно повертывал на голове шляпу, иногда даже снимал ее, как будто бы ему было душно, тяжело! То, сложа руки, тихо расхаживал он туда и сюда, и казалось, был в самом неприятном раздумье; то вдруг, раскинув руки, начинал он ходить быстрым шагом, щелкал пальцами, как будто бы этим движением хотел отогнать от себя какую-то досадную мысль. В таких, почти судорожных приемах и оборотах, со всеми признаками свое нравного, упрямого ожидания, провел он более получаса, поминутно поглядывая на большую дорогу к городу... Депутация не показывалась, и даже не было надежды ее увидеть. У нас что-то тяжкое легло на сердце: мы сомнительно переглядывались между собою, как будто желая спросить друг у друга: что из этого будет? Но все, и старшие и младшие, хранили набожное молчание: все видели, что ма-

ленький наш капрал сердился, и знали, что в этом расположении духа он не любил шутить. Вдруг он обернулся к войскам, громко и гневно крикнул: «Вперед, к городу!» — и все понеслось за ним. Приближаемся к заставе — все тихо, как в могиле; проходим по улицам — нигде нет ни души, дома заперты, площади и рынки пусты; вместо радостного торжества победы какое-то злое уныние овладело нами; каждый из нас думал: это не к добру! Нам грозят или тайные подкопы и засады, или голодная смерть в стенах огромного опустелого города. Но всякое неприятное ощущение недолговечно у французов, особенно там, где их много вместе. Мы доедали последние крохи, покинутые в Москве ушедшими жителями, и от скуки, для препровождения времени, распивали вина, оставшиеся в погребах богачей, растаскивали дорогие вещи из их домов, ломали и портили то, чего не могли унести, и, роясь в земле и в подвалах, искали запрятанных сокровищ. Вы скажете, сударь, что руки у нас не совсем были чисты, но таков был тогдашний наш военный дух: понятие о славе поселяли в нас неразлуч-

но с понятием о богатой контрибуции; а все то, что каждый из нас мог захватить у вооруженного ли, безоружного ли неприятеля, считалось честною добычей.

Не долго, однако ж, могли мы спокойно хозяйничать в Москве: начались непрерывные пожары, и мы были в поминутном страхе, чтоб нас и самих не сожгли вместе с городом. Продовольствия час от часу уменьшались; фуражеров наших или ловили русские партизаны, или душили крестьяне. Притом же носились слухи, что Москва отовсюду окружена была русскими войсками, которые ждали нас, как обреченную свою добычу, и уже заранее пировали нашу гибель. Ропот, неразлучный спутник отчаяния начал явно возвышать свой голос в рядах нашего войска. «Зачем он привел нас сюда? Разве он хотел, чтоб мы поколели с голоду, как тощие собаки; либо были изжарены медленным огнем, как сельди у парижских наших торговков?» Таковы были речи почти у всех наших солдат. Доверенность к предводителю войск исчезла; чувство эгоизма и своекорыстия заступило место согласия и привязи между простыми воинами и даже

между офицерами; жуткий страх вытеснил прежнюю бодрость и отвагу. Москва нам опротивела: нам было в пространных стенах ее, как в тесной и душной могиле. Мы нетерпеливо ждали как блага той минуты, когда выступим из этого города, хотя и чувствовали, что нам нельзя было бороться с неравными силами бодрого, ожесточенного неприятеля. Но в тогдашнем положении дел явная гибель казалась нам сноснее томительной неизвестности.

Наконец, после шести недель страданий и мучительных тревог, нам сказан был поход. Но какое жалкое и вместе странное зрелище представляло наше войско по выходе из Москвы! Число солдат крайне уменьшилось, и оставшиеся в рядах наших были как выходцы из того света: бледны, тощи и слабы. Вместо красивых мундиров на них оставались либо противные для глаз лохмотья, либо пестрые, шутовские разнорядки, в коих наряды московских щеголих мешались с мужским платьем старого покроя, с облачением духовенства и обувью русских крестьян. Это еще не все: нас встретила преждевременная суро-

вая русская зима, по пятам за нами гналась сильная армия, которая каждый день истребляла у нас часть войск, отбивала обозы и пушки и отнимала все способы продовольствия; впереди ждала нас другая, значительная часть русского войска и перерезывала нам переправу чрез Березину. Нестерпимый холод, недостаток в пище, теплой одежде и обуви действовали на нас как повальный мор: какое то оцепенение всех умственных способностей, какая-то ледяная бесчувственность заставляла нас равнодушно смотреть, как вокруг нас десятками и сотнями падали бедные наши товарищи. Я долго выдерживал всю жестокость непогод, всю тягость лишений; долго крепился и не слушал товарищей, которые подговаривали меня отстать от армии, чтобы промышлять себе пищу мародерством; наконец, все другие чувствования во мне притупились: понятия о чести, об обязанностях воина и о долге повиновения уже для меня не существовали. Одно темное чувство самосохранения, один неумолкающий голос мучительных нужд говорил во мне: я хотел только хлеба, требовал только хлеба и готов

был купить его ценою собственной жизни или жизни лучшего моего друга. Я сам уже начал подговаривать солдат нашего полка: человек тридцать согласились идти со мною, и мы начали понемногу отставать; наконец пошли в сторону с большой дороги, по полю, покрытому снегом; бедная тварь, полковая наша собака, поплелась за нами. Она была так тоща и худа, что кости чуть держались в коже; но каким-то чудом осталась жива и не отставала от полка. Я любил бедную Сантинель (так называлась собака) и, пока мог, делился с нею последнею коркой, последним черствым сухарем; зато и она была ко мне крайне привязана и почти от меня не отходила. Товарищи выбрали меня своим предводителем, и я повел их прямо по тому направлению, по которому, вдалеке, что-то чернелось сквозь снег и казалось нам небольшою деревушкой. Однако ж мы обманулись: это был мелкий лесок. Из предосторожности я повел небольшой свой отряд по опушке этого леса; вдруг вижу — несколько человек конницы едет прямо к нам. Мы думали, что то был казачий разъезд; я велел солдатам своим рассы-



пать за деревьями и стрелять из сей засады в случае, если нас заметили и станут на нас нападать. Конные приблизились к нам на ружейный выстрел, и мы без труда узнали в них наших единоплеменников, конных егерей не помню которого полка; их было восемь человек. Я показался из своей засады, сказал приветствие землякам и спросил их, куда они ехали?

— Я думаю, туда же, куда и вы идете, товарищ! — отвечал весельчак-трубач, ехавший немного впереди прочих.

— Если так, то мы можем совершить этот поход вместе.

— О, без сомнения! Тем больше, что мы, хотя и конные, а кажется, вас не опередим: бедные наши твари насилу волокут ноги.

— Позвольте узнать, — спросил я у речистого трубача, — кто у вас командир отряда?

— Я к вашим услугам, — отвечал он, — и выбран в эту почетную должность вместе с качеством парламентаря потому, что разумею немного по-немецки.

— Но здесь говорят не по-немецки, а по-русски.

— Все равно: я стану им говорить по-немецки, а если не поймут, — могу по нужде сказать несколько слов по-итальянски, и даже по-испански.

— И можете быть уверены, что вас также не поймут.

— Вот еще! Да на каком же языке им говорить?

— Я думаю, лучше всего, если можно, на русском.

— О! так поздравляю вас: один мой приятель, польский улан, продиктовал мне слов десяток на своем языке. Я записал их; они тут... Черт возьми, какая рассеянность! Теперь только вспомнил, что еще в Москве раскурил трубку этою бумажкой.

Мы засмеялись; трубач и сам со смехом сказал: «Это небольшая беда, сладим как-нибудь». Я первый вызвался уступить ему главное начальство над нашим соединенным отрядом; он пожеманился немного, повторил несколько раз, что уверен в высоких моих познаниях по части тактики, — и, однако ж, принял команду. Мы пошли по небольшой, едва протоптанной тропинке, которая вела из

лесу. Конница наша построилась по четыре в ряд; трубач, наш командир, ехал на правом фланге, а я, сомкнув небольшую нашу пехотную колонну в каре, шел следом за конницей. Скоро мы завидели довольно большое селение, в пустынном месте, далеко от большой дороги. Ни одна душа не показывалась; все было тихо и безмолвно, и не было никаких примет, чтобы там находился какой-нибудь неприятельский отряд. Однако ж мы шли с большою осторожностью. Подойдя на пушечный выстрел к селению, трубач, наш начальник, остановил нас и рассудил за приличное сказать своему войску следующую прокламацию:

— Солдаты! готовьтесь к жаркому, отчаянному делу. Впереди ждут нас победа, слава и хлеб; позади — голод, холод и постыдная смерть. Виват Наполеон! Вперед!

Мы бросились вслед за храбрым трубачом к самым ближним домам. При нашем приближении мужчины и женщины, старый и малый выскочили опрометью из этих домов и с криком и плачем побежали внутрь селения. Трубач наш как опытный начальник

расставил трех человек из своей конницы для наблюдения и сказал нам, что в случае опасности он затрубит сбор; тогда мы должны все сбегаться и съезжаться в тот двор, где он сам будет. Выслушав сей приказ, мы рассыпались по домам, которые стояли перед нами; первым нашим движением было отыскивать хлеб и съестные припасы. Мы подкрепили свои силы и брали в сумы, что могли. Скоро, однако ж, должно было прекратить эти побои: не прошло десяти минут, как роковой зык трубы раздался у нас в ушах. Мы выбежали на улицу и услышали в селении страшный шум и звон колоколов; мы, не помня себя, вскочили в тот двор, откуда слышался призывный рев нашего трубача, — и по следам нашим густая толпа крестьян обступила двор, в котором едва мы успели запереть накрепко ворота. Число крестьян беспрестанно усиливалось новыми, которые сбегались со всех сторон. Иные скакали верхом, другие бежали пешие; у многих были ружья, винтовки, пистолеты, копья и сабли, и кажется, это были земские ратники: ими командовал человек в черной меховой шинели, с подвязною шап-

кой на голове; он разъезжал на добром коне, строил своих ратников и был вооружен с ног до головы: мы заметили у него в руках саблю, за плечами ружье, а за поясом большой турецкий кинжал и пару пистолетов; другая пара была в ольстрах его седла. Прочие крестьяне вооружились, кто чем мог: косами, отпущенными напрямик, топорами, насаженными на длинные палки, большими ножами, дубинами, кольями и проч. Перед ними шел священник с крестом, а за ним несколько причетников с хоругвями и образами. Мы едва успели построиться на широком дворе, как человек в черной шинели, подняв саблю вверх, закричал нам по-французски: «Сдайтесь!» Но испуганные рассказами наших товарищей, которые уверяли, что крестьяне русские не щадят и сдающихся, мы вместо ответа пустили несколько выстрелов. Священник, раненый, зашатался; но видно было, что он не переставал ободрять своих прихожан: нам отвечали тоже целым градом выстрелов, которые, однако ж, не могли нам вредить по высоте забора. Черный человек отдал приказ — и в минуту сотни крестьян явились с

огромными пучками соломы; несмотря на меткие наши выстрелы, несмотря на то, что многие из отважных падали мертвые, — другие беспрестанно заступали их места и в короткое время обложили соломою весь двор и зажгли ее. Мы поздно заметили нашу оплошность; хотели отступить на соседний двор — но уже и там пылала солома. Громкое радостное ура! осаждавших крестьян раздалось в воздухе. Нечего было делать; огонь и дым мешали нам стрелять в осаждавших; строение со всех сторон запылало, и нам становилось нестерпимо жарко. Мы решились испытать последнее средство: пройти сквозь прогоревший и рухнувший забор, быстрым движением пробиться сквозь неприятеля и отретироваться в поле. Соблюдая еще некоторый порядок, мы бросились по горячим угольям и непростывшему пеплу соломы; ударили в штыки на толпу крестьян, выдержали залпы стрелков, натиск конных ратников и успели отойти на некоторое расстояние от пожара. Здесь мы кое-как построились снова; увы! нас не было уже и половины. Мы видели, как некоторых из наших товарищей поднимали

вверх на острых косах, других добивали дубинами, третьих тащили, чтобы бросить в пожарище. Но нам было уже не до них: мы думали о собственной безопасности. На дворе становилось темно; короткий день сменялся пасмурным вечером. Отстреливаясь и отступая, пробиваясь сквозь окружавших нас крестьян и поминутно теряя товарищей, мы все подавались в поле. Тут только мы заметили, что храбрый наш трубач с остальными своими егерями уехал вперед и что за ними следом скакал довольно сильный отряд конных ратников. Тени вечера густели больше и больше; погоня за нами становилась слабее; остальных мы выстрелами держали в почти-тельном расстоянии. Я был ранен, но имел еще довольно силы, когда мы добрались до кустарников. Тут, потеряв надежду схватить нас, крестьяне вовсе нас оставили. Оглянувшись назад, я видел только дальнейшее зарево горевшей деревни. При мне оставалось моих товарищей всего-навсего пять человек, и те были крайне изранены. Мы прилегли в кустах, чтобы скрыться от неприятеля и хоть немного отдохнуть. Никто не смел сказать ни слова,

боясь, чтобы не привлечь какого-нибудь скрытого неприятеля: одни заглушаемые стоны раненых были слышны. Утомление от чрезмерных трудов, боль от раны и потеря крови истощили во мне последние силы; я впал в беспамятство и, может быть, истек бы кровью или бы замерз в эту холодную ночь: угадайте, кому я обязан за мое спасение? Беспамятство или какое-то невольное усыпление продержало меня почти до утра в некотором онемении чувств. Пробуждаюсь — и вижу Сантинель, которая, растянувшись по всему моему телу, грела меня косматою своею шерстью и зализывала у меня рану на голове. Бедняжка! она сама была ранена в шею ударом ножа или косы, и лапы ее были обожжены, видно, тогда, когда она вместе с нами выскочила из пожара. Я открыл мою суму, достал корпии, несколько ветошек, которые были у меня в запасе, и склянку водки, захваченную мною в селении; промыл раны благодарному животному, которое так умело чувствовать сделанное ему добро, и обвязал его лапы ветошками; дал Сантинели кусок унесенного мною хлеба, выпил сам глоток водки



и закусил остальным куском хлеба. Это меня оживило и ободрило. Я встал на ноги, поглядел на моих товарищей... Все они померли или от ран, или от стужи. Старый усач, добрый мой приятель, сидел закованный в сугробе снега; руками держался он за раненую боковую свою ногу, как будто бы еще хотел перевязать ее; открытые глаза его светились в страшной неподвижности посреди посинелого лица, усы обросли инеем, и губы лоснились как стекло от заледеневшего пара. Сердце мое сжалось; тяжело я вздохнул и спешил уйти от сего ужасного зрелища. Сантинель тихо плелась за мною, дрожа и взвизгивая от боли. Я остался один из всех моих товарищей, на жертву холода и недостатков, в земле неприятельской... Куда идти? Как избежать от ужасной смерти? В таких размышлениях прошел я около двухсот шагов. Смотрю: бедный наш бывший начальник, конно-егерский трубач, лежит мертвый на одной поляне. Он весь был изранен: голова разрублена, на воротнике мундира застыла кровь... Добрый конь его стоял над ним, уныло глядел на убитого своего седока и разгребал снег копы-

том: можно было подумать, что он хотел отдать долг погребения бывшему своему господину! Конь заржал и замотал головою, когда увидел меня, как будто бы предчувствовал, что я из числа тех, которые принимают участие в судьбе несчастного, погибшего в чужой земле, далеко от своей родины. Я отворотил голову; несколько слез с усилием вырвались из моих глаз. Я пошел далее. Целый день бродил я по окрестностям; скудные мои запасы истощились, голод и холод меня одолевали. Сантинель часто останавливалась, заглядывала мне в глаза и как бы спрашивала: где же конец нашим страданиям? Здесь я узнал собственным опытом, что чем ближе человек бывает к гибели, тем сильнее он привязан к жизни. Я не хотел умереть, дрожал при малейшем шорохе, прятался, увидя вдали что-либо похожее на человека. Под вечер силы вовсе меня оставили; я упал среди поля и не помню, что со мною было... Очнувшись, я увидел себя в крестьянской избе; двое поселян оттирали окостенелые мои члены; человек в черной шинели, тот начальник земских защитников, о котором я прежде рассказы-

вал, сидел в углу на скамье. С первого взгляда мне показалось, что все это вижу я во сне; я закрыл снова глаза, но чувствовал, что меня терли сукном, и убедился в существовании того, что видел. Тут пришла мне страшная мысль, что меня стараются возвратить к жизни для того, чтобы предать новым, ужаснейшим мучениям. Я вскочил: черный человек тихо и с участием спросил меня на французском языке: «Как ты себя чувствуешь, друг мой?» — «Мне лучше, — отвечал я, не помня сам себя от страха, — пустите меня, или...» Черный человек улыбнулся. «Идти! куда? чтобы замерзнуть или быть убиту? — молвил он. — Нет, друг, я не пущу тебя». — «Что ж вы хотите со мною делать?» — спросил я изменившимся голосом. «Теперь покамест отогреть и накормить тебя, — отвечал он, — а там что бог внушит мне». Холодный пот меня пронял, зубы у меня застучали так, что звон отдавался в ушах, голос замер, и я с крайним усилием едва мог промолвить: «Как это?» — «Успокойся, друг мой, — отвечал он со смехом, — тебя, я вижу, напугали нашими крестьянами; но здесь ты мой военнопленный.

Могу тебя уверить, что я не так страшен, как тебе кажусь...» И, не дав мне еще опомниться, он сказал что-то по-русски своим подчиненным. Мигом принесли графин водки, хлеб и чашу русской похлебки. Черный человек выпил сам, налил другую рюмку и подал мне, потом поднес по рюмке каждому из своих ратников. Я не мог опомниться от удивления и благодарности, хотел изъяснить их новому моему благодетелю, — но он не дал мне времени высказать свои чувствования. «Садись и утоли свой голод», — сказал он, подвел меня к столу и посадил меня за чашей горячей похлебки; сам между тем похаживал в молчании по комнате. Я начал есть и, сказать правду, не церемонился; вдруг что-то бросилось мне под ноги; я вздрогнул... Это была моя Сантинель, которая до сих пор спала, пригревшись в углу избы, подле печки. Слезы навернулись у меня на глазах; я прижал к груди своей Сантинель как друга, с которым не надеялся больше видеться в здешней жизни; делился с нею кусками и ласкал ее. Черный человек остановился, казался растроганным и сказал мне: «Да, эта собака стоит, чтоб ее лас-

кали; она причиною, что мы спасли тебе жизнь. Я с людьми своими ездил для осмотра окрестностей, чтоб узнать, нет ли где неприятельских мародеров. Мы видели многих из погибших твоих товарищей; я осматривал каждого в надежде, что могу спасти кого-нибудь из этих несчастливцев; но все стали добычей мороза или умерли от ран. Таким же образом мы нашли и тебя. Вот еще один несчастный, думал я: вдруг собака, лежавшая подле тебя, встала на ноги и глухим рычаньем как будто хотела нас отогнать. Это возбудило во мне любопытство и участие: я велел поднять тебя; собака скалила зубы, дергала за полы моих людей, наконец, видя, что мы подняли тебя и взложили на седло одного из верховых моих, побрела за нами и не отставала до самой деревни. Я велел ее впустить в избу, кормил хлебом, и она спокойно улеглась, видя или чувствуя, что тебе никакого зла не делали».

Можете вообразить, что я чувствовал, слушая этот рассказ. В другой раз был я обязан Сантинели за сохранение моей жизни; я ласкал ее, плакал как ребенок и впервые после

долгих дней страдания и горя ощутил в душе что-то отрадное.

Спустя несколько времени пришли сказать черному человеку, что все готово. Мне дали теплую обувь, укутали шубой и на голову надели меховую шапку; в таком наряде сел я в сани вместе с черным человеком; Сантинель тоже вскочила туда и улеглась на моих ногах. Мы помчались как стрела по гладкой снежной дороге. За нами скакали около двадцати человек вооруженных крестьян. Через полчаса мы приехали в другое селение, которое по обгорелым остаткам полусожженного дома узнал я как место несчастных наших подвигов. Я вздрогнул, и мороз пробежал у меня по всем составам. Черный человек, видно, заметил это; он ободрял меня и сказал, что один только этот дом и сгорел; что он при нашем отступлении тотчас велел тушить пожар, и это нетрудно было сделать, ибо множество снега подавало к тому все способы; что по сей-то причине крестьяне не все и то очень слабо нас преследовали; наконец, что он на свой счет, выстроит новый дом погоревшему крестьянину и вознаградит его за все убытки.

Тут только я узнал, что сострадательный черный человек был помещик этой деревни; прежде служил он в военной службе, а теперь, для охранения своего околотка от наших мародеров, составил из своих крестьян то небольшое земское ополчение, которое так ужасно против нас действовало. Мы подъехали к красивому господскому дому; мне с Сантинелью отвели особую, теплую комнатку и...

— Хозяин! — вскрикнул один из мальчиков моего рассказчика, торопливо вбежавший в комнату. — Господин мэр прислал за вами и требует вас к себе как можно скорее.

— Ты видишь, что я занят: скажи, что приду, когда окончу...

— Нельзя, хозяин, — прервал докучливый мальчик, — какой-то знатный чиновник приехал из Парижа, и господин мэр непременно должен к нему сей же час явиться; а вы знаете, что господин мэр никому, кроме вас, не доверяет своей головы.

— Какое безвременье! — вскричал мой волосочесатель, нетерпеливо топнув ногою. — Впрочем, сударь, я в минуту кончу уборку вашей головы и в коротких словах доскажу вам

мою историю... Скажи, что сейчас!

Мальчик исчез, а парикмахер спешил докончить мою прическу и свою повесть.

— Новый мой благодетель, которого образношу я в моем сердце, но, право, стыжусь изломать его имя неправильным французским выговором, держал меня в своем доме, одел меня, кормил и поил до тех пор, пока остатки французской армии не вышли из России и ожесточение русских крестьян против нас не укротилось. Тогда он сам отвез меня в город, и я поступил в число прочих военнопленных. В продолжение войны 1813 и 1814 годов мне удалось видеть многие города России и в каждом из них или убирать волосы или готовить мороженое и конфеты для желающих. Наконец в одном большом губернском городе я завел лавку, в которой продавал духи и помады, накладные волосы; убирал головы русских красавиц, снаряжал свадебные столы, учил мальчиков искусству волосочесателя и пр. и пр. Сими честными средствами я нажил около пяти тысяч франков на наши деньги, и этому не должно удивляться: господа русские очень щедры, особливо к нам, французам, а я



любил порядок и бережливость. При возвращении французских военнопленных я поспешил в отечество, с радостными слезами пришел в родной мой город, с восторгом спешил к Селине — и выслушал от нее новые уверения в верной, неизменной любви. Но злой старик, отец ее, по-прежнему был непреклонен: он слышать не хотел о том, чтоб соединить нас! В досаде я решился идти ему наперекор: иа вывезенные мною из России деньги нанял квартиру прямо против окон этого старого брюзги и здесь ежечасно бешу его тем, что он видит меня, видит, как счастье мне с каждым днем больше и больше благоприятствует — а он не может вредить мне; даже из корыстолюбия не может мне запретить, когда я зазываю несколько добрых приятелей в его трактир, где подчас дразню его полным кошельком золота...

— Чего же ты надеешься вперед, другой мой? — спросил я моего рассказчика.

— Гм! чего я надеюсь, сударь? я надеюсь, сударь, что со временем все переменится. Старик Террье не два же века станет жить: авось либо он исчахнет от зависти, или захлебнется

от кашля и удушья.

— А Селина? что она об этом думает?

— Селина любит меня, но любит и отца своего и не хочет его покинуть. Она все не теряет надежды когда-нибудь его умили-вить, а в ожидании переглядывается со мною, пересылается записками и часом даже переговаривается, когда старик выходит из дома. Но я слишком — заговорился, сударь; прическа ваша совсем готова, а меня ждет господин мэр.

— Еще одно слово, друг мой, — сказал я, подавая ему червонец, — скажи мне, пожалуйста, что значит надпись на твоей вывеске: Солнце светит для каждого?

Парикмахер мой немного смешался; довольно неудачно объяснял мне, что сею надписью думал он выразить минувшие свои беды и нынешнее благосостояние, и т. п. Наконец он признался с добродушною улыбкой, что словами Солнце светит для каждого хотел он подразнить старого Террье и высказать ему, что не для него только светит солнце счастья. После такого пояснения он поклонился мне; я вышел и отправился в гостини-

цу Террье.

В гостинице нашел я необыкновенное волнение. На дворе стояла прекрасная дорожная карета, около которой собралась толпа зевак и толковала о чем-то вполголоса; на лестнице беготня и толкотня ливрейных лакеев и трактирной челяди; вдоль коридора целый строй разных лиц в самом чинном положении и с заказною радостью во взгляде. Я вошел в общую комнату. Толстого англичанина с сухощавою его половиной там уже не было, вертлявый итальянец также исчез, а неблагоприятный француз, прилипнув в углу к стене, казалось, не смел дышать. Хозяин трактира почтительно стоял у двери, как бы на посылках, и на этот раз был безгласен как рыба; только глазами умильно следил он человека, который свободно и отчасти горделиво расхаживал взад и вперед по комнате. Я взглянул на сего важного незнакомца и мигом узнал в нем графа\*\*\*, пэра Франции, с которым несколько раз виделся у одного богатого нашего соотечественника, жившего тогда в Париже. Я подошел к графу, он также узнал меня, сказал мне несколько весьма лестных

приветствий, которые старый Террье ловил на лету и, как видно было, составлял по ним новые догадки на мой счет. В эту минуту вошел один из слугителей графа и доложил ему, что комнаты его готовы; граф учтиво пригласил меня с собою, и я, имея на него некоторые виды, о коих скажу после, и не подумал отказаться. В коридоре обступила нас густая толпа людей разного звания с поздравлениями, словесными и письменными просьбами — разумеется, к графу; некоторые же, сочтя меня или за секретаря его, или за другую важную доверенную особу, относились наперед вполголоса ко мне. Оба мы раскланивались во все стороны, я извинялся и отговаривался, как умел, а граф сказал этим господам, что чрез полчаса примет их в общей зале. Мы вошли в комнаты, приготовленные для графа.

— Не правда ли, — сказал он с улыбкою, — что эти просители очень милы?

— Если вы находите, граф, что они очень милы, — отвечал я, — то для меня это ободрительно, потому что и я имею честь включить себя в число ваших просителей...

— Вы?.. — вскрикнул удивленный граф,

бросив на меня недоверчивый взгляд, — каким чудом?.. Однако ж, — прибавил он с изученною важностью, — вы здесь иностранец и должны пользоваться правом гостеприимства. Позвольте выслушать вас прежде других.

Граф посадил меня подле себя; я рассказал ему в коротких словах похождения моего парикмахера и просил его содействия в том, чтобы помочь бедному Ахиллу касательно его женитьбы на Селине.

— В том-то и вся ваша просьба — сказал граф, выслушав меня. — Этой беде, кажется, легко помочь, и я охотно готов сделать, что могу, для человека, который проливал кровь свою за Францию, под чьими бы то ни было знаменами. Рассказ ваш задобрил меня в его пользу, и мне как туземцу приятно будет вступить в лестное совместничество с русским, когда дело идет о том, чтобы сделать добро французу. Погодите: сейчас явится ко мне здешний мэр, и я дам ему аудиенцию в общей комнате трактира. Вы сами увидите, какие будут плоды этой аудиенции; вас я прошу быть свидетелем нашего разговора.

Через несколько минут вошел хозяин и с низкими поклонами объявил, что городской мэр и другие чиновники собрались в общей зале и ожидают графа. При сем случае хозяин спросил у графа, угодно ли ему будет, чтоб никого из посторонних не впускать в приемную залу во время аудиенции? На лице старого Террье заметно было худо побежденное любопытство и крайнее желание быть в числе зрителей. Граф с одного взгляда понял, что происходило в душе трактирщика.

— О, нет! — сказал граф. — Я даю публичную аудиенцию, и всякий имеет право быть при ней.

Трактирщик с веселым лицом и с новыми поклонами вышел. Вслед за ним граф, взяв меня под руку, пошел в общую залу.

Мэр и другие чиновники расшаркались и рассыпались в поклонах и приветствиях при появлении графа, который отвечал им барскою уклонкой головы и несколькими ласковыми словами. После долгой церемонии, в которой господа тот-то и тот-то были представлены мэром, граф отвел сего последнего в сторону и говорил с ним минут с десять. Я заме-

тил нашего трактирщика в толпе зрителей: он стоял впереди всех с улыбкой радости, с разгладившимися на лбу морщинами; и, казалось, жадно собирал запасы для будущих своих рассказов.

Граф, переговорив с мэром, подошел вместе с ним на середину залы и сказал громко:

— Кстати, господин мэр: у вас в городе есть один человек, которому я должен уплатить старый долг благодарности за одного моего ближнего родственника, бывшего в походе 1812 года. Человек, о котором я говорю, кажется, должен быть здесь парикмахером: имя его Ахилл, а солдатское прозвище, помнится, Ла-Роз. Я желал бы сделать для него что-нибудь особенное...

Я взглянул на Селину, которая сидела на своем месте, у конторки, — лицо этой молодой девушки прояснилось, и щеки запылали; взглянул на ее отца — старый брюзга сделал какую-то странную ужимку, по которой нельзя было разгадать, радовался ли он, или печалился от того, что слышал.

— Я знаю этого человека, который удостоился внимания вашего сиятельства, — отве-

чал мэр, — и смею уверить, что он поведением своим вполне того заслуживает.

— Очень рад, — промолвил граф, — только не знаю, чем бы вознаградить его за важные услуги, оказанные моему родственнику. Этот мне сказывал, что Ахилл Ла-Роз влюблен был в одну девушку в здешнем городе, был ей всегда верен и надеялся жениться на ней по возвращении сюда. Женился ли он?..

(Я снова взглянул на Селину: она покраснела пуще прежнего, и на глазах у нее навернулись слезы.)

— Нет еще, — отвечал мэр.

— Хозяин, — сказал граф, обратись к трактирщику, который в это время кусал себе губы и переминался на месте как индейский петух, — вели позвать сюда парикмахера Ахилла Ла-Роз.

— Готов исполнить волю вашего сиятельства, — отвечал Террье и поплелся из комнаты в каком-то раздумье или внутренней борьбе. Через две-три минуты он снова явился с Ахиллом, тихо и очень дружелюбно с ним разговаривая.

Ахилл, одетый щеголевато, подошел к гра-



фу, поклонился очень вежливо, но не раболепно и с какою-то воинскою ловкостью. Он все еще, как видно было, не понимал, зачем его позвали. Граф благосклонно объявил ему, что одна знатная особа заботится о его судьбе, и спросил, кто та девица, которую он любил столь нежно и постоянно?

— Она здесь, ваше сиятельство, — вскрикнул Ахилл от полноты чувств, теперь только уразумев причину сего участия, ибо увидел меня подле графа. — Вот она, — прибавил он, оборотясь к Селине, — сами извольте судить, заслуживает ли она такую верную и постоянную любовь?

— А, а! Ты прав, друг мой; эти черные глаза очень заслуживают, чтоб о них помнили и на снегах русских... Господин трактирщик! неужели ты решишься еще томить этих молодых людей? Смотри: они созданы друг для друга. Хоть для нового нашего знакомства, согласись устроить их судьбу... Почему знать! может быть, со временем буду я тебе полезен...

— Готов исполнить волю вашего сиятельства, — повторил Террье затверженную свою

фразу с пренизким поклоном и глубоким вздохом. — Будущий мой зять всегда мне нравился как человек степенный и обстоятельный; только некоторые фамильные неувольствия разлучали нас... Теперь же, при покровительстве вашего сиятельства... Надеюсь, что и меня ваше сиятельство не позабудете... Я давно уже намерен представить правительству кой-какие проекты касательно некоторых отраслей промышленности, и ваше предстательство...

— Хорошо, хорошо! — сказал граф отчасти с нетерпением. — Теперь покамест позволь мне быть у тебя в долгу и радоваться, что я мог исполнить просьбу доброго моего приятеля.

При сих словах граф приветливо взглянул на меня, а я отблагодарил его также взглядом. Полную мою благодарность изъяснил я ему после за обедом, к которому он пригласил меня и за которым мы пили здоровье будущей четы.

Чрез два года мне случилось проезжать снова Верден; я остановился в гостинице Террье. За конторкой по-прежнему сидела Сели-

на, в черном платье и в чепце; старого Террье не было, и наместо его хлопотал знакомец наш, Ахилл как хозяин дома. Он тотчас меня узнал: изъявлениям радости и благодарности от него и жены его не было конца. Селина сказала мне, что старый Террье умер за полгода пред тем, и по нем-то она носила траур; что до конца своей жизни он радовался, глядя на своих детей, не мог нахвалиться бережливостью и расторопностью Ахилла — и благословил их с любовью на смертном одре. «Он крайне переменялся в последнее время», — примолвила она, скромно потупя глаза и с некоторым замешательством. «Да, он сделался в тысячу раз добрее прежнего», — прибавил муж ее как бы в пояснение того, чего жена не решалась досказать. Я поздравил молодую чету с их счастьем и расстался с ними в сладостной мысли, что был, хотя и не прямою, но все-таки причиною нынешнего их благополучия.

# Странный поединок

## Рассказ путешественника

В дилижансе сидело нас четверо: молодой французский офицер с широким пластырем на левой щеке; какой-то низенький, плотный и проворный человек в поношенном рединготе горохового цвета; некто г. Жермансе, степенный человек лет сорока пяти, и я. Низенький человек в рединготе горохового цвета был самый безустальный говорун, охотник знакомиться и отчаянный расспросчик. Еще не успели мы выехать за заставу, как он уже успел объявить нам, что едет в Сент-Мену, где имеет собственный участок земли, что он cultivateur proprietarie, что зовут его дю Вивье, что приезжал он в Мес для получения какого-то старого долга, что у него есть жена и две прекрасные дочери и пр. и пр. Вслед за этим пустился он расспрашивать каждого из нас: кто он? куда, зачем едет? Я отвечал ему, что я русский путешественник. Тут посыпались вопросы о России, о зиме, которая, по мнению этого доброго человека, никогда у нас не сходит; о городах, построенных на су-

гробах снегу; о подземных печах, которыми русские растапливают лед в Азовском море, когда им надобно спускать корабли на воду; о способности казаков разводить огонь зубами (В примечаниях к одной поэме о походе Наполеона в Россию, изданной в 1814 году в Париже и посвященной покойному королю Лудовику XVIII, находится следующее замечательное место: «Les Francais ignoraent sans doute la faculte dont les Cosaques sont doues, celle d'attiser le feu avec leurs dents» То есть: «Французы, верно, не ведали о способности, которою одарены казаки — разводить огонь зубами»): словом, обо всех таких диковинках, которыми многие из французов и доньше еще украшают топографические свои сведения о России. Это меня забавляло, и я охотно взялся вывести доброго дю Вивье из заблуждения насчет нашего отечества. Как же я удивился, когда он принял мое доброе намерение за мистификацию, отвечал мне сначала несколькими междометиями сомнения и, наконец, сказал наотрез, что он больше верит своему куму, которого двоюродный брат слышал все помянутые диковинки от своей соседки, а та

слышала их от одного тамбур мажора большой армии, бывшей в походе 1812 года.

Оставя меня, дю Вивье обратился с вопросами к г-ну Жермансе, который отвечал ему коротко и сухо. Оставался ему один офицер, но сей так важно прислонился к углу дилижанса, так гордо посматривал на всех через свои длинные черно-бурые усы, что отбивал всю охоту у расспросчика. Наконец, нетерпеливая жажда разговоров и новостей, томившая бедного дю Вивье, перемогла все его опасения. Не смея, однако ж, прямо завести разговор с офицером, он начал обиняками делать намеки о дуэлях; об опасностях, которым военных людей подвергает их звание и высокие понятия о чести. Офицер посматривал искоса на красноречивого заступника воинской чести — и молчал.

— Кстати о дуэлях, — сказал молчаливый г-н Жермансе, как бы в минутном вдохновении. — Не угодно ли, я расскажу вам об одном странном поединке?

Офицер взглянул на него и все-таки молчал, дю Вивье рассыпался в просьбах и в изъявлениях благодарности; а я, поняв отчасти

мысль г-на Жермансе, скромно поблагодарил его улыбкою. Мне казалось, что, по добродушию ли, или из эгоизма, он хотел избавить навязчивого дю Вивье от какой-нибудь неприятности со стороны спесивого и, может быть, задорного офицера, а нас от неприятности — быть свидетелями междоусобия в тесном пространстве почтовой кареты.

Г. Жермансе, заметно, был человек молчаливый и любящий покой. По приготовительным его приемам можно было заключить, что он приносил нам, своим спутникам, весьма важную жертву и делал себе крайнее усилие, пускаясь в длинный рассказ. Он то вертел табакерку между пальцами, то понюхивал табак, медленно всасывая по маленьким ще поткам, как будто бы брал его на пробу и хотел вызнать его силу и запах; то вынимал платок, то складывал весьма старательно и снова прятал его в карман с таким видом, как будто бы боялся его выронить; то призадумывался, то покашливал. Наконец он начал свой рассказ; но тут по многословию его и по охоте рассказывать длинно и со всеми подробностями тотчас можно было увидеть, что для него,

вследствие французской поговорки, труден был только один шаг. Если б я не боялся обидеть его сравнением, то сказал бы, что он похож на тех лошадей, которые весьма лениво и неохотно трогаются с места, но после их не скоро остановишь и удержишь вожжами.

Не берусь передать вам этого анекдота со всеми подробностями, со всеми отступлениями и ораторскими украшениями слога, коими красноречивый г-н Жермансе старался блеснуть в нем перед своими слушателями; но содержание анекдота и главные черты его к вашим услугам. Угодно ли выслушать?

Генерал Даранвиль был человек отличной храбрости. От берегов Нила до берегов Москвы прошел он, служба в разных чинах, и нигде не робел ни перед саблями мамелюков, ни перед пулями и штыками русских. Молодость генерала была самая буйная: он начал службу почти с детских лет и в самое разгульное время Французской революции. Мудрено ли, что при общем ослаблении всех правил он увлечен был потоком? Раны, полученные им в сражении — а их было много — едва ли равнялись числом с теми, кои получил он на по-



единках. Чрез это заслужил он в армии славу самого сильного бойца на шпагах и самого искусного стрелка из пистолета. Пока страсти в нем бушевали, он старался поддерживать эту славу тем, что затрагивал и задирали почти всякого встречного; но когда лишние десяток лет и лишние дуэльные кровопускания отчасти охолодили в нем кровь, тогда он сделался верховным судьей всяких ссор и споров, грозою и карою забияк.

При перемене обстоятельств генерал был уволен от службы с половинным жалованьем. Этой пенсии и накопившегося в большой книге государственного долга жалованья его, не выданного в разные времена, было весьма достаточно для умеренных желаний генерала. Даранвиль был человек образованный, и врожденные его склонности были хорошие: сердце его не вовсе было испорчено заблуждениями тогдашнего времени и худыми примерами. Еще несколько лишних лет на плечах и полный досуг, которым он в то время пользовался, заставили его одуматься и пробежать в памяти прошедшее. Рассматривая прежнюю жизнь свою, он ужаснулся,

увидев, что суетность и ложные понятия о делах и вещах были доселе одними его руководителями. Это сознание совсем переменяло нрав его и поведение: уж он более не наискивался на ссоры и даже не мешался в них иначе, как в качестве примирителя, вел себя весьма кротко, сделался другом молодых людей и часто давал им умные, полезные советы. От прежнего его молодечества осталось ему только имя славного дуэлиста.

Из молодых своих друзей Даранвиль больше всех любил Эрнеста де Люссона, прекрасного двадцатидвухлетнего юношу, с добрым сердцем и хорошими правилами, с пылкой любовью ко всему изящному и доброму. Но все эти бесценные качества перевешивались иногда в нем непомерною заносчивостью, вспыльчивостью и ветреностью, почти неизбежными пороками молодых лет. Генералу многого труда стоило умерять и укрощать эту вредную склонность — и часто он радовался успеху своих советов и наставлений.

У Эрнеста был, кроме генерала, и еще друг, или человек, которого он считал себе другом. Леон Вердак, молодой гасконец, хитрый,

вкрадчивый, самолюбивый и хвастливый, таил под заманчивыми качествами приятного и веселого товарища самые коварные виды исключительного своекорыстия. Богатство Эрнеста манило к себе дальновидного Вердака: он надеялся осторожно и мало-помалу покорить себе волю и все желания молодого де Люссона и после — как водится у таких людей — черпать из его кошелька, будто как из своего. Вердак любил игру и шумное общество молодых весельчаков; но, будучи сам не богат, часто должен был себе отказывать в этих невинных удовольствиях. Поэтому генерал Даранвиль был у него как бельмо на глазу: власть ума, которую он приобрел над Эрнестом, препятствовала корыстным видам Вердака. Коварный гасконец расчел, что ему непременно должно для своих замыслов удалить Даранвиля от Эрнеста, а этого нельзя было сделать, не поссоря их, и потому он решился выжидать удобного случая.

Всякий раз, когда ему удавалось отлучить на время де Люссона от генерала, он старался окружать своего молодого приятеля шумными и веселыми своими знакомцами, которые

заранее им были настроены, чтобы всячески внушениями своими поколебать доверие Эрнеста к Даранвилю. Многие из них, как будто между разговором, изъясляли свое удивление, что такой умный, рассудительный и образованный молодой человек слепо вверился старому брюзге. Это льстило самолюбию Эрнеста; однако ж он сначала жарко спорил за генерала с молодыми своими приятелями; после споры его стали слабее; после он и вовсе перестал спорить и кончил тем, что самодовольною улыбкой показывал согласие с мнением своих знакомцев. Доверенность его к генералу была ослаблена; однако ж вовсе нельзя было еще оторвать его от сего почтенного человека. Между тем Вердак всегда молчал, не придерживался ни той, ни другой стороны и был при таких спорах всегда как бы лицом страдательным.

Однажды Эрнест угощал обедом Вердака и с полдюжины других весельчаков, его приятелей, в ресторации Вери. Случайно генерал Даранвиль вошел туда же; волею и неволею, его должно было пригласить к их столу. В комнате, где они обедали, за особливим

небольшим столиком сидели два провинциала, один человек уже пожилой, другой юноша около двадцати лет возраста. Станный, стародавней моды наряд сих провинциалов, их неловкость и застенчивость сначала привлекали на себя внимание и шутки молодых остряков. Но когда они услышали, что провинциалы называли трактирного слугу господином (monsieur) и невпопад спрашивали кушанья по печатной карте; когда заметили лукавую улыбку и ироническую вежливость ловкого слуги — тогда шуткам их и смеху не было ни меры, ни конца. Особливо Эрнест отличался перед всеми громким хохотом и остротами: не довольствуясь сим и видя одобрительные улыбки своих приятелей, он встал из-за стола, подошел к провинциалам, советовал им потребовать устриц к десерту, а бульону вместо кофе — словом, говорил им все глупости, какие тогда приходили ему в голову. Сомнительные и робкие взгляды бедных заезжих, непрерывный хохот молодых его товарищей и знаки неудовольствия на лице Даранвиля еще более подстрекали де Люссона. Наконец стал он просить у младшего из провинциалов

платья его, на показ своему портному, говоря, что хочет нарядиться также ловко и щеголевато, чтобы понравиться девяностолетней своей прабабушке; стоя за стулом, вымеривал его талию, даже позволил себе хватать его за плечи и играть пальцами с его прической. Это вывело из терпения старшего: он встал и, бросив на стол золотую монету в сорок франков, сказал младшему: «Пойдем, сын мой, видишь, что мы здесь не у места». Молодой человек также встал и, кинув на забавников смущенный страждущий взгляд, вышел вместе с отцом своим. Обидный хохот провожал их далеко за дверьми ресторации.

До сих пор генерал Даранвиль молчал; не улыбка, а негодование было написано на лице его. Но когда отец с сыном вышли, он встал и, подошедши к Эрнесту, начал тихо, но с чувством и жаром представлять ему неприличие такого поступка. Ответом ему был новый смех Эрнеста и его товарищей. Генерал обернулся, окинул молодых шалунов пылающим, грозным взором, и мигом все замолкли. Все знали, каково с ним иметь дело! Один Эрнест, по короткому знакомству своему с гене-

ралом, старался оборотить все это в шутку, даже подтрунивал над ним самим, говоря, что не может удержаться от смеха, вспомя давешнюю стоическую его важность при общем хохоте и видя теперешний катоновский его ригоризм. «Послушайте, почтенный мой друг, — прибавил он, — вы так часто надеялись меня вашими советами, что мне, право, совестно всегда оставаться у вас в долгу; пора хоть раз с вами поквитаться. Вот небольшая уплата в счет долга: не всегда, любезный генерал, самые лучшие советы бывают приличны: всему место и время...» — «В таком случае, — с жаром отвечал Даранвиль, — и я здесь также не у места, как и те бедные провинциалы».

Он взял шляпу и, не поклонясь никому из своих собеседников, вышел.

— Что значит, любезный Эрнест, эта отеческая заботливость о твоей нравственности? — сказал один из молодых повес, когда генерал был уже далеко за дверью.

— Мне кажется, — прибавил другой, — что его превосходительство наложил на себя покаяние за прежние свои грехи и для того

вздумал обращать на путь спасения неопытных юношей.

— Неопытных? — воскликнул Эрнест. — Не ко мне ли это относится, сударь? Прошу объясниться.

— Не горячись, мой друг; это не мои слова; я только повторяю слышанное. Помнишь ли, с неделю тому назад сидели мы — генерал, ты, я и еще какой-то старый усач, его сослуживец — в Тюльерийском саду, против террасы Фельян? Помнишь ли, ты встал, подошел к какому-то из своих знакомых и вместе с ним пошел вдоль по террасе? Я оставался в это время на скамье. Знакомец нашего генерала спросил у него о тебе. «Это, — отвечал Даранвиль, — молодой шалун, который не глуп, но слишком еще зелен; умишко у него вертится еще как кубарь и не знает, где и на чем остановиться. Я взялся переродить его, и с моею помощью, надеюсь, он будет когда-то человеком». Не сердись так, милый Эрнест, и не кусай себе губы... Это, право, не мои слова! Благодарю за эту рекомендацию доброго твоего друга генерала.

— Ха, ха, ха! вы знаете эту молодую ветре-



ницу маркизу де Кремпан? — подхватил третий. — На днях я был у ней в ложе, в театре Фейдо. Злоязычница пересудила всех, кого только видела в ложах и на балконе. «Смотрите, смотрите, — лепетала она, оскалая белые свои зубки, — вот молодой де Люссон с своим дядькою, генералом Даранвилем. Кажется, дядька дерет его за уши, за то что он сел боком к партеру. Хорошо иметь и в эти лета такого строгого наставника: он обещался сделать из него образцового молодого человека, самой милой скромности и самого благопристойного поведения».

— Она осмелилась это сказать? — воскликнул Эрнест, ходивший широкими, скорыми шагами по комнате... — Так я ж ей докажу!

— Не ей, милый Эрнест, должен ты доказать: можно ли затевать ссору с молодою пригожею болтушкой?.. Ты знаешь, что твой генерал к ней вхож...

— Мой генерал! черт его возьми и возьмет, когда я исполню то, что у меня вертится теперь в голове.

— Потише, потише, де Люссон! — подхватил четвертый собеседник. — Ты чуть было

не проговорился сгоряча о поединке; а ты знаешь, как добрым твоим друзьям тяжело будет расстаться с тобою...

— Расстаться! Ты уж и похоронил меня! кто тебе сказал, что я-то непременно упасть должен? Пуля дело неверное.

— Нет, друг мой! ты, видно, позабыл, с кем хочешь иметь дело? У Даранвиля пуля верно попадает.

— Хорошо! вот мы увидим, каково-то он будет стоять на трех шагах барьера и дожидаться жеребья... Да нет, сей же час бегу к нему и кончу все с ним глаз на глаз, в комнате,

— Ха, ха, ха! в комнате! — завопили вместе несколько голосов. — Так ты думаешь, что тебе удастся с ним подраться в комнате, глаз на глаз? Как же худо ты и его и самого себя знаешь!

— А почему ж не удастся?

— Да потому, — отвечал четвертый, — что он, глаз на глаз, надеясь на свою власть над твоим умом, начнет увещевать тебя — и кончится тем, что ты же станешь просить у него прощенья.

— Так вы увидите... или услышите через час, не далее. При сих словах Эрнест схватил свою шляпу.

— Стой, друг мой! — сказал ему первый, удержав за руку. — Ты теперь не в том положении, чтобы мог драться хладнокровно. Ты разгорячен и гневом и нашими частыми жертвами Бахусу. Господа! упросите Эрнеста отложить это дело до утра. Неужели мы отдадим его сегодня на жертву этому дуэльному вампиру?

Все приступили к Эрнесту, особливо Вердак, и уговорили его ничего не делать до завтра.

— Эй, малый! еще дюжину шампанского! — закричал пятый из собеседников эрнестовых, дотоле молчавший.

— Здоровье той пули, Эрнест, которую ты влепишь в лоб запоздалому лицемеру! — продолжал он, наливая бокалы. Все встали и весело их осушили; Эрнест тоже хотел казаться веселым; но веселость его была похожа на зимнее солнце, которое холодно, без согревающих лучей, проглядывает из-под хмурых, снежных облаков.

Время быстро летело для приятелей эрнестовых, но для него передвигалось оно на свинцовых колесах. Настроенные Вердаком ветреники лукаво старались поддерживать в молодом де Люссоне расположение к поединку и жажду мщенья то хитрыми намеками, то искусно подводимыми сомнениями насчет прославленной храбрости генерала, то замечаниями, что поединок с таким известным дуэлистом может всякому придать большой вес в общем мнении. Вердак или молчал, или с притворным сочувствием уговаривал Эрнеста. Другие умышленно и жарко ему противоречили, как будто бы говоря о постороннем деле. Таким образом в шуму разговоров и подзвон бокалов просидели они до ночи. С тяжелой головою и тяжелым сердцем Эрнест возвратился домой.

На другой день, рано поутру, явился к нему Вердак с новыми увещаниями. Почти вслед за ним, и как бы нечаянно, пришли двое из вчерашних застольных приятелей, стали утверждать противное, завели умышленный спор, разгорячили Эрнеста, который схватил шляпу и как бешеный побежал из комнаты.

Не помня себя, прибежал он к дверям Даранвиля; судорожною рукою схватил за шнурок колокольчика, зазвонил что есть силы, и, когда слуга генералов отворил ему, он вбежал прямо в спальню.

Генерал был еще в постеле. «Что ты, Эрнест? Что с тобою сделалось?» — спросил он у молодого своего знакомца.

— Что?., бешенство! сумасбродство! доверенность к такому человеку, который ее не стоил... и именно к вам, сударь!

— Опомнись! В своем ли ты уме? Откуда такая горячка?

— Горячка? Да, сударь: только все она легче той белой горячки, в которой я до сих пор бродил как слепой. Знал ли я, мог ли я предвидеть, что под такую степенную наружность скрывается самая мелкая, самая низкая душишка?

— Не ко мне ли это относится?

— Можете, сударь, принять это прямо на свой счет... Сейчас вставайте и посчитайтесь со мною — не на словах: и не о них дело!.. Да, сударь, сейчас дайте мне отчет во всех тех дерзостях и наглостях, которые вы обо мне

рассеваете.

— Если б я не видел вчерась тебя в добром здоровье, то подумал бы, что ты вырвался из Шарантона. О каких дерзостях и наглостях говоришь ты мне?

— Не знаете? А! вы ничего теперь не знаете! Видно, мне правду говорили о мнимой вашей храбрости. Милости прошу, сударь, встать и, взявши пистолеты, сей же час идти со мною.

— Нет, не прогневайся, любезный; не встану.

— Так я вас принужу встать.

— До этого я тебя не допущу. Скажи просто и ясно, чего ты от меня хочешь?

— Стреляться с вами.

— Стреляться? Зачем же мне для этого идти вон из комнаты? Вот, возьми!

При сих словах генерал снял со стены висевшие у него над головою два заряженные пистолета, подал один Эрнесту и положил другой к себе на подушку.

— Так вставайте ж! — сказал Эрнест изменившимся голосом.

— Я уж сказал, что не встану, — отвечал ге-

нерал спокойно, — стрелять я могу и лежа, да и тебе свободнее в меня метить. Стань у кровати, прямо против меня, и стреляй.

— Да как?..

— Не дожидайся, чтоб я назвал тебя трусом как такого человека, который бодрится на словах и у которого дрожат манжеты в решительную минуту. Стреляй!

Делать было нечего; Эрнест зашел слишком далеко, а последние слова генерала подлили масла на непотухший пыл его. Он взял пистолет, дрожащею рукою навел его на голову Даранвиля, спустил курок... Пуля влипла в подушку подле самой головы генерала; но сей последний не поморщился и не переменял положения.

— Теперь садитесь, сударь, на эти кресла, — сказал генерал строгим голосом — Садитесь, говорю: я в вас теперь волен и вправе требовать от вас всякого удовлетворения.

Эрнест, ни жив ни мертв, опустился на кресла. Лицо его было бледно как полотно, все жилы бились с судорожным напряжением. Генерал, вовсе не трогаясь за пистолет и по-прежнему не переменяя положения, после

минутного молчания начал говорить ему спокойным голосом:

— Г. де Люссон! теперешний ваш поступок таков, что должен разорвать всю связь между нами. Вам совестно будет видеть человека, которого вы хотели убить без всякой причины, да и мне, признаюсь, нельзя равнодушно смотреть на того, кто покушался на жизнь мою. Однако ж, желая, чтобы временное наше знакомство принесло вам какую-нибудь пользу, я расстаюсь с вами последним советом... Не вставайте с места, молчите и слушайте. Я всегда почитал вас умным молодым человеком: удивляюсь, как могли вы ввериться шайке негодяев, от которых я вас и прежде не раз остерегал. Этого Вердака своими глазами видал я, выбегавшего с расстроенным видом из картежных домов. Достоинные его знакомцы — все таковы же: вчерась еще за обедом я подметил их перемигиванья, когда вы забавлялись над бедными и, верно, добрыми провинциалами. Слушайте ж: давно уже я видел очень ясно, что Вердак и другие повесы, его приятели, хотят вас отдалить от меня для своих видов. Вы богаты, а эта толпа гуляк бед-



на и бессовестна. Одни вы, по слепой в самом себе уверенности, того не замечали. Говорить о вас дурно или презрительно я не мог и не имел причины. Тем больше никто из них не мог от меня услышать ничего на это похожее, потому что я ни с кем из них и нигде не встречаюсь, кроме немногих случаев, когда видал их вместе с вами. Теперь расскажите мне, как было все дело и отчего в вас родилась такая против меня запальчивость? Видите ли, что я, прежде чем услышал от вас, узнал уже главных ее виновников?

Эрнест трепещущим голосом, но со всею откровенностью пересказал все как было. Генерал улыбнулся. «Так я и догадывался», — сказал он. Молодой де Люссон вскочил, хотел бежать и вызывать всех прежних своих знакомцев; но Даранвиль советовал ему успокоиться и дослушать его речи.

— Давно уже я положил на себя обещание отводить молодых людей от поединков. Я слишком дорого для моей совести заплатил за проклятую суетность — прослыть самым грозным поединщиком. Благодарю небо, что оно ранами оставило мне тяжкую память о

прежнем моем сумасбродстве.

— Жестокий человек, — прервал его Эрнест, — для чего ж вы прежде не вывели меня из заблуждения? Для чего допустили меня стрелять в вас?

— Могли ли вы в то время слышать голос рассудка? Притом же, сказать ли вам откровенно? Во-первых, я твердо предположил себе не стрелять в вас; если ж бы вы по случаю меня убили, тогда я только поплатился бы за прежние мои поединки... Много их лежит у меня на душе! Одна только моя надежда — на благость божию. Во-вторых: мог ли я неуместною робостью изменить закоренелой своей привычке — ничего не бояться? Это, конечно, заблуждение; но есть заблуждения, основанные на понятиях о чести, с которыми трудно расстаться. Сто раз скорее бы я умер, нежели струсил наведенного на меня пистолета. Что касается до Вердака и его знакомцев, то вот последний мой совет, оставить их в покое и, если можно, вовсе с ними разогнаться, но без шума и огласки. Стоят ли такие люди той чести, чтобы порядочный человек прилепил свое имя к их именам и сделался вместе с ни-

ми сказкою города? Теперь, сударь, желаю вам на свободе обдумать нынешний наш разговор и успокоиться. Что до меня, я буду молчать о сегодняшнем происшествии; в этом можете быть уверены... Прощайте!

Тут Эрнест бросился на грудь генералу, просил его, умолял о прощении. Долго Даранвиль колебался — наконец подал ему руку, примирился с ним, и с тех пор де Люссон во всем советовался с генералом и слушался его. Он сделался и точно примерным молодым человеком: избавился от ветрености, вовсе истребил свою заносчивость, и горячность осталась в нем только к хорошему и благородному. Опытность и познания Даранвиля были главною причиною сего нравственного усовершенствования; и генерал с удовольствием видел плоды своих советов, — видел, как Эрнест, на поприще человека и гражданина, приносил пользу отечеству и был другом и благотворителем несчастных, кои к нему прибегали.

Вердак и его товарищи, слыша отказ себе у дверей эрнестовых, догадались, какой оборот взяло это дело, и не решались более встре-

чатся ни с Эрнестом, ни с генералом. Их как будто не стало в Париже, и уже чрез несколько лет де Люссон узнал, что Вердак умер в тюрьме Сент-Пелажи, куда был посажен за долги.

# Эпиграф вместо заглавия

[Текст отсутствует]

# Примечания

# 1

День Коляды был, по нашему счислению, 24 декабря; следовательно, среди зимы.

[^^^]